

Л.Е.Белозерская-Булгакова

Л.Е. БЕЛОЗЕРСКАЯ-
БУЛГАКОВА
Воспоминания



**Л.Е. БЕЛОЗЕРСКАЯ-
БУЛГАКОВА**

Воспоминания



Москва
«Художественная
литература»
1990

Воспоминания

ОТ АВТОРА

...Две ступеньки ведут к резной овальной двери в кабинет Михаила Афанасьевича на Большой Пироговской улице. Он сидит у окна. В комнате темновато (первый этаж), а я стою перед ним и рассказываю все свои злоключения и переживания за несколько лет эмиграции, начиная от пути в Константинополь и далее.

Он смотрит внимательным и требовательным глазом. Ему интересно рассказывать: задает вопросы. Вопросы эти писательские:

— Какая толпа? Кто попадает навстречу? Какой шум слышится в городе? Какая речь слышна? Какой цвет бросается в глаза?..

Все вспоминаешь и понемногу начинаешь чувствовать себя тоже писателем. Нахлынули воспоминания, даже запахи.

— Дай мне слово, что будешь все записывать. Это интересно и не должно пропасть. Иначе все развеется, бесследно сотрется.

Пока я говорила, он намечал план будущей книги, которую назвал «Записки эмигрантки». Но сесть за нее сразу мне не довелось.

Вся первая часть, посвященная Константинополю, рассказана мной в мельчайших подробностях Михаилу Афанасьевичу Булгакову, и можно смело сказать, что она легла в основу его творческой лаборатории при написании пьесы «Бег»...

КОНСТАНТИНОПОЛЬ

Как ни тепло чужое море,
Как ни красна чужая даль,
Не ей поправить наше горе,
Размыкать русскую печаль!

Некрасов

Разве можно унести землю
Родныя на подошвах своих
башмаков?

*Дантон, когда друзья пред-
ложили ему бежать из
тюрьмы за границу*

Хрипло и, как мне показалось, зловеще прозвучал последний гудок. В утробе парохода что-то заворчал. Он дрогнул и стал медленно, словно конфузясь, бочком отходить от одесской пристани. Еще кто-то, прощаясь, махал платком, еще кто-то кричал последние, уносимые ветром слова, но расстояние между пароходом и берегом неумолимо ширилось. Черная полоса воды все росла, зачеркивая прошлое...

Французский пароход «Дюмон Дюрвиль», привезший в Одессу тех русских солдат, которые застряли во Франции еще со времени первой мировой войны, принял на свой борт группу «русских ученых и писателей». Ученого среди них не было ни одного. Небольшой, упитанный, средних лет человек с округлыми движениями и миловидным лицом, напоминающим мордочку фокстерьера, поэт Дон-Аминадо (Аминад Петрович Шполянский) вел себя так, будто валюта у него водилась в изобилии и превратности судьбы его не касались и не страшили.

Аминад Петрович старался держаться поближе к коммерсанту Аге, тоже попавшему в группу «русских ученых». Ага, красивый, раскормленный караим, вез с собой жену, брата и хорошего круглого ребенка, плюс большой багаж и много брильянтов.

— Я пойду посмотрю, как отгружают мой большой багаж,— говорил он сочным баритоном, подходя то к одному, то к другому пассажиру.

«Большой багаж»! Этими словами как бы утверждалась прочность, незыблемость бытия. Остальным грузить было нечего: в легких чемоданчиках уместилось все их добро. Приват-доцент и публицист Миркин-Гецевич, ближайший помощник профессора Овсянико-Куликовского по выпуску в свет большой белогвардейской газеты в Одессе, производил впечатление тоже

человека налегке. Но все знали, что его богатый тесть, бывший столичный издатель Поляков, только что отбыл с семейством на «Ллойде Триестино» в Италию. «Да, но у Миркина—тесть!» «Тесть Миркина»,—слышалось то здесь, то там. У борта маячила длинная, нескладная, тощая фигура художника Николая Владимировича Ремизова, известного по журналу «Сатирикон» как Ре-Ми. У этого, кроме таланта, бойкой жены Софьи Наумовны и увальня-пасынка Лени, ничего за душой не было...

Когда пассажиры разместились в трюме третьего класса—первый и второй сгорели еще на стоянке в Одессе,—установился свой, с мелкими заботами и интересами быт.

Но что бы вы говорили
О том «Дюмон Дюрвиле»,
Забуду ль славный трюм?
Рагу из обезьяны—
Вот жизни нашей планы,
Вот смысл всех наших дум.

Это подражание Вере Инбер:

...И что б вы говорили о баре Пикаддили,
Но это славный бар?..

и коллективное творчество по пути из Одессы в Константинополь. «Рагу из обезьяны»—мясные консервы, прозванные так во французской армии...

В наступивших сумерках стало особенно грустно и показалось, что прошлого не было. Не было ни семьи, ни школьных лет, ни Петербурга—ничего. Просто посадили на этот потрепанный пароход и сказали: «Живи!» А как жить?..

По палубе прохаживался Дон-Аминадо с мадам Агой. Он интимным голосом декламировал Блока. Она поеживалась и втягивала голову в воротник пальто, как будто ей щекотали шею.

Ты в синий плащ тихонько завернулась,
В сырую ночь ты из дому ушла,—

слышался голос Дона-Аминадо...

Кавака—первая остановка при въезде в Босфор. Здесь карантин.

Февраль. Дождит. Холодно. Страшная негритянка тащит меня под душ. Я сопротивляюсь. Мы примиряемся на том, что она слегка мочит мне волосы—«для начальства», «pour les chefs»,—говорит она.

Здесь же у ехавшего с нами графа Сумарокова украли брюки. Он ходил завернутый в плед как в тогу. Пожилой, высокий, седовласый импозантный человек.

Так должен выглядеть председатель какого-нибудь аристократического фешенебельного клуба.

Жена — милостивая, когда-то пепельная блондинка, недоуменно взирающая на окружающее, растерянная женщина, как будто ее прямо из кареты с выездным лакеем пересадили в наш грязный трюм...

Прошли Босфор. Налюбовались мраморными дворцами, лодками, причаленными прямо под балконами, причудливыми лестницами, заманчиво спускающимися среди садов к водам пролива.

И наконец пароход причалили. Галатская пристань. Мутная вода стального цвета, усеянная апельсиновыми корками. Яркие пятна фесок. Мост с пестрой многоязычной толпой. По его краям — сборщики «пара» (самая мелкая турецкая монета) — налог за переход через мост, соединяющий Перу и Галату со Стамбулом. Сборщики в одинаковых балахонах неопределенного цвета. Монеты опускают в кружки. (На фотографии 80-х годов прошлого века сборщики в белых халатах, но без кружек. А проходящие женщины в платьях с турнюрами, что помогло мне датировать фотографию.)

Галата — деловая часть города: банки, пристани, притоны и знаменитая галатская башня, сохранившаяся еще с крестовых походов.

Пера — европейская часть Константинополя, самая шикарная. На ней расположены посольства, лучшие магазины, отели. Улица Пера шириной с наш старый Арбат — с трамваями, ослиами, автомобилями, парными извозчиками, пешеходами. Звонки продавцов лимонада. Завывают шарманки, украшенные бумажными цветами.

Стамбул — исконно турецкий район. «Блистательная Порта» (Совет министров) расположена там. Турецкие дома с плотными жалюзи на окнах, со своей замкнутой, береженной от постороннего глаза жизнью, тоже там...

Наш пароход встречали разные люди, желавшие узнать, что же происходит у нас на родине. Вот тогда-то мы и познакомились с немолодым англичанином, мистером Тони. По происхождению русский, он провел всю свою жизнь в Англии и вспоминал о ней с пеной у рта. Теперь в Константинополе он ждал возможности уехать в Россию. Говорил он по-русски с сильным английским акцентом и выглядел как типичный британец. Что такое Россия, особенно взбаламученная революцией, он, конечно, представления не имел, но твердо стоял на своем решении. Волны беженцев его не смущали и не пугали. Должно быть, я приглянулась мистеру Тони: он усиленно и многократно звал меня поехать с ним и деловито говорил: «Со мной

вы не пропадете». Вообще ни о каких чувствах, хотя бы даже простой симпатии, разговора не было.

Было удивительно посреди всей этой беженской свистопляски вдруг увидеть человека, который бы так пламенно рвался в Россию. Интересно, как сложилась судьба этого немолодого упряма...

С незамысловатым своим багажом попали мы (мой Василевский — Не-Буква — и я) в барский особняк русского посольства на Пере. Для беженцев там освободили один зал. Спи на полу. Устраивайся, как знаешь. Ищи пристанища, где можешь. Под сверлящие презрительные взгляды «кавассов» — посольских служителей в униформах, украшенных золотым шитьем, — сначала мы разложили чемоданы, потом быстро сложили их. Мужчины разбрелись по городу и после недолгих поисков нашли гостиницу «Тиану», злачное местечко, совсем близко от Перы.

Гостиница «Тиана», сдавленная с двух сторон многоэтажными домами, выглядела непривлекательно. На окнах ресторана изображена традиционная пивная кружка с пеной, льющейся через край, и скрещенными над ней союзными флажками. Улица узка и грязна. Снуют люди, надрывают горло продавцы каймака (это заквашенное особым способом буйволиное молоко, очень вкусно!), высоко задирая головы и шаря глазами по верхним этажам. Если товар за день не распродан, каймакджи не постесняется закричать истошным голосом «каймаки!» среди глубокой ночи. Первое время мы все вскакивали и бросались к окнам.

— Амбуласі, амбуласі, амбуласі, — иступленно бормочет продавец лимонов, примостившись на ступеньках соседнего дома. Помимо воли это слово вливается в мозг.

— Семітне, семітне, семітне! — вторит ему мальчишка, предлагая прохожим обсыпанные тмином рогульки...

Владелец отеля, оборотистый потомок Антиноя, преподает танцы. Внизу, у окошечка, сидит его брат, исполняющий обязанности портье. У стойки, в кафе, дежурит их горбатая сестра. Вся семья суетится. Все кричат друг на друга и ссорятся, ссорятся с утра до ночи. Но ссорятся они, все же соблюдая субординацию: старший, Деметрос, всегда побеждает. У него на руке бриллиантовый перстень, в галстук тоже сияет бриллиант. Сияют и его острые глазки. Да и как им не сиять? Дела «Тианы» идут блестяще. На верхнем третьем этаже живут постоянные жильцы. На втором — расположен танцкласс и кафе-ресторан. На пер-

вом — номера сдаются по часам. Все приносит доход... Брат-портье слывет у родственников за дурачка и неудачника, но он обладает огромной физической силой, и его пускают получать по счетам. Когда в ресторане дерутся, — а дерутся нередко, — появляется он, грозный как статуя командора. Горбатая сестра принимает живейшее участие в скандалах. Она топает ногами и кричит на всех языках что-то воинственно-вдохновляющее. Ее вьющиеся, с легкой проседью волосы образуют нимб вокруг разгоряченного лица...

Когда мы поселились в «Тиане», Николай Владимирович Ре-Ми, переждав и осмотревшись немного, решил попытаться заработать деньги — ну хоть сколько-нибудь! Для «затравки» я села за столик кафе при гостинице, а Ре-Ми вынул альбом и стал быстро набрасывать мой портрет, надеясь соблазнить кого-нибудь из посетителей на быстрый портретный набросок. Он был великолепный художник, но карикатурист, а не портретист, и я получилась у него вылитый Чингисхан. И в Одессе, когда он какое-то время жил у нас, набросок, сделанный с меня, тоже не получился. Не вышло дело и с «затравкой». Не любят греки расставаться со своими пиастрами! А ведь они дельцы, местные богачи. Вся торговля — мелкая и крупная — у них в руках.

Кроме коммерческих меня всегда удивляли лингвистические способности греков. Наша хозяйка-гречанка (когда мы переехали из «Тианы» на частную квартиру), малограмотная женщина, говорила на трех европейских языках и владела турецким как своим родным. С необычайной легкостью перепархивали греки с одного языка на другой. Бывало, говорили одинаково хорошо на всех, бывало, — одинаково плохо, но всегда очень бойко, не подыскивая слов и не замечая своих ошибок. Мы, славяне, часто стесняемся, а потому задерживаемся в овладении иностранными языками...

Все мы обратили внимание на то, как греки, когда отрицают что-либо, говорят «охи» (нет), а сами головой кивают утвердительно. Когда говорят «да», произносят «нэ», а головой поводят из стороны в сторону отрицательно.

В моей юности у родственников в Петербурге жила очень хорошенькая гречанка Деспина. Ей часто звонил мужской голос. Она постоянно отрицательно мотала головой и говорила «нэ». Тетушка поучала нас с кузиной: «Вот, девочки, берите пример. Какая суровая недотрога наша Деспина! Ни на что нельзя ее уговорить». Только много лет спустя, в Константинополе,

поняла я, что девочкам не надо было брать пример с Деспины!

Мы приехали в магометанский великий пост рамадан. Правоверные постятся с утренней зари целый день. А вечером, вскоре после захода солнца, кончается полное воздержание: можно пить, есть, курить и предаваться плотским наслаждениям. Все минареты празднично иллюминированы, и улицы особенно оживлены. На каждом углу ларек, где глядят фески. Под медную болванку подкладывают горячие угли. Когда она согрется, на нее надевают феску и вращают ее несколько раз вправо и влево. Вся процедура длится секунды и стоит несколько «пара».

Помню, что базар был недалеко от воды. Толпилось много народа: турчанки в своих неуклюжих платьях с пелеринками. Лица закрыты густыми черными чарчафами (на весь Константинополь с миллионным населением приходится одна турчанка — жена дипломата, — которая носит шляпу и не закрывает лица. Ее знает весь город).

То там, то тут мелькает фигура черного как жук македонского турка. (Коренные турки-османы — русые и светлоглазые. Таким был и Назым Хикмет. Красивый народ.) Встречаются негры... Торгуют главным образом вечные антагонисты — турки и греки.

Соблазнительно сверкает белизной разрезанная мякоть кокосовых орехов, манит холодной своей упругостью. Тут же можно выпить и кокосовое молоко. Изобилие апельсинов из Марокко, Алжира, Италии. Бойко покупают финики, фисташки.

В рыбном ряду лежит не знакомая мне рыба-игла. Стоят ведра со студенистой массой: это каракатица, из которой здесь варят суп. Утром, проходя по Пере, я видела в окне бакалейного магазина распластанного сушеного спрута. В тертом виде это острая приправа к кушаньям.

Над базаром разносится шум многих голосов, разноязычная речь и пронзительные трели звонков: так продавцы заывают покупателей. Изредка мелькнет в толпе бродячий зубной врач. Он что-то громко кричит, размахивая пинцетом. Ставит табуретку. Вскоре появляется и первый пациент. Он широко и доверчиво раскрывает рот навстречу волосатой руке с инструментом. Понемногу у табуретки выстраивается очередь. Еще большим успехом пользуются бойкие рыночные парикмахеры.

Давно меня интриговало и привлекало своим аппетитным видом одно загадочное кушанье, похожее на пышно скатанный белый ватин. Я все-таки умудрилась

его попробовать. Это оказалась местная сладость: взбитый бараний жир с сахаром. Бр... Ужас, конечно!

Брожу по базару, впитываю краски и запахи. От жаровен идет дразнящий дух. Это тушится мясо с рисом, запеленутое в виноградные листья...

В Турции встречаются медленно влекущие повозку буйволы. Лбы их выкрашены хной. На этом огненном пятне между рогами красуется нитка голубой бирюзы. Бирюза — талисман. Она охраняет от порчи домашний скот. На лбу у осликов — этих страдальцев восточных стран — тоже бирюза. И четки сплошь и рядом голубые, как и изразцы величественной мечети Сулеймана Великолепного. Около мечети почти всегда маленькие фонтанчики — здесь правоверные омывают ноги перед тем, как войти внутрь.

В городе существует «alliance française» — французское коммерческое предприятие, где за пятьдесят пиастров дают обеды из трех блюд с вином (*vin ordinaire*), а на сладкое — алжирские финики. Вообще сразу бросается в глаза изобилие в городе апельсинов, сардин, шоколада по самым дешевым ценам. Турки, конечно, в «alliance française» не ходят: дорого и не принято. Да и мы очень скоро прекратили наши посещения.

Там же мы познакомились с плотным, широкошутым приземистым человеком с бородой лопатой, похожим на церковного старосту, и с его хрупкой женой — армянкой Мариэтточкой. «Церковный староста» оказался Липкиным, кинодельцом. Попав в Константинополь, еще не осмотревшись как следует, под запал бывшего благополучия, заказал он мужу моему Илье Марковичу Василевскому сценарий, имея в виду на главную роль свою Мариэтточку. Липкин выдал и аванс.

Сценарий, весь пронизанный головокружительными приключениями русской беженки в Константинополе, был назван «Ее Величество Женщина». В памяти всплыл один из эпизодов: женщину похитили и везут в гарем в закрытой карете, но она кричит и зовет на помощь. Собирается толпа. Тогда сопровождающий злодей спокойно объясняет, что это сумасшедшая, которую везут в больницу. Толпа расходится, и карета движется дальше...

Пухлое и довольно объемистое наше совместно с Василевским «творчество», кажется, осталось у Липкина.

Как ни жадны греки, как ни охраняют они свои лиры, нам все же удалось «подковать» одного из них, и он дал деньги на кабаре «Маски». Вспоминаю, что

подготовленная нами программа блеском не отличалась. Некоторые режиссерские указания давал художник Ре-Ми.

У меня появился партнер Фреди. Мы должны были танцевать с ним «Голубой вальс», в то время необыкновенно популярный французский вальс. Постановку Фокина я вывезла из Петрограда. Фреди был миниатюрен, подозрительно покачивал бедрами и, боюсь, подрисовывал себе около рта женственную родинку. Я тоже была не на высоте. Лучшая танцевальная пара — Таня Хирчик, по сцене Хирье (тоже, как и я, из частной петроградской балетной школы). Ее партнером был негр — Володя Крупенский. Когда-то русский дипломат вывез и усыновил негритянского мальчика. Он и по паспорту был русский. Кстати, очень хорошо воспитанный, скромный молодой человек.

Они с Таней «запустили» какую-то завлекательную постановку с поддержкой. Володя трепал ее почему зря, вертел, таскал, держал над головой, ловил, подбрасывал. Но и это не спасло положения.

Что действительно было прекрасно и никому в Константинополе не нужно, так это настенные панно, написанные Ре-Ми. Одно из них представляло собой русскую чайную с самоваром, половыми, пестрой посудой, извозчиками, пьющими с блюда чай вприкуску. Гротеск, но талантливо очень.

Второе панно — в восточном стиле. Смесь Бакста и Судейкина. Но хорошо тоже. Третье — парижское кабаре с шикарнейшей публикой в духе французского художника Тулуз-Лотрека. Писать его начал Ре-Ми, а закончил приехавший позже художник Кайранский, бородатый живчик в пенсне. Среди посетителей парижского кабаре Кайранский нарисовал портрет Ре-Ми, а тот в отместку тут же изобразил Кайранского.

Помню, как, сидя за столиком, солидный грек в феске попивал дузику (анисовую водку) и с грустью поглядывал на наши старания. Он ожидал какой-то сенсации. В душе он, конечно, рыдал и повторял по-гречески: «Плакали мои денежки».

Уже будучи в Париже, мы узнали, что панно Ре-Ми были проданы за бесценок.

АРНАУТКЕЙ

После «Тианы» мы все же ухватили кусочки радости. Я имею в виду наше недолгое пребывание на Босфоре, в Арнауткее.

Феридэ-султан — так называется дворец еще здрав-

ствующей престарелой родственницы султана Абдель Хамида, или Абдула Гамида, как было принято называть его в России.

Окна дворца выходят на Босфор. В глубине сада стоит двухэтажный добротный дом, в котором когда-то жили придворные. Но настали черные времена, и дом сдан некоему русскому гражданину Бороновскому. Он организовал здесь пансион.

Тяжелые ворота дворца открыл нам негр-евнух. Чаще всего привратники — негры. Арнауткёй — их излюбленное место: они живут здесь на пенсии. Вверх по мощеной дороге, через зеленый строй деревьев, мимо гранатового куста в цвету — и мы у цели. В другом здании поменьше, здесь же в саду, живут: низложенный, значит, потерявший трон шах иранский, его мать, шахиня и маленький черноглазый шахенок в каракулевой шапочке, который разъезжает на велосипеде по всем дорожкам.

Здесь же, в Арнауткёе, в пансионе Бороновского, познакомились мы с семьей коренных москвичей — с Курлюковыми. Жена — настоящая красавица: статная, темноволосая, голубоглазая. Кроме красоты природа одарила ее и обаянием. Муж тоже был красивым человеком. Его седые волосы удачно контрастировали с молодым и свежим лицом. Но он был предельно озабочен и расстроен константинопольскими неудачами. Их годовалый ребенок, по прозвищу «Чичкин» (названный так в память бывшего «молочного короля» Чичкина, в изобилии снабжавшего Москву молочными продуктами и колбасами), чувствовал себя превосходно, и дела его не интересовали.

О красавице ходили легенды. Французский пароход «Сюэра», на котором они ехали с Кавказского побережья в Константинополь, подвергся в открытом море нападению вооруженных грабителей-кавказцев (так говорит молва). В коврах было упаковано оружие, которое та же молва превратила уже в запеленутых в ковры вооруженных бандитов.

Нападающие никого не убили, но здорово обчистили. Сильно пострадал в этом происшествии и французский консул. Единственно, кто не пустил к себе в каюту грабителей, была Курлюкова. Она сказала: «Не пущу. Мой сын только что заснул». Наивная ли отговорка матери или красота женщины подействовала — неизвестно, но у Курлюковых ничего не отобрали. «Чичкин» был очень мил, но не очень красив. Особенно было смешно, когда мать намазала ему волосы перекисью водорода и мальчик вдруг стал зеленым. Перепу-

ганная, она вызвала меня на консультацию — что же теперь делать? «Чичкин» безмятежно играл на кровати, и зеленая шевелюра не отражалась на его настроении. Мы решили оставить все как есть. Я уверяла, что зеленый цвет даже ему к лицу.

Мы познакомились с офицером. Жена его умерла, и у него на руках остался сын. Это отъявленный шалун. У него в руках взорвался патрон, но, к счастью, он не ослеп. Он упал в бассейн, но, к счастью, не утонул. Я его вытащила...

Пока Василевский по утрам сидит на скамейке в саду и с удовольствием курит свою первую папиросу, я бегу по набережной Босфора, через Ортакёй в Бебек или Румели-Гисар, наслаждаясь воздухом и неповторимой красотой. В Бебеке по утрам под открытым небом за чашкой кофе собираются одни и те же турецкие офицеры. С одним из них я, улыбаясь, обмениваюсь поклонами. Позже мне сказали, что это кемалисты (на азиатском берегу, за Скутари, по ночам постреливает Кемаль).

По вечерам на той же живописной скамеечке Илья Маркович выкуривает и последнюю перед сном папиросу. Тишина и красота вечернего Босфора, когда летающие светлячки перекрещивают остывающий воздух — ночи здесь прохладные, — умиляла даже Василевского. О черных днях как-то не думалось. А надо бы! Одно озабоченное лицо мужа красавицы Курлюковой (а оно день ото дня становилось все мрачней: дела его шли все хуже) должно было служить как бы предостережением...

Иногда я хожу купаться в купальню. Вода в Босфоре холодная. Даже самые маленькие девчужки-турчанки купаются в рубашках. Так принято: не показывать свою наготу. Мне очень нравится, когда девочка-подросток, выходя из воды, еще вся в каплях, дрожа, вытирает наспех лицо и тычется за мешочком, достает оттуда черный карандаш и быстро подводит глаза, рисуя явную черту от глаза по направлению к уху. Парижанки в 1921 году делали то же самое и называли этот грим *a la turque*¹.

После Арнауткёя (мы уже не могли оплачивать пансион) мы вернулись в Константинополь и переехали к гречанке на улицу Алтым-Бакал, такую узкую, что извозчий экипаж туда въезжать не отваживается. Вся квартира состоит из трех этажей, разделенных посередине лестницей. Внизу — крикливая хозяйка с

¹ под турчанку (фр.).

детьми. На втором этаже—наша комната, а через площадку—какого-то всегда отсутствующего грека. Наша комната—сплошные окна: их одиннадцать. Практически без окон только одна стена, где стоит постель. Все необыкновенно запущено и грязно. Царицы положения—крысы. На третьем этаже—уже полутемные каморки, которые, как все здесь, тоже сдаются...

Я видела, как крысы бегали по карнизу, и только молила Бога, чтобы ни одна из них не свалилась на нашу постель. Как-то ночью со страшным шумом одна другой подсовывали под дверь плитку шоколада. Они прогрызли мои ночные атласные туфли.

Шоколад, я уже говорила, здесь самое дешевое питание, исчезал у нас с катастрофической быстротой. Я была уверена, что это хозяйские дети (комната не запиралась), но однажды я выдвинула ящик гардероба, который никогда не открывался: там лежал пока никому не нужный портплед. Каково же было мое изумление, когда я увидела весь исчезнувший шоколад, уложенный в полном порядке кучкой. Эти проклятые животные готовили себе припасы на черный день! Многие называли Константинополь Клопополь. Я от себя добавлю—Крысополь... И все-таки красивейший город с неповторимой архитектурой. А закаты? Какие закаты! И это необыкновенное розово-лавандово-опаловое небо, произеинное свечами минаретов. К сожалению, Василевский был неподходящим компаньоном для любования красотой.

— Один вид минаретов бросает меня в дрожь,—говаривал мой муж.

Правда, город правоверных был к нему исключительно немилостив. Из-за Василевского я многого не видела, а если что и видела, то этим я обязана самой себе. Все же по Босфору на каике мы проехали вместе. Вода здесь фосфоресцирует. Мне нравилось опустать руки за борт каика и следить за таинственно мерцающей дорожкой, убегающей из-под моих пальцев... Затем я повезла Василевского в Эюб.

На «Золотом Роге», там, где европейские «Сладкие воды» (извилистая тенистая речушка, каких в России тысячи тысяч), расположено священное место Эюб. По преданию, здесь, в часовне из голубых изразцов, хранится особо чтимая святыня—меч Магомета, или приближенного самого пророка. И короноваться сюда ездили султаны.

Недалеко от ворот, под пологом необыкновенной красавицы чинары, своей кроной закрывающей почти весь двор, сидят бородатые продавцы четок. Когда

шныряющие тут и там иностранные туристы, по большей части англичане или американцы (Эюб очень посещаем), нацеливаются на старцев своими фотоаппаратами, правоверные быстро набрасывают на голову мешки. Пророк не разрешил им запечатлеть свое изображение.

Город мал, тих, тенист. В кофейне пергаментные старики в белых чалмах, от возраста кажущиеся невесомыми, целый день потягивают крепчайший кофе из крошечных чашечек. Это султанские пенсионеры.

Есть в Эюбе и таинственное кладбище, густо заросшее кипарисами и кустами. Среди зелени белеют низкие мраморные надгробья, невысокие прямые колонки, увенчанные феской или феской с чалмой, если погребенный побывал в Мекке или Медине.

Сколько раз по разному поводу вспоминала я Клода Фаррера, очень четко и с любовью описавшего Константинополь и его окрестности в романе «Человек, который убил». Не случайно французы называли язвительно роман «художественным путеводителем», но зато турки назвали одну из улиц Константинополя именем этого французского романиста. Как раз на эюбском кладбище происходит в романе убийство американского бизнесмена сэра Арчибалда, куда заманил его переодетый турчанкой дипломат-француз.

Были мы и в Айя-Софии. Разве так надо осматривать эту неповторимую красоту? Войдя, я сразу как будто даже ослепла от этого византийского великолепия. Щиты с изречениями Корана (арабская вязь уже сама по себе прекрасна) зеленые, надписи золотые. Колонны в два этажа. Резной мрамор, резные решетки на галереях. Как ни старались турки, начиная с XV века, замазать византийскую мозаику, все же шестикрылые серафимы явственно проступают на сводах. Поражает игра света и красок... Надо было, конечно, обратиться на самую высокую доступную точку и осмотреться не торопясь. Но разве возможно это рядом с Василевским, олицетворением нервозности и нетерпения?

Познакомились мы, вот где, не помню, с симпатичным пожилым турком, служившим придворным доктором при покойном «кровавом» султани Абдель Хамиде. Доктор-турок хотел сдать комнату (значит, туго пришлось) и потому пригласил ее посмотреть. Внизу нас встретила его жена, очень пожилая женщина. Она, стоя, низко поклонилась, но руки не подала. Лицо ее было открыто. В маленьком холле на низком столике стоял графин с дузикой (анисовая водка). Вылитые

капли от кашля! Но ничего не поделаешь — пришлось хлебнуть. Тут же рядом стояла жаровня, напоминающая большую медную, до блеска начищенную чашу с широкими краями. В ней тлели угли. Так они отапливаются.

По крутой лестнице поднялись на второй этаж и попали в комнату, предназначенную для сдачи. Вот это так комната! Вся обитая зеленовато-серебристым шелком. В тон занавески, чуть темнее ковры, покрывающие низкие диваны. Перед ними также низкие инкрустированные перламутром столики черного дерева. Необыкновенно все элегантно. Но и цена тоже «элегантная» — пятьдесят лир в месяц, приблизительно бюджет рабочей семьи. Мы повздыхали, поохали, сказали несколько комплиментов и отбыли. Ничего нельзя возразить: хороша комната.

Еще девочкой, листая «Ниву», я видела красивое девичье лицо, а под ним подпись: «Семнадцатилетняя черкешенка Эльза, любимая жена султана Абдула Гамида, убитая им в припадке ревности». Вот когда познакомилась я с «кровавым султаном» и, конечно, не предполагала, что когда-нибудь попаду в Константинополь и познакомлюсь с его придворным врачом...

Много диковинного осталось в памяти от константинопольского житья. Почему меня занесло в Сан-Стефано, сама не знаю. Может быть, где-то в мозгу застряло когда-то читанное в газетах название? Это европейская Турция, небольшое местечко на Мраморном море, совсем близко от Константинополя. В 1878 году здесь был подписан мирный договор между Россией и Турцией.

Сан-Стефано (турецкое название Иешилькёй — «зеленая деревня»). Ничего зеленого я там не увидела. Противное местечко.

Жарко... Я пришла к морю, оглянулась направо и налево. Вдали маячила какая-то плохонькая постройка. Мне захотелось искупаться. Не успела я сбросить платье, как увидела французского офицера. Он размахивал руками и кричал что-то. Подбежал, запыхавшись, и сказал:

— Не купайтесь здесь. Уходите скорей! Вон там наша казарма. Я командую черными, они вырвутся, и я не смогу их удержать — *Je ne saurais pas les retenir*.

Конечно, я сразу же ушла. Купаться расхотелось...

Затем попала я на «Антигону», маленький островок в системе Принцевых островов, под протекторатом Италии.

По мосткам, перекинутым через мутную у берега

воду Босфора, всю покрытую апельсинными корками, я с трудом протолкалась сквозь толпу кричащих гречанок и села на палубу местного пароходика-шеркета, курсирующего между городом и Принцевыми островами. Пароход отчалил. Из трубы повалил густой черный дым, обдавая всех копотью. Женщины с визгом прикрыли головы, кто бумагой, кто корзинкой, кто руками. Я не пошевельнулась. Мне хорошо было у воды: ветер сдует и копоть, и пыль...

Вот справа проплыл Золотой Рог, заставленный рыбацкими лодками так густо, что, казалось, среди них нельзя протолкаться и человеку. Солнце грело еще не в полную силу, но было что-то тревожное в его прикосновении. Тепло. Синё...

Вот суровый остров Халки (протекторат американцев). Темный, мрачный, случайный на этом празднике красок. Сюда когда-то жители Константинополя свозили бездомных собак, и они умирали голодной смертью, пожирая друг друга, оглашая окрестности предсмертным воем. Наиболее сильные доплывали до города.

А вот и маленький островок Антигона. У пристани стоит толпа, готовая хлынуть на пароход...

В греческой винной лавчонке за несколько пиастров вам нальют стакан розового сладкого самосского вина или густой темной малаги. Если идти напрямик, натолкнешься на глыбы белого мрамора. Он разбросан здесь повсюду. Вижу игрушечную мечеть с голубым минаретом.

«Ла иль Алла иль Мухаммед рассул Алла!» — сколько раз слышала я этот гортанный призыв, обращенный к правоверным! И в Галате среди деловой суеты в положенный час на минарете появлялся муэдзин: «Ла иль Алла!»

Вся мечеть на Антигоне сверху донизу обвита мелкими красными розами. Они льются потоками через стены, они сплетаются ветками в воздухе. Такого изобилия роз я и представить себе не могла. Грешна, захотелось сорвать хоть одну веточку. Кусок мрамора лежит около самой стены. Я встала на него как на подножие, а там дотянулась и до цветов. Сорвала ветку — и замерла. Внутри дворика стоял старик мулла в белой чалме. Он был так ветх, что казалось, он вот-вот испарится, улетит. Нигде на свете я не видела таких прозрачных старцев, как в Турции. Он смотрел на меня добрыми внимательными глазами. Я сконфуженно пробормотала «бонжур» и уже собралась спрыгнуть с забора, но старик улыбнулся, сорвал несколько

веток роз и протянул их мне. Я помахала ему приветливо рукой и прыгнула со стены. С букетом идти по прямой дорожке было веселее. Открылся вид на Мраморное море. Мимозы и миндаль стояли в цвету. И всю-то Антигону хорошим шагом от края и до края можно было пройти за короткое время. Но воздух, легкий, напоенный солнцем, сделал свое дело. Я уснула под мимозой, благо до обратного парохода оставалось часа два.

ЧУДЕСА БЫВАЮТ...

Илью Марковича Василевского, Не-Букву, можно назвать удачливым. Все его журнально-газетные начинания («Свободные мысли», «Журнал журналов», «Петроградское эхо» и пр.) пользовались неизменным успехом. Не случайно коллеги называли его блестящим газетчиком. Как все неврастеники, он очень быстро падал духом, впадал в уныние и также быстро расцветал, стоило только удаче поманить его пальчиком. Тогда он становился остроумным, забавным и, несмотря на свою некрасивость, нравился женщинам...

Итак, моего непоседливого и суетливого мужа не покидала мысль открыть в Константинополе свою газету и назвать ее «Константинопольское эхо». Как ни странно, желание это осуществилось, но международные власти, *pouvoir interallié*, дали разрешение только на коммерческий листок, который должен был издаваться на двух языках: французском и русском.

Со свойственной Василевскому энергией коммерческий листок быстро превратился в обыкновенную газету небольшого формата. Переводил ее на французский язык вежливый молодой человек, по фамилии Шкаф. Я носила верстку в цензуру. У нас было два цензора: капитан Карре и капитан Марешаль. Первый — розовый, седоусый «бонвиван», напичканный Пьером Лоти и Клодом Фаррером. В каждом мелькнувшем силуэте турчанки он видел потенциальное любовное приключение.

Мы быстро с ним поладили. Он ставил визу не глядя, только всегда говорил: «Передайте коллеге». «Коллега» — молодой англичанин — плохо знал французский язык и спрашивал, твердо произнося букву «i»: «*Pas de politique?*»¹ (у него выходило «полытык»).

— Конечно, политики нет, — отвечала я и радостно отбывала.

С капитаном Марешалем дело обстояло сложнее. Он

¹ Никакой политики (фр.).

и верстку читал от корки до корки. Это он ввел обязательный обзор состояния иностранной валюты (думаю, для того, чтобы хоть как-то оправдать название коммерческого листка, под который дано было разрешение). Но в общем он был корректен и доброжелателен. Когда газету прихлопнули стараниями Ореста Григорьевича Зелюка, бывшего друга Василевского, это он, капитан Марешаль, сказал мне:

— *Cherchez vous ennemis parmi vos amis.* (Ищите ваших врагов среди своих друзей...)

Произошло это совершенно неожиданно. Как-то я пришла к капитану Марешалю по делу и узнала, что газета закрыта по распоряжению властей. На мой вопрос, почему, он сказал, что в валютной сводке упоминается о том, что франк упал. «Каково мне, французу, читать подобные утверждения?» (Это была явная отговорка.) Я не без растерянности ему ответила, что падение франка—явление временное. Так часто бывает на бирже. Вот тогда-то он мне после паузы и сказал:

— Ищите врагов среди своих друзей...

Здесь же, когда я, ошеломленная, спускалась по лестнице, меня догнал турок, связанный делами с секцией прессы. Он сказал, что мне хорошо бы поговорить с турецкого министра, эффенди такого-то, и поговорить с ним. Для этого надо прийти в «Блистательную Порту». Он назначил мне день и час...

Стамбул. Тишина. Тенистые улицы. Спущенные жалюзи... У ворот вытянутого низкого здания стоял темнокожий страж. По совершенно пустым коридорам, где гулко раздаются шаги, негр привел меня в европейски обставленную комнату. Знакомый турок был там. Он за руку поздоровался со мной и провел меня в меньшую комнату, всю голубую, с голубыми штофными портьерами, голубыми занавесками на окнах. Министр (к сожалению, не запомнила его имени)—пожилой седой человек в феске, встал мне навстречу, усадил и попросил рассказать все подробно, что я и сделала крепя сердце. Тишина и пустота «Блистательной Порты» ясно говорили, что это учреждение мертвое и существует только для видимости... Приблизительно в таком духе и говорил министр:

— Я рад бы сделать для вас все, но не могу. Надо мной *rouvoir interallié*, с которой я должен считаться. Надеюсь увидеть вас при других обстоятельствах, когда я смогу оказать вам содействие...

Говорил он на прекрасном французском языке. До сих пор не понимаю, зачем понадобилось принимать

меня в «Блистательной Порте». Ведь оба они — и министр и его помощник — прекрасно понимали, что руки у них обоих накрепко связаны...

Полный, полный провал... Черная дыра впереди. Ни денег, ни перспектив. Василевский курил папиросу за папиросой, переживая свою неудачу. Собственными руками отдал жулику последние свои гроши. Правда, всякий поступил бы так же на его месте: Орест Григорьевич Зелюк — старый знакомый еще по Петербургу. Ему, Василевскому, и в голову не могло прийти, что его как мальчишку обманет его же собственный приятель. Акционерное общество, издательство! Кому нужны в Константинополе книги? В этой «передней Европы» жить могут только жулики. Все продают всё и за всё получают процент. Спросите, где аптека. Вам скажут адрес и тут же добавят: «Скажите провизору, что я (следует имя) вас прислал. Он знает». Эту фразу вы слышите десятки раз на дню. «Не забудьте сказать, что от меня. Там знают...»

В этот день Василевский был принят в пайщики на заседании акционерного общества, что было зафиксировано в протоколе. Но так было утром. Вечером же он узнал, что в акционерном обществе больше не числится.

— А пай? Я внес пай, и протокол у вас в кармане, — запальчиво кричал Василевский, глядя в ласковые, неверные глаза Зелюка.

— У меня в кармане, не отрицаю, — спокойно подтвердил Зелюк, хлопая себя по карману пиджака. — Но мой карман — это не ваш карман. Не так ли?

— Я буду жаловаться! — бушевал Василевский.

— Кому? — с невозмутимым спокойствием спросил Зелюк.

— Вы мой старый петербургский знакомый, как вы могли?

— Мы все здесь более или менее старые знакомые...

Зелюк улыбнулся детской улыбкой, которая говорила: «Что, мол, с меня возьмешь такого? Я весь как на ладони...»

Илья Маркович даже взвизгнул неожиданно для самого себя.

— Но протокол?

— В моем кармане...

В первый раз в жизни Василевский растерялся. На Перу он вышел с головной болью и с ощущением

пощечины на лице... По узкой улице летел, громяхая, трамвай. Ехали парные извозчики. Семенили ослы, неся на своих спинах непомерных размеров мужчин в фесках. Шли пешеходы, проходили военные-англичане, французы, сипаи. На углах стояли картинные итальянские полицейские в треуголках и черных коротких накидках. Итальянцы несли внутреннюю охрану города.

Хотя номинально султан еще существовал и селямлик, то есть парадный его выезд к подданным под восторженные овации населения еще практиковался, но власть принадлежала иностранцам... Вот проплыла французская монахиня в синем платье, «под парусом», под гигантским белым накрахмаленным чепцом. Вот мелькнула коричневая фигура босоногого подпоясанного веревкой дервиша... Гречанки, турчанки, русские. Над всей этой толпой крик каймакджи, звонки продавцов лимонада и вой шарманок. Есть от чего сойти с ума! И все это — чужое, назойливое, крикливое... Острова, белые ночи в чудесном городе, — где вы?

После краха надо было что-то предпринимать. Но как? Где? Сначала на Перу, в кафе Вертинского «Чайная роза». Может быть, там нужны служащие? Поговорить вышел сам шеф. Никогда, отдавая должное его артистическим способностям, не таяла я перед этим человеком, как многие, многие из моих соотечественников. Бывший Пьеро посмотрел на меня критическим оком и сказал, что у него все места заняты.

Не знаю, сочинял он или говорил правду. Перекидываю мостик в нашу современность. Как-то, это было в начале последней войны, моя хорошая знакомая Людмила Алексеевна Соколова, жена профессора-физика, показала мне интересную фотографию из времен войны 1914 года. Внутренность вагона санитарного поезда. На переднем плане в белом халате стоит привлекательный молодой человек.

— Узнаете? — спросила Людмила Алексеевна. Я сказала «Вертинский», но это показалось мне настолько несовместимым с его образом, что я тут же поправила: «Похож на Вертинского».

— Нет, это он, — сказала Людмила Алексеевна. — Это мой коллега по работе в санитарном поезде в прошлую войну. Он был брат милосердия.

И дальше Людмила Алексеевна, конфузясь, с горечью поведала мне, как она, когда Вертинский вернулся в Советский Союз, умиленная воспоминаниями молодости, прихватив фотографию, направилась в гостиницу, где тогда с семейством жил артист. Ну, так он ее не

принял. Вспоминаю, как неприятно, снисходительно-пренебрежительно в своих воспоминаниях пишет он об Иване Мозжухине, прекрасном актере, с которым связан целый большой этап развития нашего искусства кино.

Нет, нет... Что греха таить. Не на высоте бывший Пьеро!

Вторая попытка найти работу. Соседка-румынка, бродячая жонглерка, советовала обратиться в цирк «попытать счастья» — сакраментальная фраза всех нестроенных бродяг.

Стоял необыкновенно знойный день. Даже я, любящая жару, чувствовала, что растапливаюсь, как асфальт под ногами. Путь мой лежал на край города, туда, где маячил светлый балаган. Я села в трамвай. Вместе со мной в женское отделение прошли две турчанки в темных неуклюжих платьях с пелеринками, со спущенными на лица чарчафами. Кондуктор сейчас же встал и задернул занавеску, отгородив их от общего отделения. Мы ехали через Перу. Навстречу нам приближались греческие похороны — эффектное пятно на фоне улицы. Всё лиловое: гроб, покрывало, венки, облачение священников. Лиловый цвет — траурный. Я вспомнила, как нянька говорила: «Встретишь похороны — к удаче». Трамвай довез меня до окраины города, но идти под палящим солнцем пришлось долго, через плац, где обычно проходили военные парады. Ноги увязают в горячем песке. Он набивается в туфли, мешает ступать, причиняет боль...

Вот он, цирк. Под парусиной еще душней, еще жарче. Запах арены приятно щекочет ноздри. Тишина. Ни души. Я остановилась и кашлянула. Наконец вышел небольшой пожилой человек с крашеными волосами и зеленоватыми усами. В руках он держал длинный манежный бич. Я спросила, нельзя ли устроиться на работу в цирк. Могу немного петь, танцевать, ездить верхом. Он посмотрел на меня пустыми глазами голодного человека и сказал:

— Ничего нет. Мы прогораем.

Опять долгий путь по раскаленному песку. Куда теперь?

О Константинополе много и горько писал Аркадий Аверченко. Он приехал в этот город раньше нас. Он уже успел вкусить от здешнего древа познания добра и зла. Он видел, как все планы рушатся и некуда податься «ошалевшему русскому беженцу».

Печальная галерея судеб в его рассказах. Вот человек, мечтавший открыть русский ресторан, чтобы

«оркестр из живых венгерцев, метрдотель — типичный француз, швейцар — швейцарец с алебардой, вся прислуга — негры», а сам работает кельнером у грека в жалком подобии ресторана.

А вот другой беженец, мечтавший издавать свою газету мирового масштаба, сам продает чужую «*Presse du Soir*» за грошовый заработок на перекрестке Перы...

Встретились трое: кухарка (бывшая актриса), швейцар (бывший генерал) и автор — писатель Аверченко. Описание встречи заканчивается горькими словами: «Усталые, затуманенные слезами глаза тщетно сверлят вастасу тьмы, повешенную Господом Богом... Какая это мгла? Предрассветная? Или это сумерки, за которыми идет ночь, одиночество, отчаяние?» («Записки простодушного», изд. «Север», Берлин, 1923).

Адреса здесь трудные, в русском ухе с непривычки не удерживаются. «Не то Шашлы-Башлы, не то Биюк-Темрюк, — пишет Аверченко. — А может быть, и Казанлы-Базанлы. Впрочем, дайте мне лучше карандаш и бумажку — я вам нарисую».

Нумерация в городе случайная, номера домов идут как попало. Прописки нет. Когда у одного молодого человека пропала жена и он бросился в полицейский участок, начальник спросил:

— А она хорошенькая?

Оказалось, она ездила в Кадыкёй — мерзкий городишко на азиатском берегу — и опоздала на последний пароход.

А после краха с газетой нам стало настолько трудно существовать, мы так замучены неудачами, что остаемся почти равнодушными к местной экзотике. Однако многие бытовые штрихи сами собой отлагаются в памяти и запечатлеваются на всю жизнь. Разве можно, например, забыть турецких пожарных? Или артельщиков?

Турецкие пожарные — зрелище примечательное. Они в розовых ситцевых рубашках и таких же штанах до колен. Босые. Насосы несут на руках, по несколько человек с одной стороны и столько же с другой. Не идут, а бегут ровной побегой. Но почему босые? Чтобы легче бежать? А как же на пожаре?

Также нельзя забыть и артельщиков, переносящих деньги. Как правило, лиры лежат одна на другой, большой и высокой стопкой. Нижний конец ее покоится на сложенных ладонях опущенных рук, а верхний упирается в подбородок и им же поддерживается. Артельщиков очень часто можно встретить в самых неожиданных местах. Мы всегда останавливались, по-

раженные такой наивной доверчивостью. Но, видно, этот древний способ себя оправдывает...

Все, что можно было продать, у нас продано, даже «заветные» дамские часы Брегет, прославленной фирмы, воспетой еще Пушкиным в «Евгении Онегине». Они были прекрасны. Съемный золотой футляр покрыт эмалью настолько тонкого рисунка, что художник Ре-Ми еще в Одессе советовал сделать из обеих крышек (на одной — павлин с распущенным хвостом, на другой — розы на черном фоне) брошки и носить на радость себе и другим.

Вздыхнув, я отнесла часы к Герсону, антиквару и ювелиру. Отдала условно. Потом побежала и взяла их обратно (на что рассчитывала, непонятно). Но матово-смуглый Герсон сказал: «Мадам все равно вернется». И правда. Прошло всего несколько дней, и «мадам» вернулась. Герсон, конечно, сбавил цену.

О нашей одиннадцатиконной комнате на улице Алтым-Бакал можно и не вспоминать: она канула в Лету. Мы живем на улице без названия, в каморке с тусклым оконцем. Рано утром мимо нас гонят коз. Если хотите, вам подоят козу тут же, на улице... Но что же дальше? Что будет дальше?

Говорят, чудес не бывает. Да еще как бывает! Случилось, Василевский брел по главной улице. Шляпа на затылке, глаза отсутствующие — и вдруг радостный возглас. Проездом здесь оказался его друг детства, теперь коммерсант из Лондона. Да не липовый, беженский, а настоящий, для которого какие-то пятьдесят лир (несколько фунтов) погоды не делали, а нас выручили. Он дал их весело, все его лицо доброго клоуна светилось улыбкой... Ни о чем другом, кроме сына, он говорить не мог. В нем он видел смысл и цель своего существования. Воспитывал его сам, с помощью дорогой и тренированной английской няни. О матери ребенка разговора вообще не было...

Роздали кое-какие долги. Заплатили за берлогу.

Во что бы то ни стало надо выбираться из прекрасного и страшного города, о котором тот же Аверченко сказал: «Жестокий это боксер — Константинополь. Каменеет лицо от его ударов». Лучше не скажешь.

Почти все уже разъехались. Уехал Миркин-Гецевич, Дон-Аминадо, Ага с семейством. Собирается Ре-Ми.

У нас нет ни денег, ни виз. А Париж манит. Там встретились журналисты и литераторы из России, главным образом петербуржцы. Я чувствую, у Василевского в голове уже копошатся заманчивые планы издания своей газеты в Париже.

Как-то мы узнали, что русский пароход «Цесаревич Алексей» в скором времени пойдет в Марсель. Мы просили у капитана взять нас. Не просили, а умоляли, сказали, что погибаем. Но все напрасно. «Нет, нет и нет»,— сказал он и повернулся к нам спиной. Расстроенные, не глядя друг на друга, мы пошли по Галатской пристани и свернули наугад в первую улочку. Свернули и попали в галатские притоны, которые тянутся по обе стороны улицы. Это целый квартал проституток самого низшего разбора— для портовых грузчиков и матросов. Каменная ступенька ведет к дверному проему, закрытому занавеской. Завешенное окно— без рамы и стекла. Внутри берлоги с тюфяком— «ложе любви». На ступеньке сидит «товар». «Товар» в большинстве своем страшный: старые и грубо намалеванные женщины. Они что-то нам кричали, слава Богу, непонятное...

Зловещее впечатление осталось не только от галатских притонов. В описаниях Востока часто рассказывается об оживленных крытых базарах. Но «Большой базар» — «Гран-базар» — «Капалы Чарши» в Константинополе, наоборот, поражал своей какой-то затаенной тишиной и пустынностью. Из темных нор на свет вытащены и разложены предлагаемые товары: куски шелка, медные кофейники, четки, безделушки из бронзы. Не могу отделаться от мысли, что все это декорация для отвода глаз, а настоящие и не светлые дела творятся в черных норах. Ощущение такое, что если туда попадешь, то уж и не вырвешься...

В тяжких раздумьях, в поисках выхода, цепляясь за последнюю надежду, пошел Василевский к начальнику русского порта и рассказал ему все как есть, без прикрас. Начальник (Матвеев) оказался добрым человеком. Он обещал помочь устроить нас на пароход, уходящий в Марсель. Я до сих пор с великой благодарностью вспоминаю спасшего нас Матвеева и на всю жизнь запомнила его лицо. Он сказал:

— Будьте готовы и следите, когда у пристани появится пароход «Цесаревич Алексей».

И вот вождеденный момент настал. Пароход у пирса. Мы прошли к Матвееву. Он позвал помощника капитана и велел показать, кто вписан в судовую роль.

— Вы вписали родственника богатого грека Дамантиди, а русскому писателю с женой отказали... А если я задержу пароход?

Так нас вписали в судовую роль (Василевский— лакей, я— горничная).

С каким необыкновенным чувством освобождения и ощущением спасения вступили мы на борт парохода!

ПУТЬ В МАРСЕЛЬ

На какое-то время пароход стал нашим домом. Не очень большой, белый, по красоте, пожалуй, уступающий некоторым волжским пароходам общества «Кавказ и Меркурий». Но все равно. Он дорогой. Он везет нас во Францию! Пума (я забыла сказать, что так по-домашнему называется Василевский) тоже повеселел. Я стою на палубе и не отрываясь смотрю на уходящую турецкую землю. Проплыли мимо Принцезы острова. Прощай, Антигона! Мрамор и розы...

Дарданеллы. Голые неприятные берега. Кое-где из воды торчат затопленные еще в первую мировую войну суда. По правую руку остается полуостров Галлиполи, куда позже интернировали войска белогвардейского генерала Кутепова. Очень там в лагерях тяжело жилось — так рассказывали очевидцы. Галлиполи как особое место юдоли прогремело на всю Европу.

С нами едет массивный бородатый пожилой человек. Он любит беседовать. Фамилия его самая простая, вроде Егоров.

— Вот я наобум Лазаря послал пароход льна в Англию, — рассказывает он. — Глядишь, ленок и не подвел: англичане мне за него пятнадцать тысяч фунтов дали. Еду со старухой в Париж...

В это время мимо нас как раз она и проходила. В ночных туфлях, в волосах яркие целлулоидные гребенки — типичная «зыза». Муж сказал: «Вот боюсь, как бы она себе молодого француза не завела». И, хихикнув, подмигнуло хитро.

То здесь, то там часто мелькает фигура молодого коммивояжера-француза. Он, видимо, близорук и щурится. На нем пижамная кофта плотного темного шелка с каким-то бронзовым отливом, туго и не без кокетства перетянутая в талии. Он посылает каблогаммы в один и тот же адрес одного и того же содержания: «Люблю. Тоскую». Для краткости мы его так и называем «Люблю-тоскую». Мы — это Пума, я и помощник капитана, имени которого я, к сожалению, не запомнила, но зато помню, что он был не старый, симпатичный, «чистый сердцем» русак. Он все сокрушался, что на гражданской войне свой убивает своего же. «Брат идет на брата» — подумать только! В отличие от своего помощника капитан даже и не смотрел в нашу сторону. Для него мы были принудительным довеском, навязанным ему начальством...

Вторые сутки в море. Пароход покачивает. Многие заблаговременно прилегли по своим каютам. Я не

подвержена качке и стою, любуясь солнечным блеском и водой.

Вечером в легком голубом сумраке на палубе появился красивый молодой человек в одежде с чужого плеча и под свой собственный тихий мелодичный свист начал танцевать какой-то замысловатый танец. Он плавно поднимал руки, пальцы его встречались над головой и там сплетались, будто перебирали и свивали бусы...

— Вы узнаете?—шепнул мне помощник капитана.

— Конечно,—ответила я.

Перед отходом парохода на пристани я видела красивого греческого офицера в военной форме (Греция, воспользовавшись тяжелым положением Турции, объявила ей войну и позже, в 1921 году, даже заняла область Фракию. Правда, в 1922 году Кемаль Ататюрк одержал решительную победу и вынудил греков полностью очистить турецкую территорию).

Итак, эффектный танцор в чужом свитере—греческий офицер-дезертир. Конечно, куда лучше ехать на пароходе во Францию, чем лезть в окопы во Фракии...

— Это его везет судовая команда,—сказал помощник. Но я все-таки подивилась его смелости.

— А что? Не бросать же его в открытое море. Пусть себе пляшет,—сказал добродушный помощник капитана.

Непредвиденный заход в грязноватый греческий порт Пирей: не хватило угля. Богатые пассажиры—и первый из них Егоров—сложились и заплатили за топливо. К ним присоединился «Люблю-тоскую». Капитан обещал им всем расплатиться в Марселе.

Пирей совсем рядом с Афинами—стоит только сесть на трамвай. Но вот получилось так: «близок локоть, да не укусишь». Нельзя было рисковать: время отплытия целиком зависело от отгрузки угля. Достали—отплыли. Очень я сокрушалась (да и до сих пор сокрушаюсь), что не попала в Афины. Видя, как я металась, Василевский сказал: «Конечно, глупо остаться в Пирее, но, уж если тебе так хочется,—рискни». Зато пом.—добрая душа—даже руками замахал. «Ни в коем случае, мы уже на ходу»,—сказал он. И правда, вскоре после этого разговора пароход отчалил.

Проходим через Коринфский канал. Он не широкий, справа и слева отвесные стены рыжего цвета. И порхают сине-зеленые птицы. Много-много лет спустя видела я точно таких же на речке у города Боброва,

Воронежской области. Мне хотелось бы, чтоб это были зимородки.

Прошли где-то рядом с Байроновскими Миссолонги. Целый сонм романтических мыслей...

Огибаем Сицилию. Средиземное море здесь особого цвета. Как будто сильно пересиненное, оно кажется неестественным, неправдоподобным. Это прорвались воды Адриатики. Верю, что из такой синевы родилась Венера.

Сицилия под ярким солнцем вся белая с вкрапленными пятнами зелени. Жаль, что быстро промелькнула, что нельзя ее удержать. Где-то вдали, в сиреновой дымке курится дымок. Это вулкан Стромболи. Название-то какое заманчивое! Хорошо бы побродить у подножия Стромболи...

На пристани в Марселе на меня напал ужас, что сейчас обнаружится отсутствие у нас въездных виз и нас не впустят во Францию. Но в толчее и бестолочи наше спасение. Таможенный досмотр был чисто формальный. Нас отпустили на все четыре стороны...

Мы в поезде Марсель — Париж!

ПАРИЖ

Воспоминания — это рай, из которого нас никто не изгонит.

Данте

Мы в Париже. Приехали на Гар дю Нор — Северный вокзал. Он темный и некрасивый. Сняли дешевый номер в захудалой гостинице, где нам дали рокфор с червями. Мы есть его не стали, чем вызвали презрение хозяина: «Et bien on les tue avec le vinaigre et on les mange». «Их убивают уксусом и едят». — сказал он, пожимая плечами...

Вспоминаю, что, сев в Марселе в поезд, я без умолку болтала с каким-то французом и никак не могла остановиться. Меня словно прорвало. Объясню это нервным состоянием.

Уж не знаю, как удалось Василевскому встретиться со своим старым знакомым, по фамилии Лев. В полную противоположность своей фамилии он оказался тихим и воспитанным человеком. Он выехал из Парижа на дачу и временно предоставил свою квартиру нам (в июле и августе все разъезжаются, наступает мертвый сезон — *saison morte*, — что дало повод поэту малых форм Zolo (Мунштейну) сострить. Удивленный, что француженки некрасивы, он сказал: «Сезон морд». Грубовато и

несправедливо: француженки лучше любых красавиц. Они гармоничны, изящны, умны...).

Итак, из предместья Северного вокзала мы попали прямо к площади Звезды, на улицу Акаций, в элегантный район. На этой площади под Триумфальной аркой покоится неизвестный солдат. Французы — молодцы: первые ввели эту благородную традицию еще после мировой войны 1914 года. От могилы звездой расходятся улицы. Отсюда рукой подать до Булонского леса, излюбленного места отдыха и гордости парижан, воспетого — я не ошибусь, если скажу, — всеми классиками французской литературы...

В те годы президентом был Мильеран — седой и благообразный. Я помню, он шел впереди торжественной колесницы, украшенной белыми и траурными плюмажами, когда перевозили в Пантеон сердце политического деятеля Гамбетты. Пантеон — прославленный памятник в Париже, воздвигнутый в XVIII веке архитектором Суфло. Сначала здание предназначалось как церковь для св. Женевьевы, покровительницы Парижа.

Но революция дала ему иное назначение — храма для хранения праха великих людей Франции и присвоила название «Пантеон». Надпись на нем вошла во все хрестоматии страны: «Великим людям благодарная родина».

Перед входом — статуя Родена «Мыслитель».

Видела я и другое торжество в 1920 году — пятидесятилетие 3-й Республики (она была провозглашена 4 сентября 1870 г.).

Мы смотрели на торжества с балкона второго этажа на Больших бульварах. Я в первый раз в жизни видела такой парад.

Шли представительницы различных департаментов в живописных костюмах. Вот прошли эльзаски в фартучках, с неестественно большими черными бантами на головах. Легкой походкой продефилировали женщины Высоких, Низких и Восточных Пиренеев с гребнями и мантильями на испанский манер. Картинно прогарцевала национальная гвардия на конях (конная жандармерия), с черными хвостами, похожими на распущенные женские волосы, ниспадающими с медных касок.

Величественно пронес свои седины президент. Позади него — министры. Шло много всякого войска. Запомнились «пуалу» — пехота в смешно подоткнутых голубых шинелях... Позже, когда я познакомилась с Павлом Николаевичем Милюковым, внешне его образ и образ президента Мильерана как-то слились воедино — оба седые, статные, чем-то очень похожие.

Как-то незаметно подкралась масленица — *mi-carême* у французов. Выбирается карнавальная королева. Ей полагается: быть не старше 25 лет, быть незамужем и самой зарабатывать себе на жизнь.

В этот раз избрана машинистка из 13-го района, одного из самых бедных в Париже.

Вот она стоит на платформе украшенного цветами грузовика, озябшая и счастливая, и улыбается всеми своими ямочками. По традиции в этот день ее принимает в своем дворце на Елисейских полях президент. Их обычно и снимают вдвоем: президент во фраке, со своей президентской лентой, она — в горностаевой королевской мантии.

Из большого, разнообразного, веселого шествия запомнилась мне одна колесница, отражающая в чисто французском духе злободневную тему — жилищный кризис.

На грузовике — двуспальная кровать (что греха таить: любят французы этот сюжет), в ней под одеялом двое улыбающихся молодоженов. Над ними — арка — часть моста: больше молодой паре деваться некуда. Чтобы подчеркнуть иллюзию моста, на арке стоит мужчина с удочкой — символ неугасающей страсти парижан к рыбной ловле. Толпа отпускает пикантные шуточки, смеется, аплодирует...

Фигура человека с удочкой на Сене — типичное зрелище. Не одну строку посвятил Мопассан этой страсти...

Забрели мы как-то с Пумой «К сверчку» (*Au grillon*), в кабаре Латинского квартала. На маленькую сцену вышел невзрачный пожилой человек с бородашкой, в поношенном пиджачке (тип земского врача), сел за пианино и, перебирая клавиши, запел, нет, вернее, заговорил надтреснутым тихим голосом. Он рассказывал, что нашли, вскрыв череп, в мозгу Наполеона. Дальше пошло настоящее арго, а меня учили «честному» французскому. Ничего-то я не поняла, а вокруг публика — много молодежи, но и людей разных возрастов — грохотала залпами. Василевский спрашивал: «Что? Что?» Я сказала: «Я не поняла». Тогда он раздраженно: «Чему же ты смеешься?» Я сказала: «А ты посмотри вокруг. Просто нельзя не смеяться». Выступал известный шансонье. Таких в Париже полным-полно. Потом постепенно я отошла от «честного» французского и приблизилась к разговорному парижскому. Мне стало проще и легче. Василевского смущала, конечно, возрастающая глухота. Это при его-то самолюбии!

С первых же шагов в Париже многие бытовые детали бросились мне в глаза.

Во-первых, стофранковая бумажка. Русские крупные дореволюционные купюры были украшены водяными портретами царей. Здесь же на стофранковом билете изображена целая картина: под ломящейся от плодов яблоней стоит женщина, рядом с ней — голый ребенок. Женщина опирается на изящную лопату. Так может опираться на свой пастушеский жезл пастушка Ватто.

На другой стороне купюры — миловидная полуголая девушка в зеленом хитоне как бы слегка заигрывает с рабочим, стоящим у наковальни. Все выполнено в светлых, жизнерадостных тонах...

Почти сразу же после приезда мы натолкнулись на странную фигуру: некрасивый, небольшой мужчина в белом хитоне, раскрашенном у горловины, с ремешком в волосах, шагал в сандалиях. Видеть его на улицах Парижа было по меньшей мере удивительно. Нам объяснили, что это Раймон Дункан, брат Айседоры, проповедующий возврат к античности...

И еще одна деталь: три загадочных буквы «SCS» в газете после объявления приблизительно следующего содержания: «Обеспеченный мужчина средних лет желает познакомиться с молодой женщиной» и дальше «SCS», так заинтриговавшие меня три буквы. Оказывается, «*Sans complications sentimentales*» — «без сентиментальных осложнений». Ай да любимцы! Ай да французы! Вот это завидная деловитость!..

Итак, период парижских «Свободных мыслей». В эмиграции еще были богатые люди. Но со временем картина изменилась. Надежда Александровна Тэффи написала фельетон в форме дневника. Первый этап кончался заключительной строчкой: «Приемы нас съедают». Второй этап: «Оркестр нас съедает». «Гости нас съедают». И финал: «Метро нас съедает». Конечно, цитирую вольно. О встрече с этой чудной женщиной скажу позже.

Тогда, когда Василевский — Не-Буква — задумал газету, деньги у богатых эмигрантов еще водились и многие внесли пай на ее издание.

В различное время, в разных местах мы встречали, не будучи знакомы, писателей-эмигрантов: Зинаиду Гипшиус, миловидную, но с невыразительной внешностью, которая с позиции моих 20 лет казалась мне пожилой женщиной. Она была всегда в сопровождении невысокого, интеллигентного, болезненного вида человека — своего мужа писателя Дмитрия Мережковского,

произведения которого некогда кружили голову молодежи.

Мелькало строгое характерное лицо Ивана Алексеевича Бунина. Тогда он носил бородку и походил на кардинала-мушкетера Арамиса.

Острая взаимная неприязнь Бунина и Василевского основана на одном печальном недоразумении. Некто, приехавший из Советского Союза, рассказал, что суп в столовых там подают «с пальцами», имея в виду неопрятность, когда в слишком полные тарелки подающий окунает пальцы. И. А. Бунин понял эту неудачную формулировку буквально: что в Советском Союзе дают «суп с человеческими пальцами», и разразился в белой прессе статьей, где ужасался и клял жестокость большевиков. Василевский высмеял Бунина в газете и вернулся к этой теме еще раз в своей книге «Белые мемуары» (Изд-во «Петроград», Петроград—Москва, 1923): «...Ив. Бунин также совершенно серьезно еще задолго до дней голода стал обсуждать вопрос о том, входит ли «суп из человеческих пальцев» в обычное меню в Советской России».

Вспоминаю писателя Алексея Ремизова—сгорбленный «чертушечка». Волосы бобриком, бритый, курносый, хитрые глазки. Рассказывали, что у него попереки комнаты натянута веревка, на которую он вешает разнообразных самодельных чертиков. Что это? Озорство? Домовые? Добрые духи?

Нельзя было не запомнить бледное, аскетическое, как бы отрешенное от всех земных интересов лицо писателя Михаила Алданова-Ландау, автора нашумевших произведений «Святая Елена, маленький остров» и позже романа «Девятое Термидора».

Самым непримиримым в тот парижский период был поэт Саша Черный (Гликман). Не случайно Корней Чуковский пишет в своей книге «Современники»: «Вообще Саша Черный умел мастерски ненавидеть».

«Никогда я не забуду, никогда я не прощу»,—такие слова обратился поэт к Советской России. Конечно, эмигрантские невзгоды и ностальгия постепенно смягчили его непримиримую позицию.

Я вспоминаю его очаровательное стихотворение из детского цикла: Николай-чудотворец рассказывает окружающим его ангелам о том, как живут дети на земле, как они ловят рыбу.

Ангелята спросили: «За хвостик?»

— За хвостик!

Ангелята вздохнули:

— Хорошо быть детьми!

Поэт слыл замкнутым, нелюдимым, застенчивым. О нем говорили коллеги: «Саша Черный так оживился, что даже поднял глаза...»

В то же время на нашем горизонте появился журналист Владимир Рындзюн, написавший несколько вещей публицистического направления под псевдонимом «Ветлугин». Помню его статью о формировании Красной Армии. Личность Ветлугина — такая же непроницаемо-равнодушная, как и его голубые, пустые ледяные глаза, выражение которых вполне соответствует его циничному отношению к миру, подчеркнутому еще бравадой.

Он бывал у нас довольно часто, пока выходила газета, и я имела возможность наблюдать его.

Мы поселились в доме рядом с Агой, в уютной трехкомнатной квартире, в районе Пасси, вблизи метро того же названия, на берегу Сены, на другой стороне которой вырисовывался силуэт Эйфелевой башни. Наш большой и красивый дом стоял в низине, а по кручам, с улицы Пасси, в старину, весной низвергались воды.

Мне очень хочется описать нашу квартиру: лучшей у меня не было. Гостиная и столовая разделены (или объединены, смотря по желанию) раздвижной стеклянной стенкой. Большие окна выходят на все ту же Rue des Eaux. Комнаты метров по двадцать. Обстановка, я бы сказала, стандартная. В Париже только очень богатые люди могли позволить себе снять квартиру без мебели, намереваясь обставить ее по своему вкусу. Обычно квартиру меблирует домовладелец и вместе с квартирной платой получает за амортизацию обстановки.

Третья комната — спальня: широченная кровать «на три куверта», по выражению все той же Тэффи. Нет центрального отопления, только камин. Гардероб. Тумбочка, два кресла. Все постельное белье, одеяла, édgedon (пуховичок, в который нельзя закутаться, но уютно им прикрыться) тоже полагается, как и посуда, — столовые и чайные сервизы, наборы рюмок, бокалов и пр. Когда «братья-писатели» на вечере разбили блюдо и несколько бокалов, я заменила их, но не в тон, за что консьерж — «око недреманное» — сделал мне выговор: надо было заявить ему, а он уже в курсе дела, где и что приобретается. Консьерж, месье Дио, так и просится, чтобы его описали. Высокий, бравый (уверена — из полицейских), русые прилизанные волосы, чуть вьющиеся на концах, крошечные усики и очень внимательные глаза. Вообще что-то от фата конца XIX века. Жена — внешне вполне интеллигентная женщина. Брак

производит впечатление типичного мезальянса. У них маленькая дочка — всегда нарядная куколка.

Немало чудес навидался месье Дио, сдав квартиру русским. Одни ночные посещения Бальмонта чего стоят! (О них — позже.)

Первый визит к нам в новую квартиру был из соседнего мясного магазина. Явился очень вежливый молодой человек и оставил визитную карточку с телефоном, где было сказано, что месье такой-то, владелец магазина, с удовольствием пойдет навстречу нашим пожеланиям: «*Vous n'avez que sonner!*» «Только позвоните — и мы доставим покупку вам на дом». О, прелесть сервиса! О, прелесть умения уважать чужое время и чужие желания!

Стоило только выйти из дома, повернуть налево, взобраться по лестнице, которую называют бальзаковской, и вы попадете прямо к его дому, на улицу Пасси. Был до войны 1914 года здесь музей, но после войны из-за финансовых затруднений он был закрыт. Каждый день я прохожу мимо этого особняка и, сокращая путь, сбегая по лестнице прямо к своему дому. Вряд ли по ней ступали ноги Бальзака: слишком она крута, а писатель, как известно, был очень тучен.

Мы живем в тихом Пасси. А где-то за окном, далеко, шумит Париж. Перемигиваются огни световых реклам. С высоких домов улыбается кудрявый мальчик, предлагающий мыло «Кадюм». Парижане говорят, что моделью послужил маленький сын Айседоры Дункан, трагически погибший в автомобильной катастрофе (двое детей ее и гувернантка упали в машине с моста в Сену).

Где-то на громадном плакате женщина с распущенными волосами в ужасе отпрянула от мастерски нарисованной гусиной лапы, норовящей ударить ее под самый глаз. «Избегайте морщин! Употребляйте крем...»

Несутся автомобили, шурша шинами, оставляя на влажном после дождя асфальте следы елочек...

Парижские «Свободные мысли»... Вот первые сотрудники: сам Василевский — Не-Буква, Н. А. Тэффи, Дон-Аминадо (Аминад Петрович Шполянский), Миркин-Гецевич. Печатались А. И. Куприн, А. Н. Толстой, поэт Николай Минский, художник МАД (Михаил Александрович Дризо). Прислал свои стихи Игорь Северянин, немало удивив Василевского обращением в письме: «Светлый Илья Маркович».

Стоит остановиться на отзыве И. А. Бунина о творчестве поэта Дона-Аминадо. Бунин не скупился на похвалы. Он называет Дона-Аминадо «одним из самых

выдающихся русских юмористов, строки которых дают художественное наслаждение».

В устах такого взыскательного художника, как Бунин, строки эти все же звучат сильно преувеличенным панегириком. В парижские годы (1920—1921), когда Дон-Аминадо сотрудничал в «Последних новостях» Милюкова, в «Свободных мыслях» Василевского-Не-Буквы и в детском журнале «Зеленая палочка», все считали его способным, бойким, остроумным фельетонистом и изящным поэтом малых форм, но никому и в голову бы не пришло говорить, что творчество его дает «художественное наслаждение». К сожалению, теперь мы уже никогда не узнаем, что в произведениях Дона-Аминадо так пленило Бунина.

В памяти всплыли строки из стихотворения Дона-Аминадо:

И ты, которая, бывало,
В мехах московских утопала,
И так бывала хороша...

Помню, как за глаза Василевский критиковал выражение «московские меха». «Что это за меха такие?» — говорил он.

Как-то я услышала (насколько помню, от Миркина-Гецевича), что в Musée de la guerre (музей войны) сидит француз, который долго жил в Петербурге и будто бы знает русский язык. Мельком была названа и его фамилия: Лера. Я так и встрепенулась. В последних классах французский преподавал у нас Лера. Не он ли? Или это совпадение фамилий?

Я подговорила Василевского пойти со мной.

В уютном особнячке расположился музей. Когда я вошла и увидела знакомые усы, я просто бросилась к столу с криком: «Вы узнаете меня, месье Лера?» Он по-прежнему не знал ни слова по-русски или, во всяком случае, если знал, то хорошо скрывал это.

Из всех экспонатов музея, которые добросовестно и тщательно показывал нам Лера, я запомнила только скульптуру-карикатуру, изображавшую тигра с головой Клемансо («Тигр» — было его прозвище).

Как в туманеплыли передо мной школьные воспоминания. Чего только не было за восемь лет, проведенных в интернате,— свои радости, свои печали...

Однажды петербургский журналист Морской, старый знакомый Василевского, повел нас на бульвар Монпарнас, в знаменитое, много раз описанное кафе «Ротонда». Было много народа, накурено, шумно. Морской познакомил нас с двумя художниками. Среди

столиков мелькала худощавая фигура большеротой некрасивой мулатки в ярко-зеленой чалме.

— Это знаменитая натурщица Айша,— сказали мне.

Конечно, если бы мы бывали здесь часто, мы вжились бы в эту атмосферу, впитали неповторимый дух «Ротонды», давшей Европе многих знаменитых художников-авангардистов, таких, например, как Модильяни.

Но мы были здесь один лишь раз: пришли и ушли...

* * *

Ах, Россия, Россия, суровая мать! Как многих отринула ты только потому, что не умели они стричься под одну гребенку...

Как-то, часов в пять утра (уже было светло), раздался звонок. Я открыла дверь. Звонил испуганный консьерж, месье Дио, стыдливо прикрывая шею без галстука, а за ним стоял невысокий, длинноволосый, с бородкой в рыжину человек в черной шляпе с преувеличенно большими полями, которые теперь никто, кроме старых поэтов Латинского квартала, уже не носил. Но я узнала его сразу, хотя видела в первый раз. Передо мной стоял Бальмонт. Василевский знал его раньше. Мы сели в столовой. Я сварила крепкого кофе.

Бальмонт читал свои стихи (нараспев, монотонно, слегка в нос). Я, порядочная обезьяна, не взялась бы его копировать.

Часа через полтора, когда Париж уж окончательно проснулся, мы с Василевским проводили его до ближайшего метро.

Прошло несколько дней. И опять та же картина. Ранний звонок. Я пошла открыть. Месье Дио сухо сказал:

— On désire vous voir (это «он» было не совсем вежливо). Бальмонт вошел со словами:

— Я был на пышном вечере... Но мне стало скучно и захотелось пожать руки хорошим людям. Я пришел к вам...

Ну, можно ли было после этого на него сердиться? Опять сидели в столовой. Опять пили черный кофе. Василевский извинился, сказал, что неважно себя чувствует, и пошел досыпать.

Бальмонт читал стихи сначала наизусть, потом вынул записную книжку и сказал:

— Сейчас я вам прочту еще одни гениальные стихи.

Я подумала, он шутит, и приготовилась засмеяться. Но не тут-то было: он был вполне серьезен. Мало этого: торжественно серьезен...

По розовому от утреннего солнца Парижу провожала его одна я.

Дома меня ждал «разбор маневров». Утихомирить Пуму (не зря же он так прозывался!) было совсем не простое дело, но я умоляла, если опять появится Бальмонт, чтобы Василевский не выказывал своего недовольства.

К счастью, в следующий раз Бальмонт пришел не на заре, а днем. Василевского дома не было. Мы сидели в гостиной у широкого окна, и Константин Дмитриевич стал мне рассказывать о своем романе с некой Машенькой, не называя ее фамилии, но я совершенно случайно знала об этом и даже видела у моих родственников карточку всего семейства. Особенно хорошенькой казалась мне Машенька. Я сказала, что встретила ее у тех же родственников, когда она, выйдя замуж, в сопровождении мужа приехала к ним с визитом. Она уже не казалась мне такой хорошенькой: передо мной сидела совершенно потухшая женщина.

Мои слова, видно, вызвали сладостные воспоминания у Бальмонта. Он рассказал: вот они на даче под Москвой. Сидят тесной компанией на террасе. Пришла Маша.

— Она была прелестна, юная, в венке из васильков,— говорит он.— Косые лучи солнца падали на венок, и васильки казались красновато-лиловыми. Вы замечали, что васильки меняют свой цвет в зависимости от освещения? Она спросила, чем мы заняты. Я объяснил: надо написать стихотворение, чтобы все слова начинались на одну букву «с». Она чуть помедлила и сказала: «Славьте слепую страсть...» Позже я написал стихи, которые начинались этой строкой.

Он говорил и помолодел. Некрасивый, он похоршел. Думаю, что романов было отпущено ему судьбой видимо-невидимо, но этот был особенный, незабываемый...

Много черных слов слышала я в адрес Бальмонта: и эгоист, и плохой патриот, и пр., а ведь поэт-то он был настоящий!

...Колодец. Ведерко звенит...
А яркий рубин сарафана
Призывнее всех пирамид...

Он написал эти поэтические строки еще до революции, когда ездил в Египет. Их ведь не напишешь, не любя своей страны.

Насколько я помню, в первый свой приход к нам он нелестно говорил о Брюсове, который старался воспрепятствовать его отъезду. Может быть, и лучше было бы для Бальмонта остаться в России. Хотя дело тонкое...

Редакционные дела газеты мы вели тут же, в своей квартире на Rue des Eaux. Помню, приходил А. Н. Толстой. Ему нравилось прозвище Василевского — «Пума». Он смеялся своим характерным смехом, как-то особенно открывая рот. Встречались мы и с его женой, поэтессой Натальей Васильевной Крандиевской. Они с Алексеем Николаевичем производили впечатление удивительно спаянной пары. Казалось, что у них одно общее кровообращение. Я встречала их и позже, в Берлине. Впечатление какой-то необыкновенной семейной слаженности и спаянности оставалось прежним. Наталья Васильевна была хорошим поэтом. Когда я видела эту сугубо семейную пару (в самом лучшем смысле этого слова), как-то не могла представить себе, что строки

И сумасшедшая луна
В глазах твоих отражена

написаны ею и посвящены ему.

В журнале «Нева» (№ 1, 1971 г.) в воспоминаниях Дмитрия Толстого, сына писателя, приведены стихи его матери Н. В. Крандиевской, которые кажутся мне просто великолепными:

Взлетая на простор покатый,
На дюн песчаную дугу,
Рвал ветер вереск лиловатый
На океанском берегу.

Мы слушали, как гул и грохот
Неудержимо нарастал,
Океанид подводный хохот
Нам разговаривать мешал.

И чтобы так или иначе
О самом главном досказать,
Пришлось мне на песке горячем
Одно лишь слово написать.

И пусть его волной и пеной
Через минуту смысл прилив,—
Оно осталось неизменно,
На лаве памяти застыв.

«Так она писала о своей любви после того, как разошлась с отцом», — говорит сын, Дмитрий Толстой.

Посетила нас и певица Мария Кузнецова-Бенуа с тенором Петербургского Мариинского театра Позем-

ковским. Я его прекрасно помнила в опере Даргомыжского «Каменный гость». Он внешне был хорош и хорошо пел партию Дон Жуана (постановка Мейерхоolda, декорации Головина — если память меня не подводит). Особенного дела у обоих артистов не было. Они пришли в редакцию «Свободных мыслей» просто познакомиться...

Немного о русских артистах тех лет. В театре «Трокадеро» (совсем близко от нашего дома; сейчас там дворец Шайо) выступала Анна Павлова со своим партнером Вольным. Особенно незабываемо хороша была она в «Грустном вальсе» Сибелиуса. В «Трокадеро» гастролировала и другая русская танцовщица — Наташа Труханова (Наталья Владимировна, по мужу — графиня Игнатьева).

В театре на Елисейских полях играла труппа Балиева «Летучая мышь». Его любила и ценила французская публика. Помню на генеральных репетициях в первом ряду рыжеволосую белотелую полную женщину в черных перчатках. Однажды со сцены ее приветствовал Балиев, воздавая хвалу ее таланту. Это знаменитая исполнительница песенок Иветта Гильбер, начавшая свою карьеру, как многие и многие во Франции, с уличной певички. В 1921 году ей было 54 года, но выглядела она очень молодо.

В нашем Музее изобразительных искусств им. Пушкина, в зале французских импрессионистов, висит плакат Тулуз-Лотрека. На нем Иветта Гильбер еще совсем молодая, худая, костистая, в своих «неснимаемых» черных перчатках, которые сразу бросаются в глаза.

Вспоминаю морского офицера, очень интересного, темноглазого. Волосы его и борода тронуты проседью «sel et poivre» — «соль с перцем», по образному выражению французов. Он пришел с эффектной женщиной, знакомой старой петербургской публике, — с артисткой французского Михайловского театра Роджерс. Я сидела сзади морского офицера (это был Клод Фаррер) и буравила взглядом затылок знаменитого писателя, произведения которого переводили на все европейские языки мира. Только ли на европейские? А турецкий? А японский?

Некоторые остроты Балиева шли под аплодисменты. Кто-кто, а уж французы-то знают толк в остроумии!

Открывается занавес. На сцене сидит русский парень с гармошкой. Выходит Балиев (он обычно сам объявляет номера) и обращается к публике:

— Еще давно Наполеон сказал «*Grattez le Russe et vous trouverez un Tartare*» — «Поскребите русского, и вы найдете татарина». В одно мгновение парень с гармошкой исчезает, а на его месте возникает татарин с бубном, и начинается бешеный ритм полонецких плясок из «Князя Игоря».

Смех. Аплодисменты. Крики «браво!».

Помню некоторые номера, с неизменным успехом переходящие из программы в программу, например, цыганское пение, до которого французы очень падки. Кутят гусары, жгут женку. Вокруг цыганки и цыгане с гитарами. И песни, песни... Тут и «Топот иноходца», васьльки—глаза твои, а домой не хотца», и «Две гитары за стеной...».

Таким же успехом пользовалась старинная «Полечка». Родители—толстая купчиха-мамаша и такой же толстый папаша—спрашивали у своей разодетой, задорной дочери:

— Что танцуешь, Катенька?

— Польку, польку, маменька...

Номер всегда бисировали.

Помню, в той же «Летучей мыши» давали чеховскую «Хирургию». Дьячка играл артист Колин. Французы вообще очень эмоциональны. Боже! Как корчилась от сострадания и возмущения молодая женщина, сидящая в партере. Она восклицала: «*Assez! Assez!*» Довольно!

В том же театре на Елисейских полях давал свои спектакли Дягилев. «Петрушка» Стравинского, выступления Анны Павловой—для парижан это был вчерашний день. Надо было придумать что-нибудь новенькое. И Дягилев придумал. Поехал в Испанию и привез подлинных народных танцоров. Несколько красавиц, особенно одну, ослепительную. Одну пожилую, необыкновенно выразительную в танце. Она выходила в широкополой шляпе, потом останавливалась, снимала ее и пускала круговым движением через всю сцену. Было это так шикарно, так задорно, так простонародно, что публика разражалась аплодисментами. Затем танцевал испанскую чечетку припудренный красавец испанец с ампутированными до колена ногами. Он отбивал ритм привязанными к обрубкам дощечками и делал это виртуозно. На мой вкус это был номер не для труппы Дягилева, а для ярмарки... Выступление испанцев имело успех.

Понемногу я влюбляюсь в Париж. Это колдовской

город. Он ничего не делает насильно. У него умная снисходительность, и потому все получается само собой, как у людей, которые ничего не делают напоказ. Их любят, их слушаются, за ними идут. В этом разгадка того, что здесь почти сразу чувствуешь себя легко и свободно. Даже Эренбург, сухой, холодный, никого не любящий, оттаивает, когда говорит о Париже:

Иль, может, я в бреду ночном,
Когда смолкает все кругом,
Сквозь сон, сквозь чащу мутных лет,
Сквозь ночь, которой гуще нет,
Сквозь снег, сквозь смерть, сквозь эту тишь
Бреду туда—все в тот Париж?

В своей любви к Франции он настоящий, неподдельный...

А чего стоит постоянная готовность французов посмеяться и сострить? Как-то я ехала домой, а по дороге подхватила брошенного у нежилого забора котенка. Завернула его в отлетающую от платья фалду (так было модно), только мордочка торчала. Когда я вошла в вагон метро, сейчас же какой-то француз встал и сказал, уступая место, на полном серьезе: «Puisque, madame, vous êtes avec un bébé, prenez place»¹.

Вокруг все приветливо заулыбались. Я расцвела. Да здравствует великий дар улыбки!

Семейство Аги — наши соседи, но никто из них у нас не бывает. Только по утрам посылают своего малолетнего сына Данилку к нам (вероятно, чтобы не мешался при уборке квартиры).

Звонок. Когда я спрашиваю, кто там, детский голосок отвечает: «C'est moi, Daniel Aga»². Илья Маркович сердится. Он считает, что это бесцеремонно. Ребенок что-то мило лепечет по-французски. Я стараюсь его занять...

* * *

К сожалению, я не могу сказать сейчас, сколько вышло номеров парижских «Свободных мыслей». Конечно, рассчитывать на длительное существование газеты не приходится. Есть уже одна постоянная «Последние новости» Павла Николаевича Милюкова, обслуживающая русских эмигрантов. Но вот что я вспоминаю с

¹ Поскольку, мадам, вы с ребенком, присядьте (фр.).

² Это я, Даниэль Ага (фр.).

удовольствием. В Париже существует *maison Hachette*, учреждение, объединяющее громадное количество различных журналов, газет, вообще печатных изданий и распространяющее их не только во Франции, но и по всему миру. Тираж наших скромных «Свободных мыслей» тоже был сдан Дому Ашетт. Когда я наводила справку по просьбе Василевского, будет ли вовремя доставлена газета в определенный пункт, надо было слышать, как разговаривал управляющий: «Вы можете крепко спать и не беспокоиться»,—сказал он любезно. А ведь наша газета—это капля в море, песчинка в круговороте миллионного оборота Дома Ашетт. Вот что значит культурность и результат ее—умение общаться с людьми...

Посетил нас «знаменитый» Орест Григорьевич Зелюк, буквально раздевший Василевского в Константинополе. Он привез великолепную цветущую азалию. Я не хотела выходить, но Пума просил, сердился, настаивал. Пришлось сдаться.

Как ни мило устроились мы в своем «ни д'уазо»—«гнездышке» (опять Тэффи!), а все же надо было подумать об оформлении: во Францию мы попали без въездных виз, а каждый, живущий в Париже, должен иметь удостоверение личности—*carte d'identité*. Где Василевский раздобыл Нотовича (редактора петербургской газеты «Новости»), не знаю, но мы заехали за ним, познакомились с его женой. Сам О. К. Нотович (постоянная мишень для издевки нововременца Буренина) выглядел очень импозантно: высокий, худощавый, в прекрасно сшитом черном пальто, в котелке, который надо уметь носить, чтобы не показаться смешным. Бородка тщательно расчесана. Поблескивает пенсне. Ни дать ни взять—герой иллюстрированного романа начала XX века, выходящий из собственной кареты. Вот он-то и повез нас в префектуру, прямо к определенному столу, прямо с определенной мздой (видно, не в первый раз). Так все было улажено. Больше Нотовича я никогда не видела...

Хочу вспомнить об одном вечере. Собственно, если бы не присутствие Александра Ивановича Куприна, то и вспоминать было бы нечего. Мы устроили ужин. Консьерж, месье Дио, взбил височки, надел белые перчатки и прислуживал за столом. Василевскому, по-моему, это импонировало, а меня стесняло и казалось смешным. Были Миркин с женой, Дон-Аминадо, А. И. Куприн и мы с Пумой. Были и еще гости, но кто, не припомню. (Художник Ре-Ми в это время был уже в Америке, и когда кто-то, приехавший туда,

спросил, не надо ли передать что-либо бывшим друзьям в Париже, он ответил: «Европа меня не интересует».)

Я жадно смотрела на Куприна, на милое лицо пожилого татарина, навеки милое лицо. Пока он не выпил, он все говорил «японочка», обращаясь к жене Миркина, а мне все повторял: «Вам надо сниматься в кино». Александр Иванович ошибался: я совсем не фотогенична и для кино никогда не годилась. Потом он выпил рюмку и осоловел. Миркин сразу же увез его домой.

Я очень жалею, что книга о Франции не была у нас, в СССР, издана и попала мне в руки на очень короткий срок. Все же кое-что я успела переписать. Мне понравилась короткая новелла о фиакре, пропетая (на французский манер) со сцены в кабаре Латинского квартала: «И ты, незабвенный фиакр! Наши старые дедушки и наши пожилые отцы лукаво улыбаются при твоём имени. Прошло более ста лет, а твой кучер до сих пор неизменен. Тот же низкий цилиндр у него на голове, тот же красный жилет, тот же длинный бич в руке, тот же красный нос и то же непоколебимое кучерское достоинство. И лошадь твоя — Кокотт или Титин — по-прежнему тоща, длинна и ребриста и разбита на ноги и по-прежнему имеет склонность заворачивать к знаковым кабачкам. Но уже нет у дверец твоей кареты внутренних темных занавесок, которые когда-то, спеша, задергивала нетерпеливая, дрожащая рука... Патриархальный добрый фиакр! Ты занимал много славных страниц в прекрасных книгах Бальзака, Додэ, Мопассана, Золя. Тебя хорошо знали проказники Поль де Кока и влюбленные, веселые студенты Мюрже. Ни один уголовный роман не обходился без тебя. И сколько раз твой старый кучер давал свидетельские показания на бракоразводных процессах...

...Так или приблизительно так пел гривастый человек в рыжем бархате. На глазах у моих соседок-старушек я видел слезы, которые они и не трудились вытирать. Певцу много, но чинно аплодировали...»

Хотя в 20—21 годах в Париже уже бегали разноцветные такси «рено», фиакры еще кое-где «водились». На улицах встречаются лошади в соломенных шляпах. На мой неискушенный вкус это вносит в колорит города какую-то карнавальную ноту. Я имею в виду доживающих свой век фиакров и тяжеловозов, стекающихся из предместий с различным грузом. Ночью, когда относительно замирает уличное движение, фуры, запряженные мощными першеронами и арденами, сущими «кентаврами», нагруженные овощами (если это

редис, то он уложен правильными рядами—белый к белому, красный—к красному), двигаются к Центральному рынку...

* * *

Я присутствую при тихой смерти нашей газеты. Она умирает не потому, что плоха, а потому что иссяк приток средств, нужных для всякого нового дела, а их нет («метро нас съедает»). Василевский нервничает, плохо спит, много курит. Хорошо еще, что не наделал долгов (франгузы этого смерть не любят), и можно честно отступить.

Прощай, лестница Бальзака и наша милая квартира. Временно мы переехали в гарсоньерку, в подъезд рядом. Но что-то душа не лежит к этой гарсоньерке, тем более что Василевский получил предложение от газеты Милюкова «Последние новости» быть у них выпускающим и писать при случае фельетоны и статьи. Говорю «при случае», так как этот пункт—насколько я помню—в условиях оговорен не был.

Итак, из аристократического Пасси—в бедный 13-й район, близ метро «Итали». Василевскому предстоит работать в типографии. Она здесь же, недалеко от музея-мастерских этого прославленного на всю Европу вида искусства.

Во дворе музея стоит бронзовый памятник одному из братьев Гобелен, красильщику из Реймса, основателю в XV веке этого невиданного искусства.

Я была в мастерских. Там по сию пору сидят художники-ткачи. Отгороженные от публики барьерчиком, они ткут вручную громадные полотна, меняя десятки тысяч оттенков шерсти и шелка, неприметных для непосвященного глаза. Я даже помню сюжет одного из панно: сказочный разбойник-людоед гонится за мальчиком с пальчик. А под ногами у них расстилаются луга, усыпанные цветами, и выютя реки...

Мы сняли комнату в отеле. Она светлая, на третьем этаже. Сама не знаю, как пришла мне в голову мысль изучить линотип, а возможно, меня кто-то надоумил. Может быть, и сам владелец типографии, землисто-бледный пожилой человек, с черной бородкой и неестественно блестящими, с легкой безуминкой глазами. Он гордится своими связями с революционерами, проклинает буржуа, поносит их и призывает на их головы всякие кары, а сам целиком зависит от них. Сколько раз спасали они его от разорения, когда типография должна была вот-вот пойти с торгов за долги.

— Я бы им все пальчики повыдергал,— восклицает он и бледнеет еще больше...

Его правая рука — француженка Анриетт (Риретт) Кибальчич — была замужем за родственником известного революционера Кибальчича (тоже революционером. Она сама мне рассказывала, как их венчали в тюрьме.).

Типография большая и запущенная. В центральном помещении, где стоит плоская машина, работают клишеры, верстается газета, весь угол завален макулатурой, в которой копошатся крысы. Когда муниципалитет объявил пять су (25 сантимов) за доставленную живьем крысу, наборщики всем предлагали легкий способ разбогатеть.

Сначала я работала ученицей, но быстро освоилась с этой умной машиной и уж не уступала нашим линотипистам, плюс давала чистый набор, без переливок... Было приятно держать в ладонях впервые самостоятельно отлитую горячую строку.

В нашей линотипной три машины: две с русской кассой, одна — с французской. За французской сидит возлюбленный Риретт, Жорж — мужчина на десять лет моложе ее. За эту же машину садится месье Денен, получивший первую премию по Парижу за самый быстрый линотипный набор. Он виртуоз своего дела. Маленький, изящный, с фигурой жокея, он входит в мягкой шляпе, здороваётся, говорит «бонжур, месье'дам» и отбывает... Я смотрела на него как на спектакль и как-то даже забывала позавидовать.

У меня было два сменщика — оба офицеры. Один — с простреленным легким, общительный и красивый человек, а другой — настолько замкнуто молчаливый, что где-то замкнутость его уже переходила в невежливость. Но к нему никто и не привязывался с расспросами. Корректором был тоже офицер Бочкарев. Когда я сдавала набор без ошибок, он напевал мне: «Ты одно у меня утешенье».

Было еще три типографских рабочих: Володя, бывший артиллерист, выпустивший снаряд, который убил генерала Корнилова (так говорили его товарищи), Голов, женившийся на француженке и увезший ее в СССР, и франт Гуревич (на военного совсем не похожий). Появился еще один русский наборщик. Ему пришлось набирать корреспонденцию о жизни интернированных войск генерала Кутепова на полуострове Галлиполи. И он закончил свою работу патетическим восклицанием: «Советская власть отомстит за вас, страдальцы!» Корректор эту фразу выкинул, а набор-

щик, видно, рассчитывал, что она проскочит в газету, что было бы весьма пикантно для «Последних новостей» П. Н. Милюкова.

Было среди нас еще два француза. Оба клишеры: отец — прихрамывающий здоровяк, по прозвищу Пеперо, и сын его, тщедушный Леон. Они оба жили за городом и, чтобы сэкономить, вместо автобуса часть пути шли пешком (несмотря на хромоту отца).

В перерыв в ночную смену мои товарищи по работе говорили вопросительно: «Et bien, on fait la bombe?» — «Покутим?» И все бежали в ближайшее ночное бистро и там наспех выпивали что-нибудь подкрепляющее: грог, глинтвейн, коктейль...

Здесь, пожалуй, уместно упомянуть о той большой роли, которую играют кафе и бистро в жизни парижан. Как правило, французы в гости к себе запросто не зовут — все встречи происходят в кафе. Здесь же решаются различные дела. Сюда же забегают выпить аперитив перед едой. Очень популярен напиток «Дюбонне». Эта фирма для рекламы взяла на откуп стены метро. Когда едешь под землей, так и мелькает надпись: «Dubonnet, Dubonnet». Кстати, о метро: наземных станций нет — они расположены под домами. Существует общегородской метрополитен и более глубокая и более поздняя по конструкции линия, пересекающая Париж с севера на юг, — Nord-Sud.

Перед выпуском очередного номера появлялся Павел Николаевич Милюков — подтянутый, в благостных седилах, в длинном черном пальто, в котелке, с зонтиком в черном шелковом чехле. За ним как тень следовал Петр Рысс, тоже кадет и сотрудник петербургской газеты «Речь». Милюков с ним очень считался. Не будет преувеличением, если скажу, — находился под его влиянием.

Насколько мне нравился Павел Николаевич, настолько не нравился Рысс. Вот про него можно сказать — минимум обаяния. Одни холодные змеиные глаза чего стоят! Как со всяким интеллигентным и хорошо воспитанным человеком, с Павлом Николаевичем было легко общаться. Не надо забывать, что, кроме приклеенных к Милюкову навечно Дарданелл, обладал он еще большим багажом эрудита и историка. Вообще я пришла к заключению, что у каждого политического деятеля есть свое уязвимое место, свои «Дарданеллы»...

Как-то он пригласил Надежду Александровну Тэффи, меня, Пуму, Рысса с женой в скромный ресторан — уж не помню, по какому поводу, а может быть, и без всякого повода. Вот тогда-то за столом (мы сидели

рядом) Тэффи и научила меня, как надо выступать с речью, если уж очень допекут. Надо встать, скомкать носовой платок, поднести его к глазам (подразумевается — полным слез) и сказать: «Слезы умиления мешают мне говорить». «Успех обеспечен», — добавила она.

Выпив, что полагалось, поблагодарив Павла Николаевича, мы пошли с Надеждой Александровной Тэффи побродить по весеннему неповторимому Парижу. На мне была «задорная» голубая шляпа, и настроение было вполне гармонирующее с ней.

Зацветали каштаны. Уже давно выехали на улицы цветочницы со своими тележками. Уже давно из Ниццы прислали мимозу и фиалки.

Обе мы — Надежда Александровна и я — влюблены в Париж. Это, конечно, усиливает еще нашу взаимную симпатию.

Мы дошли до «Пантеона». Полюбовались статуей «Мыслителя» Родена и, не спеша, радуясь, что тепло и красиво вокруг, прошли напротив, в Люксембургский сад, щедро украшенный цветами. Во дворец мы не заходили (он построен в XVII веке для французской королевы Марии Медичи. Сейчас там картинная галерея), а прошли в укромный уголок, к фонтану Медичи — месту встреч влюбленных.

Потом на автобусе мы проехали мимо острова Сите (во времена Цезаря — Лютеция. Начало начал: отсюда образовался Париж, в V веке уже ставший столицей Франкского государства).

На острове Сите красуется шедевр средневековья — Нотр-Дам. Мне очень понравилось, что первоначально здесь стоял языческий храм, затем меровинговский собор, а затем Нотр-Дам. Вот уж подлинно, «свято место пусто не бывает»...

Мы доехали до Елисейских полей и пошли пешком. Шли и не могли насытиться... Потом Тэффи предложила зайти не то в «Мажестик», не то в «Крильон», сказав, что там идет какое-то кадетское собрание. Мы спустились в подвал, приспособленный под зал для конференций. Никаких пропусков у нас не спросили. Мы тихо вошли и сели. Народу было немного. Выступал Владимир Набоков — кадетский лидер.

— Красивый человек, — сказали мы в один голос.

Этот красивый человек и погиб благородно, закрыв своим телом Милюкова от выстрела убийцы. В Милюкова стрелял монархист Шабельский-Борк. Но это случится позже.

Мы расстались с Надеждой Александровной вечером, усталые, но довольные друг другом.

Мне нравилось все в этой женщине: ее ненавязчивые остроты, отсутствие показного и наигранного, что — увы! — встречается нередко у профессиональных юмористов.

Как-то Тэффи оставили ночевать у знакомых, но положили в комнату без занавесок, а постель устроили на слишком коротком диване. Когда наутро ее спросили: «Как вы спали, Надежда Александровна?», она ответила: «Благодарю вас. Коротко и ясно...» Ну разве не прелесть?

А вот заключительное четверостишие одного ее стихотворения, написанного в эмиграции, запомнилось мне на всю жизнь:

Плачьте, люди, плачьте,
Не тая печали...
Сизые голуби
Над Кремлем летали...

Чувствуется в этих строках неизбывная тоска. Может быть, так причитали еще при царе Алексее Михайловиче...

Увидела Тэффи я еще раз, передавая ей пакет по поручению редакции. Но она была не одна. Около нее в роли Аргуса находилась талантливая характерная балерина Федорова 2-я, впоследствии сошедшая с ума. Беседа как-то не получилась. Позже Надежда Александровна прислала мне привет через Василевского, присоединив к нему очень лестный для меня эпитет...

Париж всегда чем-нибудь взволнован, и волнуется он как-то залпом. Все умы были заняты борьбой лорда-мэра города Корка за права и свободу Ирландии. Печатались его портреты, потом стали следить за состоянием его здоровья: он объявил в тюрьме голодовку и долго, мужественно и мучительно стал угасать.

И вот прошло пятьдесят лет — идет 1971 год — и та же Ирландия бурлит. Она все еще борется за свои права и свободу. За что же тогда умирал голодной смертью красивый и мужественный человек?

Помнится мне, как в это раннее лето 1921 года Париж волновался по поводу предстоящего знаменитого боксерского матча: встречается француз Жорж Карпантье и американец Демпси. Французы не поскупились на рекламу: над Парижем летает цеппелин «Голиаф» и сбрасывает листовки. Матч состоится в Америке, но во Франции постепенно накаляется атмосфера. В кинохронике показывают, как тренируется Демпси, здоровенный американский парень. Показывают и элегантного Карпантье.

Но вот пробил час матча. Демпси исколотил француза как хотел. К тому же Карпантье во время боя сломал мизинец. Весь ход этого матча мы смотрели в кино. Огорчение французов не поддается описанию, когда они увидели поверженного Жоржа.

Моя прачка, чистенькая старушка, плачет горячими слезами:

— *Pauvre Georges, il est battu*¹,—говорит она, всхлиывая...

Нужно отдать «справедливость» моим любимым французам: уж если кто из них совершает преступление, так это будет «преступление века», которое на шумит на весь мир. Так было с эльзасцем Тропманом, на казни которого присутствовал, а потом описал ее Иван Сергеевич Тургенев. Зрелище гильотинирования было не под силу писателю — он потерял сознание.

Некий Ландрю, «бородатый соблазнитель», как писалось в газетах, скромный чиновник, отец семейства, прогремел своим преступлением на всю Европу. Поражает воображение не только количество жертв (11—13?), но и то, что никто из жертв — ни живой, ни мертвый — найден не был, не было обнаружено никаких прямых улик преступлений, и все же, несмотря на яростное отрицание своей виновности, несмотря на блестящую защиту знаменитого адвоката Моро-Джиафери, Ландрю был гильотинирован.

Что делалось в Париже, пока шел процесс! Спорили, держали пари, строчили статьи, где говорилось, что все жертвы живы, но загнипнотизированы и подчинены воле Ландрю. Полиция писала во все концы страны, агенты ездили по всем адресам, на которые только намекали родственники пропавших.

Дачу Ландрю в Гамбе, под Парижем, куда он возил свои жертвы, землю вокруг, ближайший пруд обшарили, перекопали, просеяли и — ничего! В печке на той же даче, где — предполагалось — преступник мог сжигать трупы, пытались сжечь телянка, но ничего не получилось.

Адвокат Моро-Джиафери опрометчиво говорил:

— Когда Ландрю оправдают, а его оправдают обязательно за недоказанностью преступления, я возьму его к себе в секретари.

Процесс длился долго. О каждой жертве писали отдельно, помещали ее портрет. Здесь были женщины от 18 до 50 лет и двое юношей подростков. Статьи неизменно кончались обращением ко всем с просьбой

¹ Бедный Жорж, его побили (фр.).

сообщить, если что-либо известно о местопребывании данного лица.

Наступил сенсационный день, ожидаемый всем Парижем: на суде должна была выступить женщина, которая в этот же период встречалась с Ландрю (ездил с ним на его дачу), но осталась жива. Сенсации не получилось. Она сказала, что воспоминания о встречах с Ландрю ничем не омрачены, и разрыдалась.

В нашей типографии тоже спорили с пеной у рта. Все перессорились. Даже французы перестали работать (вообще они прекрасные работники вне зависимости от профессии. У них очень развито чувство ответственности за порученное им дело. Я всегда люблюсь четкостью их работы.).

Ссорься не ссорься, а Ландрю унес свою тайну с собой: как уничтожал он такое количество людей, куда он девал их тела и, наконец, чем он, пожилой, некрасивый и небогатый, приобретал такую власть над женщинами?..

Раз речь зашла о казни, попутно можно вспомнить и о палаче. В нашу бытность во Франции палачом Парижа был г. Дейблер (Deybler).

Должность потомственная—его отец тоже был палачом. Вот что рассказали нам французы. «Месье» приезжает на казнь в цилиндре. Рукой в перчатке нажимает он зловещую кнопку гильотины.

Журналистам удалось выведать, что живет он в небольшом особняке в предместье Парижа. Многие стремились получить у него интервью. Подумать только—какая сенсация: интервью с палачом! Но безуспешно...

* * *

14 июля... Когда-то, давным-давно, пала Бастилия, а сейчас парижане танцуют.

На площадях играют муниципальные оркестры. Многие кафе нанимают музыкантов от себя. Так поступил и хозяин нашего «придворного» ресторана месье Марти. Перед его рестораном образовалась довольно большая площадка. Играют вальс, тустеп, уанстеп. Мы выходим с Пумой из нашей гостиницы и останавливаемся. Два морячка в синих беретах с красными помпонами самозабвенно отплясывают уанстеп. На мне легкое голубое платье в мелкую, едва заметную белую полоску, украшенное малюсенькими пуговицами.

Площадка залита светом. Я смотрю. Мне ужасно

хочется потанцевать. Чувствую приблизительно то же, что и Наташа Ростова на балу.

— Ну, посмотрели и будет,—говорит Василевский и поворачивает меня обратно к отелю...—У французов есть чудное слово «*dépaycé*» — не в своей среде, не в своей тарелке, не у себя дома — так расширенно можно объяснить это выражение. Вот Василевский — *dépaycé* в полном смысле этого слова. Может быть, это ностальгия? Чувства и настроения, которые в той или иной форме знакомы нам всем. Но нет, скорей всего — ощущение, что человек делает не то, что он может и хочет делать, превращает его в мизантропа.

Я внимательно поглядываю на Василевского и вижу, что он ходит «сумный» (по украинскому выражению). Конечно, создавать свою газету или «ходить под Рыссом» — большая разница. Но я весела как птица. Работа идет легко. По субботам нам платят, и меня увлекает возможность интересно тратить деньги. Сейчас я поясню свою мысль, чтобы она не походила на дешевый снобизм. Я, рабочая типографии, во-первых, могу купить на мои небольшие деньги *хорошую* вещь. Во-вторых, я могу выбрать из множества предметов то, *что мне нравится* (выбор громадный, на все цены и вкусы). В-третьих, покупка дается мне *легко* и весело, без малейшей натяжки. Любой продавец, если понадобится, охотно даст мне совет.

Вспоминаю, как я пришла в большой магазин купить цветы на соломенную шляпу,—тогда это было модно. Попав в секцию искусственных цветов, я остановилась в нерешительности: глаза разбежались, и сейчас же подошел служащий и спросил:

— *Mademoiselle désire?*¹

Я объяснила, и он повел меня к окну, посмотрел цвет глаз и сказал «серо-голубые» и сам выбрал (я уже не вмешивалась) венок из полевых цветов (в шляпе с этими цветами мой соотечественник Михаил Линский написал мой большой пастельный портрет, который был выставлен в Ницце в целой серии женских портретов)...

На нашей же авеню де Гобелен — ресторан Марти, куда мы ходим обедать, а иногда и ужинать. Сам хозяин, месье Марти, начал работать с мальчиков как подручный при поваре (это он сам мне рассказывал). Сейчас он богатый человек, его дети учатся в лучших лицеях страны. На пальце сияет бриллиант, над рестораном — большая квартира, но он целый день при своем

¹ Мадмуазель желает? (фр.)

деле. Он сам с рассветом едет на Центральный рынок (знаменитое «чрево Парижа» по Золя) и выбирает провизию. Он следит не только за качеством продуктов, вина, порядком, но и за тем, что любят его клиенты. Это же поручено и подавальщицам. Сколько раз подходил он ко мне и говорил: «Сегодня, мадам, ваше любимое блюдо. Я заметил, что вы любите то-то и то-то». Отбоя от посетителей нет: кроме постоянных клиентов, люди приезжают из центра.

Месье Марти может угостить мидиями, улитками, раками, креветками, лангустами, но ни лягушек, ни черепашого супа в его ресторане вам не дадут. Вообще французы любят поесть и понимают толк в кушаньях и вине. Простой рабочий не будет есть кое-что и кое-как. Поэтому даже в самых дешевых ресторанчиках пища — первый сорт.

Месье Марти — это то, что называется «образцовый хозяин», и этот тип характерен для Франции...

* * *

Как-то, в одно летнее воскресенье, когда типография не работала, мы поехали с Пумой под Париж, на La grenouillère — в «Лягушатню». Это зеленое местечко на Сене. Берега ее обсажены ивами, тенисто. Все напомнило мне нашу русскую среднюю полосу. «Лягушатня» была забита жаждущими отдыха парижанами. Я разлеглась было на траве, но Василевский, которому органически чуждо тяготение к природе, заскучал, засуетился, и мы быстро уехали.

Я тогда не знала, что это прославленное место описано в рассказе Мопассана «Подруга Поля» и в повести «Иветта», где изображен пестрый и буйный парижский полусвет тех лет. «Лягушатня» также запечатлена знаменитым французским художником-импрессионистом Клодом Моне. Картина его так и называется «La grenouillère» — «Лягушатня». Не знал этого и Василевский.

Вообще мы ездили мало: еще Версаль, Трианон и какое-то скучноватое место — Вуврей. И это все.

Вспоминаю высказывание Бунина: «Латинский гений кончается там, где начинаются французские железные дороги». Так звучит фраза в передаче Дона-Аминадо.

Во французские драматические театры мы совсем не ходили. Так я «упустила» Сару Бернар. Правда, ей было уже много лет, она сломала ногу в бедре и не могла передвигаться по сцене, но все же не хотела сдаваться. Владелица собственного театра, она заказала

драматургу пьесу с сидячей ролью и изображала (и не без успеха) юношу морфиниста.

Когда я сказала Риретт Кибальчич, что собираюсь в театр Сары Бернар, она чуть не заплакала:

— Ну, зачем, зачем вам смотреть на эти «знаменитые остатки»? (*les beaux debris*) Это жалкое зрелище! Это жалкое зрелище!— все повторяла она.

Но зато в цирк Пума запросился сам. Мы вошли, когда потушили огни. Оркестр заиграл какое-то томительное танго.

Две рыже-золотые лошади, галопирующие бок о бок, вынесли на сцену мужчину и женщину, затянутых в белое блестящее трико. Под ослепительным лунным лучом прожектора они то сплетались в тесном и томном объятии, то разъединялись и переходили на своего скачущего рядом коня и продолжали танец в одиночку, пока вновь не наступал момент взаимного объятия. Цирк гремел от аплодисментов.

Выступление это было настолько красиво и необычно само по себе, что осталось в памяти надолго, если не навсегда. Но, кроме этого, мне невольно вспомнилась пьеса Леонида Андреева «Тот, кто получает пощечины». Я видела ее в Новом драматическом театре в Москве. Коронный номер героини—наездницы Консуэлы (артистка Полевицкая)—тоже назывался «Танго на конях», о нем часто упоминалось в пьесе. Клоуна Тота играл Певцов...

Был в парижском цирке и свой Шарло, «отпочковавшийся» все от того же Чарли Чаплина. Он носил котелок и те же черные усики и непомерной длины башмаки, на носки которых он то и дело наступал, падая и кувыркаясь...

Какое-то время я по-прежнему работала в типографии, но затем наступили перемены, и жизнь моя пошла совсем по иному руслу, уведя меня далеко от интересов газеты и лино типа.

И вот как это случилось. Однажды мои рабочие будни были неожиданно нарушены приходом в типографию тщедушного молодого человека, который сказал, что известный парижский мюзик-холл «*Folies Bergères*» набирает для очередного ревю балетную труппу. Я вдруг вспомнила занятия в петербургской школе братьев Чекрыгиных и подумала: «А отчего бы не попробовать?» Конечно, мысль дерзкая... Молодой человек указал адрес и сказал, что можно сходить для предварительных переговоров, которые ни одну из сторон ни к чему не обязывают.

Балетное платье я взяла, а туфель у меня не было.

Никакого «предварительного» разговора не получилось. Мне предложили прямо пройти на сцену.

— У меня туфель нет, я пришла только поговорить,— сказала я.

— Это не важно. Пройдите сначала вот сюда, в эту дверь.

Там мне дали целый мешок балетных туфель. Я лепетала что-то не очень внятное, но пожилой господин совершенно не принял в расчет моих отговорок и сказал, что нескольких тактов для его опытного глаза будет достаточно. Положение становилось натянутым, и мой лепет походил на кривлянье. Тогда я попросила пианиста сыграть начало вальса из «Копеллии» и протанцевала его как помнила. К моему великому удивлению, я не только прошла по конкурсу, но получила номер в танцевальном дуэте с одной из моих соотечественниц, о которых расскажу позже подробней, положив перед собой групповую фотографию тех лет.

Сначала нельзя было понять, кто главный, кто не очень главный, а кто только пыжится, чтобы играть какую-то роль. Но скоро все разъяснилось.

Театр стоит на трех китах. Три крупных капиталиста владеют театром на паях. Один ведает художественной частью (артисты, декорации, костюмы). В ведении другого — репертуар: содержание, текст, песни, мемориальные даты и т. д. Третий отвечает за рекламу и коммерческую сторону...

Но чтобы ясно представить себе механизм данного театра, надо ознакомиться со структурой ревью.

СТРУКТУРА БОЛЬШОГО ПАРИЖСКОГО РЕВЮ

1. Одна «звезда» — «ведетт». Гвоздь ревью (*vedette*).
2. Несколько «боте» — красавиц. Они не обязаны быть ни актрисами, ни певицами, ни танцовщицами. *Les beautés*. Они созданы для того, чтобы ими любоваться.
3. «*Les élégantes*». Хорошая фигура обязательна. Уменье носить платье. И само собой разумеется, — внешняя привлекательность.
4. «Ля коммер» — *la comète*. «Кумушка». Обязательно артистка, скорее характерная, умеющая все делать, а главное — играть. Она как бы конферансье спектакля. Обычно приглашается из драматического театра на время, пока идет ревью. Не обязана быть ни красавицей, ни «элегант».
- 5 и 6. Статистики. Просто — толпа и «ню» — обнаженные. Вся тяжесть ложится на последних. Они

переодеваются (скорее — раздеваются) раз по десять — пятнадцать за вечер и присутствуют на сцене в течение всего спектакля. Они — декоративная оправа всего ревью.

7. Балет. Вводные номера. Чаще всего американки с каким-нибудь балетным трюком. И кордебалет.

8. Герлсы, начиная с девочек от 10 лет (девочек 25—30). Загримированы под взрослых герлс, в тех же костюмах, что и актрисы. Участвуют в первом отделении. По контракту, к 10 часам должны быть уже свободны. Живут все вместе, пансионом. Опекает и учит их пожилой англичанин пасторского типа.

В ревью «Безумство из безумств» («Folie des folies») поставили «Пир Клеопатры». Клеопатра — красавица Мари Франс. Она яркая блондинка. Волосы ее с каким-то розоватым отливом. Кожа нежно-белая. Глаза темные. Высока ростом, тонка... Ее любовник и раб — негр. У этого артиста такой поразительный слух, что он останавливает оркестр, если хоть самый незначительный инструмент чуть-чуть сфальшивит. Он улавливает то, что недоступно даже уху дирижера. Для их номера создана специальная декорация. Вся сцена с ложем Клеопатры, светильниками, фонтаном под музыку выдвигается к первым рядам партера. Любовник-негр, ужаленный змеей, коварно преподнесенной Клеопатрой после страстных объятий, умирает почти что над головами первых рядов партера.

И вот в один прекрасный день Клеопатра — Мари Франс — не пришла на спектакль и не принесла в дирекцию никаких объяснений. В последний момент загримировали и облачили в костюм румынку, совершенно иной тип — смуглую брюнетку. Каково же было удивление всех артистов и дирекции, когда дали занавес и у барьера ближайшей к сцене ложи они увидели Мари Франс во всем ее великолепии, в нимбе золотисторозовых волос, в черном бархате, особенно ярко оттеняющем ее кожу. Прекрасное лицо ее не отражало ничего (так же бесстрастно поднесла она ядовитую змею к рабу-возлюбленному, исполняя роль Клеопатры). Из-за ее обнаженного плеча виделось будто нарисованное на шелку лицо-маска японца в безукоризненном смокинге.

Артисты едва доиграли до антракта — так им не терпелось узнать, в чем дело. В дирекции тоже волновались: срыв спектакля, отсутствие без предупреждения да еще такая демонстрация! Как только дали свет в зале, в ложе Мари Франс появился «Квазимодо» (так

прозвали артисты соглядатая и правую руку дирекции):

— Мадемуазель,— сказал он,— нарушение контракта без уважительных причин...

Мари Франс не дала ему закончить фразы. «Принц»,— сказала она, оборачиваясь через плечо к японцу. Принц спросил: «Сколько?»— и мгновенно подписал чек на 20 тысяч франков. Мари Франс даже бровью не повела и не оглянулась на Квазимодо. Такой же прекрасной царицей просидела она и второе действие.

— Вот счастливица!— вздыхали за кулисами статистки.— Вот это так устроилась... Только спросил, сколько, и подписал чек. Каково! А она сидела как кукла!

— Но какая же она красавица!— сказал кто-то.

— Вовсе уж она не такая красавица— у нее глупое лицо!

— Лили! Это ты из зависти!

— Дай мне принца, и я буду красавица,— огрызнулась Лили, рассматривая в зеркале свое волшебное измененное гримом лицо.

Тогда впервые в Париже появился джаз, и назывался он ««джаз-банд». В него входило много музыкантов. Мелодии были насыщенные, шумные. Бил барабан, звенели колокольчики, гудели трубы, надсаживались пианино.— Ха-ха-ха-ха!— хохотал саксофон, да не один, а несколько попеременно.

Центр номера— молодая «бескостная» американка. Она выманивает по очереди музыкантов оркестра с инструментом, чтобы показать какой-нибудь трюк. То она одним взмахом кладет ногу на его плечо, то она перегибается назад, молниеносно образуя мост, то она по-восточному садится на пол, и руки ее, извиваясь, двигаются независимо от туловища. То она комически марширует под барабан, нахлобучив на голову музыканта какой-то фантастический колпак. И все это в темпе музыки! Номер был идеально отработан и кончался тем, что она взлетала на вытянутые руки джазбандистов, и они торжественно уносили ее со сцены. Тогда все это было внове.

На репетициях артистку всегда сопровождала пожилая пристойная дама— мама или тетя...

Кроме «ню» в откровенном виде, театр стремится к тонкой эротике, выверая и так уже хорошо выверенные за долгие годы ее приемы. Вот на сцену под нежную музыку в плавном ритме выходят очаровательные девушки в костюмах сороковых— пятидесятых годов: шляпы кареткой, черные, спереди по горло закрытые

атласные платья, кринолины, отороченные белым мехом, в черных перчатках, с белыми муфточками, у пояса ярко-красный цветок. Девушки поворачиваются спиной—спина голая, а ниже талии—вырез в виде большого сердца. Очень пикантный прием. И так во всех деталях.

Наша «ведетт», приглашенная на ревью «Безумство из безумств»—Женни Гольдер, темно-рыжая, хрипловатый голос, худая, слегка сутулая. Громадные глаза, чудные зубы, крупные черты лица. По-французски говорит с каким-то особенным акцентом, что очень ценят парижане. Одевается просто (о, эта дорого стоящая простота, когда скромное модельное платье стоит тысячи франков!). Драгоценности надевает в зависимости от цвета платья: к зеленому—изумруды, к красноватым тонам—рубины, к белому или черному—жемчуга. Пускает в глаза атропин. Они, и без того огромные, принимают неестественные размеры.

«Ведетт»— звезда представления. Она должна уметь делать все: петь, танцевать, играть. В свое время очень удачно совмещала все эти жанры любимица Парижа Жозефина Бэкер.

Нравится ли мне Гольдер? Нет, определенно не нравится. Я нахожу, что в ней совсем нет женского обаяния, которое сейчас стали называть «секс-апил». Спустя несколько лет, когда я была уже в Москве, случайно прочла в одном французском журнале, что известная австралийская артистка Женни Гольдер покончила самоубийством, когда узнала о смерти своего возлюбленного, банкира-миллионера Лёвенфиша. Много шума в Европе наделала странная его гибель: он выпал из самолета, когда пролетал через Ла-Манш. Одни газеты утверждали, что это самоубийство, другие,— что убийство.

Вот какие неожиданные повороты могут случиться с, казалось бы, безмятежным существованием баловня театральных подмостков!

На постановку ревью тратится больше миллиона франков. Представление держится долго: года два-три. Затраты окупаются с лихвой.

Идет 1921 год, а выпуск ревью рассчитан на 1922-й, когда исполняется двести лет со дня рождения Мольера. Такая дата обязательно должна быть отражена в спектакле. Надо признаться, что Мольера к программе ревью приклеили довольно неуклюже.

На сцену вносят раззолоченный портшез, в котором сидит нарядный, в богатом камзоле, шляпа в страусовых перьях, Мольер, а мы вокруг пританцовываем и

поем: «C'est Molière qu'on fête»... А дальше перед ним разворачивается представление: жизнь Парижа наших дней, а заодно показаны и наиболее яркие события прошлого, совершенно не стесняясь исчислением веков. (Вот и Клеопатра со змеей сюда тоже попала...)

Зима. Дождь. Изредка снег. Когда он выпадает, появляются художники. Они спешат запечатлеть Париж под снегом, пока он не растаял...

До нас дошли слухи, что в Берлине организуется новая газета «Накануне».

Василевскому не сиделось на месте: он поехал в Берлин, чтобы узнать все подробности. Я осталась в Париже с длительным ангажементом, вся погруженная в последние репетиции перед премьерой. Колено болело, но я крепилась, надеясь, что опухоль рассосется понемногу, сама собой.

Костюмы нам сшили великолепные: серебряный лиф, юбка из страусовых перьев двух тонов: в основе ярко-желтых, на концах, где самый завиток,—оранжевых. Шапочка тоже серебряная, отделанная такими же перьями. Для вальса Крейсlera (подразумевалось, я—юноша) мне сшили полупрозрачные штанишки, украшенные маленькими ромашками.

Моя фотография в костюме из страусовых перьев, снятая у Валери (*Walery Paris*), долго была выставлена на Больших бульварах. Я даже не представляла себе, что это такая знаменитая фирма. Недавно в журнале «Иностранная литература» (№ 1, 1971) в опубликованной переписке Ивана Сергеевича Тургенева с дочерью Полины Виардо Диди упоминается фотография Валери. Правда, Иван Сергеевич не очень доволен его работой и просит Диди сняться в другой фотографии. (Письмо из Спасского от 22/10 июня 1874 года.)

Но все равно: мне было приятно хотя бы узнать, что Иван Сергеевич упоминает эту фирму. Я с каким-то новым отношением посмотрела на свою карточку.

К нам в балетную группу дирекция пригласила балерину Петербургского Императорского Марининского театра Седову. Это крупная (слишком крупная для балета) женщина, настоящая классическая балерина, совершенно лишенная женской привлекательности. На карточке она—в центре, с поднятой левой рукой, правую протянула кавалеру.

Скажу несколько слов о дисциплине. Она была железная, с системой штрафов за малейшее нарушение.

Моя последняя репетиция. В картине «Ночь на колокольне Нотр-Дам» участвовала вся труппа. По углам таинственно вырисовывались химеры. Зловещий

горбатый монах в сутане стоял под громадным колоколом, простирая руки над вырывающимся из-под его ног пламенем. Из пламени медленно поднималась фигура лежащей женщины. Черный бархат скрадывал железную подпорку, и казалось, что женщина плывет в воздухе. На колоколе, привязанная гирляндами цветов, висела совершенно обнаженная девушка. В полутьме мерцало ее прекрасное тело, казавшееся неживым. Голова, в потоке темных волос, была безжизненно запрокинута.

Под звуки глазуновской «Вакханалии» оживали химеры. Ведьмы хороводом проносились вокруг монаха. Вдруг одна из них крикнула: «Она умерла!» и остановилась. Произошло смятение. Задние наскочили на передних.

— Где? Кто?— Оркестр продолжал играть.— О! Умерла!

— Тихо!— крикнул режиссер.— Без паники!

Артистку сняли с колокола. Она была в глубоком обмороке. Впопыхах ее положили прямо на пол. Появился врач, запахло камфарой. «Она заоченела,— сказал он.— Прикройте ее!» Монах набросил на девушку свою сутану.

— Surmenage (переутомление)!— констатировал врач, отнимая стетоскоп от нежной девичьей груди. Прошло несколько долгих минут, прежде чем она пришла в себя. Она открыла огромные, темные, без блеска глаза и заплакала. Ее унесли в кабинет режиссера.

Финал прорепетировали быстро, почти что скомкав.

Позже я разговорилась с этой артисткой. Она спросила:

— Вы знаете, сколько раз я появляюсь на сцене голая? Пятнадцать раз. И все подолгу. Немудрено, что под конец я изнемогла.

— А нельзя ли поступить в такой театр, где не нужно так много раздеваться?

Она вскипела (я поняла, что допустила оплошность):

— Я на их гроши не проживу. Ты понимаешь? (Она даже не заметила, как перешла на ты.) Таких натурщиц, как я, в Париже сотни, нет, что я,— тысячи, и они рвут друг у друга кусок хлеба. Не работой я здесь, я бы не получала выгодных предложений позировать, я бы не снималась в кино. Ведь будь я урод, меня бы здесь не держали? А раз держат на ампула «ню», значит, стоит. Теперь понимаешь?

— Il faut manger, mon petit!— Есть-то надо!— философски заключила она.

Из Берлина Василевский вернулся слегка растерянный, но окрыленный. Он познакомился с будущим главным редактором газеты «Накануне» профессором Юрием Веняминовичем Ключниковым и договорился, что переедет в Берлин и будет сотрудничать в газете. Она должна быть широкого профиля с участием эмигрантской интеллигенции и советских писателей. Подразумевалось, что эмигрантская интеллигенция примкнет к движению «смены вех» (название взято от наименования сборника «Смена вех», вышедшего в Праге в 1921 г.).

Смена вех — процесс постепенный, основанный на пересмотре позиций «непризнания» большевистской революции и на медленном превращении человека «безродного» в человека, заново нашедшего родину и желающего вернуться в Россию. Не ошибусь, если скажу, что «чувство родины» — у одних более ярко выраженное, у других глубоко запрятанное, — невытравимо жило в каждом эмигранте...

Что мне Париж, раз он не русский!
Ах, для меня под дождь и град
На каждой тумбе петербургской
Растет шампанский виноград...

Так поэт Николай Агнивцев выразил свою тоску по родине...

Глубоко опечаленная слушала я Василевского и поняла, что пребыванию в Париже приходит конец. Я знала, что больше уж никогда — никогда! — парижский фонарь не будет светить в мое окно...

БЕРЛИН

КАКАЯ ВЫ СЧАСТЛИВАЯ, ЧТО У ВАС НЕТ МАТЕРИ...

Прощай, прекрасный неповторимый Париж! Ехать пришлось через Рур, проезжать его сердце — Эссен, центр крупновской индустрии. Над городом, по небу от дыхания бесчисленных заводов плыло розовое облако.

Проезжали Кельн. Совсем близко от железной дороги стоит знаменитый собор — жемчужина немецкой готики... Забегу вперед: вообще, если будут говорить, что Берлин некрасивый, не верьте. Это красивый, величественный город, но мрачный. Что же, города строят люди. Каков народ, таков и город...

Наш пансион на углу Курфюрстендамм и Уландштрассе. Владеет им немецкая семья Вебер. Отец, мать, три сына и дочь. Один из сыновей покинул отчий дом, не выдержав деспотизма отца. Глава семьи — дорогой мужской портной. Его ателье — внизу, в первом этаже. Старший сын ведет дела с клиентами пансиона. Единственная дочь Лизхен — моя ровесница. Мимоходом она спрашивает меня:

— Где ваша мама?

— Она умерла.

Лизхен вздыхает: «Какая вы счастливая, что у вас нет матери!» Вот так-так!

Как-то совершенно случайно я набрела на ее роман. Это уже немолодой (сильно за сорок) врач-грек, который отбывал практику в одной из берлинских больниц. Однажды фрау Вебер сказала мне: «Ведь Лизхен уедет так далеко!» Но стоило только взглянуть в хитрые глазки грека, чтобы понять, что никуда Лизхен не уедет, а уедет он к своей супруге и, конечно, куче детишек. Но ничего подобного я не сказала, тем более принимая во внимание фразу Лизхен «Какая вы счастливая, что у вас нет матери!».

Та же фрау Вебер попросила меня послушать, как поет ее дочь. Ничего хорошего я от этого не ждала. Лизхен села за пианино и запела горловым сдавленным голосом «Оду королеве Луизе» (или что-то в этом роде). Все королевы Луизы, о которых я хоть что-то помнила, пронеслись в моей голове, но ни на одной я не смогла остановиться, а между тем Лизхен забиралась все выше и выше и наконец смолкла. Я сказала: «Прекрасно!» У фрау Вебер на глазах стояли слезы...

Под нами на Курфюрстендамм, в подвальном этаже, кабаре Николая Агнивцева «Кривой Джимми» (только в названии я не очень уверена). Здесь поэт Кусиков читает свои стихи. Он небольшого роста, складный, очень бледный. Бледность подчеркивается пудрой, черными сросшимися бровями и темными глазами. Носит он кавказскую рубашку с газырями. Талия перетянута поясом, отделанным серебром с чернью. О нем Маяковский сказал: «Много есть вкусов и кусиков. Кому нравлюсь я, а кому — поэт Кусиков».

Но в действительности он многим нравился. Когда он появляется в кабаре, со всех сторон кричат, приветствуя его: «Кусиков! Кусиков!»

Он выходит и читает стихи, в которых обязательно есть что-нибудь мало цензурное, неудобоваримое. Патристические стихи о России кончаются: «О, Россия! Святая б...»! И выговорено это полностью. И никого

это не смутило — как будто так и нужно. Еще вспоминается выступление Кусикова: «Обо мне говорят, что я сволочь, что я хитрый и злой черкес...»

Недоброжелателей у него, надо думать, хватает.

Постепенно мы осматриваемся и изредка ходим в ближайшее кафе «Дес Вестенс», где пьем «шорлы-морлы» (если память меня не подводит, — пиво с лимонадом). Славится кафе еще одним напитком: «Эйер-коньяк» — сочетание подогретого белого вина, гоголя-моголя и коньяка. Это раза в три дороже, чем «шорлы-морлы», но в десять раз вкуснее.

«ИНФЛЯЦИЯ—ЭТО ТРАГЕДИЯ, КОТОРАЯ ПОРОЖДАЕТ В
ОБЩЕСТВЕ
ЦИНИЗМ, ЖЕСТОКОСТЬ И РАВНОДУШИЕ!»

Идет 1922 год. Марка падает. Цены бешено растут. Богатые люди, обладатели валюты, вывозят на автомобилях целые магазины. На улицах появляются нищие всех возрастов; чистенькие старички, инвалиды первой войны. Я видела, как какой-то человек у кассы метро дал одноногому, просящему милостыню, зеленую долларовую бумажку. Надо было видеть, каким счастьем озарилось его лицо.

По городу расклеены воззвания: «Граждане, помогите вашему зоологическому саду!»

Появились слепые в военной форме. Чистые, но, конечно, голодные: марка все летит и летит вниз. Нельзя без волнения смотреть на этих людей со своими верными поводырями-собаками. Это дрессированные овчарки в кожаной сбруйке, на которой с боков прикреплен круглый белый медальон с красным крестом. Ремешки от шлейки держит в руках инвалид.

Надо видеть, с какой гордостью и уверенностью переводят они своих незрячих хозяев через улицу. Зачастую слепые останавливаются просить милостыню, а собаки присаживаются рядом и преданно ожидают, пока хозяин не позовет их домой.

Немцы говорили мне, что нанесение вреда такой собаке карается как уголовное деяние.

«Инфляция—это трагедия, которая порождает в обществе цинизм, жестокость и равнодушие!» Эти слова принадлежат писателю-гуманисту Томасу Манну и относятся к гиперинфляции 1923 года...

В это же время рождаются анекдоты о «шиберах», то есть о спекулянтах разных мастей. Рассказывает

жена шибера фрау Рафке: «Ехала я в Грюневальд на трамвае № 25 и, представьте себе, кого я встретила — художника Рембрандта!

— Ах, что вы говорите, фрау Рафке, ведь № 25 не ходит в Грюневальд!»

Муж фрау Рафке смотрит на свои руки, унизанные кольцами с бриллиантами, и говорит: «До чего же хороши мои бриллианты! Они блестят как молнии, жаль только, что они не гремят как гром!»

В этот тяжелый для немцев период повылезала всякая нечисть. Я видела Сарру Давыдовну Каплан, которую знала по Петрограду, всю в бриллиантах. Она сидела за столиком в кафе. Так стало стыдно, и хотелось сказать ей: «Сними все свои украшения!» Нельзя сидеть таким золоченым идиолом, когда вокруг люди падают от голода.

Мы никогда не ходим в драматические театры: Василевский плохо слышит и не знает немецкого языка. Ходили в «Винтерпаласт», смотрели там развернутое богатое ревью (но грубее французского «Фоли»). Как раз в это время была открыта гробница фараона Тутанхамона. Этот факт мирового значения, конечно, нашел отражение и в тексте, и в песнях, костюмах и танцах ревью.

К этому времени (1922 год) относится и приезд Художественного театра. Я была на спектакле «Три сестры». Помню, как какая-то немка в партере металась и всех спрашивала: «Что происходит, что там происходит?», особенно в сцене после пожара.

Немцам нельзя показывать Чехова. Это вам не Бернард Шоу, который говорил о Чехове: «Вот это драматург! Человек, у которого совершеннейшее чувство театра. Он заставляет вас чувствовать себя новичком!»

Театральную погоду в Берлине делает балетная чета Сахаровых. Он — русский, она хорошенькая немка — Клотильда.

К двадцатым годам относится расцвет немецкой кинематографии. Об этом говорит хотя бы одно только перечисление имен: Пауль Вегенер, Конрад Фейдт, Эмиль Яннингс, Вернер Краус, Хенни Портен, Лия де Путти, Лиль Даговер, Марлен Дитрих, славившаяся кроме таланта конечно, своими непревзойденной красоты ногами. Помнится, на экранах надписи: «Жена фараона», «Кабинет доктора Калигари». Все воздавали должное режиссеру Любичу, прославившему себя массовыми сценами.

Иногда в виде развлечения мы ходим в кафе

«Ноллендорф». Уж не помню, в этом ли или в каком другом кафе увидела я впервые Эренбурга. Они были давно знакомы с Василевским и остановились поговорить. До чего же он мне не понравился! (Во-первых, почему писатель должен ходить всклокоченным? Можно ведь и причесаться!) А потом разговаривал он «через губу», недружелюбно. Я наблюдала его несколько раз. Ох, не хотела бы я зависеть от этого человека!

Слушала я и иступленного Андрея Белого в этом же кафе. Внешность его служит яркой иллюстрацией к гоголевскому Поприщину. Это типичное «мартобря». Почти на лысом черепе по бокам торчат седые космы. Глаза детски голубые (бездумные или безумные?). Он, доказывая что-то, приседал, потом поднимался, будто винтом ввинчивался в воздух. Я запомнила: он говорил о значении человека: «Человек — это Чело Века». Весь вид его и манеры действовали гипнотически. Необычную внешность Андрея Белого и такую же его необычную сущность прекрасно отобразила художница А. П. Остроумова-Лебедева в портрете писателя (20-е годы). Там же мне показали и жену Белого, нежную блондинку Асю Тургеневу.

Еще в Париже начались слухи о том, что в Берлине должна открыться русская газета. Слухи были смутные, очень сбивчивые, и Василевский решил поехать «прощупать» обстановку.

Вернулся он очень оживленный, сказал, что встретил много знакомых из газетного мира и что центр литературной жизни перемещается в Берлин.

Мне он привез черную шубку «под котик» (моя первая меховая шуба) на золотистой шелковой подкладке, которая сделана, сказал Пума, из древесных опилок. Я решила, что он меня разыгрывает, но это была правда. Необычайная новость для Парижа: Берлин опередил его в производстве синтетики...

Газета, которую ожидали в Берлине, зародилась от движения под названием «Смена Вех», и происходит оно от заглавия сборника «Смена Вех», выпущенного в июле 1921 года в Праге. «Накануне» называли газету.

XII Всероссийская конференция РКП(б) в августе 1922 года записала в своем решении:

«Опираясь на начавшийся процесс расслоения среди антисоветских групп, наши партийные организации должны суметь серьезным, деловым образом подойти к каждой группе, прежде враждебной Советской власти и ныне обнаружившей хотя бы малейшее искреннее

желание действительно помочь рабочему классу и крестьянству в деле восстановления хозяйства, поднятия культурного уровня населения и т. п.».

Ободренная и поддержанная, а может быть, и вдохновленная этим обращением, группа лидеров эмиграции: Ю. В. Ключников, Н. В. Устрялов, С. С. Лукьянов, А. В. Бобрищев-Пушкин, С. С. Чахотин, Ю. Н. Потехин и др.—устремилась в Берлин, видя в перспективе возможность возвращения в Россию и в глубине души, конечно, мечтая об этом. В этом смысле очень показательны письмо А. Н. Толстого, написанное им весной 1922 года из Берлина Корнею Ивановичу Чуковскому:

«Милый Корней Иванович! Вы доставили мне большую радость Вашим письмом. Первое и главное—это то, что у вас, живущих в России, нет зла на нас, бежавших. Очень важно и радостно, что мы снова становимся одной семьей. Важно потому, что, как мне кажется,—никогда еще на свете не было так нужно искусство, как в наши дни: в нем залог спасения. Радостно, потому что эмиграции—пора домой. Эмиграция, разумеется, уверяла себя и других, что эмиграция—высококультурная вещь, сохранение культуры, неугашение священного огня. Но это так говорилось, а в эмиграции была собачья тоска: как ни задирались, все же жили из милости в людях, а думалось—может быть, вернемся домой и там примут неласково: без вас обходились, без вас и обойдемся. Эта тоска и это бездомное чувство вам, очевидно, не знакомы. В особенности когда глаза понемногу стали видеть вещи жизни, а не призраки, началась эта бесприютная тоска. Много людей наложило на себя руки. Не знаю, чувствуете ли вы с такой пронзительной остротой, что такое Родина, свое солнце над крышей? Должно быть, мы еще очень первобытны или в нас еще очень много растительного, и это хорошо, без этого мы были бы просто аллегориями. Пускай наша крыша убогая, но под ней мы живы...»

Уверена, что под этим письмом подписались бы те, чьи имена я только что упомянула.

С притоком беженцев в Берлин возросло и количество газет: ультрамонархическая «Что делать?», «Общее дело» В. Л. Бурцева (революционер, некогда прославившийся тем, что разоблачил провокатора Азефа).

Но главой всех эмигрантских начинаний в прессе был Иосиф Владимирович Гессен (Лапинер). Он—председатель Союза русских журналистов в Берлине, редактор издательства «Слово» и газеты «Руль». «Ар-

жив русской революции» издает за рубежом тот же Гессен.

Когда появилась газета «Накануне», гессеновский «Руль», откликнулся незамысловатым, но не без яда двустушием:

Здесь, в Берлине, этот грех —
Называют «Сменой Вех».

Продолжу некоторые сведения о прессе тех лет. Берлинский журнал «Русская книга» издавал профессор А. С. Яценко. «Детинец» — монархический сборник — издавался здесь же Иваном Наживиным. Знаменитая книга генерала Краснова «От двуглавого орла к красному знамени» была издана в Берлине в 1922 году. В том же году и здесь же генерал Краснов издал монархический роман-утопию «За чертополохом». Когда на страницах «Накануне» появился Михаил Булгаков, присылавший свои фельетоны из Москвы, Василевский опытным глазом газетчика сразу распознал талантливое человека и много раз хвалил его. Корреспонденции молодого писателя Булгакова были всегда свежи, своеобразны. Он печатал даже отрывки из своего предполагаемого романа «Алый мах», который со временем созрел и выкристаллизовался, получив спокойное и непретенциозное название «Белая гвардия». Роман посвящен мне.

Мелькали в газете и другие имена, впоследствии как-то исчезнувшие с литературного горизонта: Н. Русова, Мих. Гордеенко, Виктор Барт и уцелевший в литературе М. Соколов-Микитов. Это в прозе. А в поэзии — Е. Толлер, И. Рискин, Владимир Кемецкий.

Как в Париже распространением газет и журналов ведал «Мезон Ашетт» (Maison Hachette), так в Берлине — «Ульштейнхауз» (Ulsteinhaus).

«НЕБО И ЗЕМЛЯ»

Наша пансионская жизнь у Веберов на Курфюрстендамм отлажена даже в мелочах: начать хотя бы с уборки комнат. По утрам, в определенный час, подгоняемая фрау Вебер, в комнату врывается, как Валькирия, горничная. Она бросается к форточке, открывает ее, передвигает все, что только можно передвинуть, отворачивает ковры, быстро подметает пол, протирает его суконкой, стирает пыль со всех предметов и переходит в следующее помещение, которое подвергает такой же быстрой и планомерной обработке.

Приезжают в пансион и из других стран. При нас приехали голландки. Одна из них слепая музыкантша.

Самые мучительные моменты—это встречи за табльдотом. Во-первых,—пища. Бывает просто не-вкусно, а бывает ужасно: например, Biersuppe (суп из пива). Русскому человеку проглотить его трудно. Мясо всегда плавает в чем-то неопределенном, а есть еще кушанье «Himmel und Erde» («небо и земля») — им немцы гордятся. На одном конце большого овального блюда лежит яблочное пюре («небо»), а на другом — картофельное («земля»). Эти два элемента сочетаются плохо...

Кроме того, у голландок бытует восклицание, которое звучит как наше короткое похабное заборное слово. Они широко им пользуются, выражая самые разнообразные эмоции: восторг, негодование, испуг, сомнение. За обедом оно, это восклицание, перепархивает между голландскими дамами (и немцы не чужды этому восклицанию). Русские женщины сидят с напряженно непроницаемым выражением лица, а мужчины переглядываются и ухмыляются втихомолку...

Комната у нас хорошая, в три больших окна, с удобным письменным столом, даже уютная, несмотря на присутствие двух больших, высоких, пухлых, поставленных рядом кроватей.

Почему-то запомнилось, как в этой комнате я сижу за обеденным столом (Василевского дома не было) и ем суп, а рядом сидит Алексей Николаевич Толстой — он ждет Василевского — и отравляет мне аппетит всеми способами:

— Вот вы спирохету съели, — говорит он, когда я проглатываю вермишель, и смеется своим особым, неповторимым смехом...

Газету «Накануне» возглавлял профессор Юрий Вениаминович Ключников. С моей точки зрения, внешне довольно интересный человек, но, по безжалостному определению Алексея Николаевича Толстого, — «похож на череп». Это, должно быть, из-за глубоких глазниц и выдающихся скул.

Жена Ключникова — пианистка Елизавета Доленга-Грабовская. Некрасивая, смешливая, необыкновенно хорошевшая за роялем.

Юрий Николаевич Потехин — заместитель Ключникова по газете. Действительно красивый человек, но, видимо, предельно нервный: у него, несмотря на молодой возраст, не переставая, дрожат руки. Я несколько раз слышала, как он выступал с трибуны. Умно. Активно призывал к возвращению в СССР. Женат он

был на бывшей очень богатой самарской помещице Курлиной. Она славилась своими бриллиантами, молчаливостью и умением играть в шахматы. Наши мужчины побаивались садиться с ней как с партнершей. Ее сестра — красавица — была замужем за Мамонтовым.

Кирдцов — сменивший Ключникова на посту редактора газеты «Накануне». Маленький невзрачный человек. Женатый на грандиозных размеров женщине. Каждый раз, как я видела их вместе, вспоминался рассказ Чехова «Последняя могижанша».

Вспоминаю Сергея Сергеевича Лукьянова, слишком миловидного для мужчины, женатого на бывшей актрисе, довольно разбитной по манерам.

Были еще сотрудники: Дюшен, Вольский (Гроним), Павел Антонович Садыкер, ответственный секретарь редакции, и Бобрищев-Пушкин, одна внешность которого обращает на себя внимание: большая голова с лвиной гривой. Похож на Мусоргского, крупный. Во всех повадках — смесь аристократизма и какого-то наивного простодушия. Любит декламировать. Когда декламирует, ставит перед собой стул и держится за его спинку. Вероятно, чтобы занять руки. Особенным его расположением пользуется стихотворение Мережковского «Сакья-Муни»:

По горам, среди ущелий темных,
Где ревел осенний ураган,
Шла в лесу толпа бродяг бездомных
К водам Ганга из далеких стран...

С юношеским пафосом восклицал он:

Ты не прав, великий Будда, ты не прав!

Конечно, все эти люди заняты в газете своим делом, но я встречала их чаще всего в домашней обстановке, а если в редакции, то в перерыве от работ. Помню, в 1923 году редакцию «Накануне» посетил наш дипломат М. Литвинов с женой. Он был тучен, рыжеват, розовощек и походил скорей на процветающего коммерсанта, но никак не на дипломата, возглавляющего большую страну, только-только заявившую себя на международной арене. Жена Литвинова, англичанка, говорила с акцентом крикливым голосом. Внешне она была полной противоположностью своему мужу — темноволосая и худощавая. Их пребывание в редакции не носило официального характера и было мимолетным...

Потом как-то из небытия возник на улице константинопольский знакомый, по фамилии Солоник-Краса.

Имя я его забыла, но помню, что был он необыкновенно смешлив, а так как наш юмор был настроен на одинаковой волне, я очень обрадовалась встрече. Он пришел к нам в гости. Присутствовала еще хорошенькая жена одного из знакомых Василевского. Мы очень развеселились, перебрасывались мячом, бросали платок, угадывали слова. А Солоник-Краса забрался на стул, сел на корточки, сделал обезьянью гримасу, которая ему отменно удалась, стал длинными пальцами почесывать под мышкой, потом рассматривал пальцы, сложенные в щепотку. Мы с гостьей от души смеялись. Не смеялся только один Василевский. Он сидел, повернувшись к нам спиной, и от негодования у него горели уши.

«Быть беде!» — подумала я.

И действительно, когда гости ушли, — и всю-то ночь Пума грыз меня за легкомыслие и неумение вести себя как полагается замужней даме...

Когда через несколько дней я вышла на площадку лестницы и увидела через стекло поднимавшегося лифта Солоника с первыми ландышами в руках, я сделала отчаянный жест и Солоник как привидение в театре провалился со своим букетиком. С тех пор, встречая меня на улице, он спешил на другую сторону. А мне было грустно...

Как-то старший сын Вебер, ведущий дела пансиона, устроил нам без всякой причины какой-то въедливый скандал. Было противно, но Пума объяснил мне, что Вебер хочет набавить на комнату и на пансион. Так оно и оказалось. Но мне стало тошно. Нас выручил сотрудник «Накануне» Вольский, рекомендовав тот же пансион, где сам жил второй год.

От Веберов мы уехали в тот же Западный район, недалеко от Виттенбергплатц, в пяти минутах ходьбы от популярного магазина «Кадеве».

ТРИ СЕСТРЫ

Теперь на Bayren strasse мы снимаем две комнаты — кабинет и спальню. В пансион превращена громадная и мрачноватая квартира вдовы тайного советника фрау Эвальд. Она совсем старая женщина и с нами не общается. Пансионом заправляют три сестры: Мария (красивая старая дева), Адельгейда (очень красивая старая дева) и Хильдегарда (очень некрасивая разведенная жена с 10-летней девочкой)... Так поэтично звали невесту рыцаря Роланда — того самого, который

Трубит в Ронсевале в свой рог золотой
В отчаянье рыцарь могучий.
Отклшнулись хором и лес вековой,
И гор отдаленные круч...

Старшая сестра Мария сидит за табльдотом, если не ест, то кладет руки на стол по обе стороны тарелки и складывает пальцы в кукиши, что всегда смешит русскую публику, особенно если принять во внимание ее возраст и царственный вид. Младшая, замужняя, стала изучать русский язык, когда услышала впервые за столом слово «мало». Прошло какое-то время, и уже надо было держать ухо востро: фрау Дуст делала успехи и внимательно вслушивалась в русскую речь.

— Sie war immer fürhtbar klug (Она всегда была ужасно умной),—так сказал о ней муж ее школьной приятельницы...

«Невеста рыцаря Роланда»—Хильдегарда—с интересом прислушивается к нашим разговорам и приглядывается к нашему поведению.

В соседней с нами комнате живет актер балета, молчаливый человек. У него от грима всегда остаются подведенные глаза, а может быть, ему так нравится? Горничная, убирающая его комнату, донесла Хильдегарде, что нашла шпильку для волос в его постели. Надо было видеть, что тут началось!

— Подумать только: он принимал у себя женщину!—кричала Хильдегарда с тремоло в голосе.

Когда до «виновника» дошли эти разговоры, он, желая объясниться с хозяйками, сделал такой грандиозный прыжок по направлению к их комнатам, что все поняли, что такое большое балетное «жете» (начать с того, что к женщинам он испытывал непреодолимое отвращение).

Пикантность происшествия усугубляется еще и тем, что у «блюстительницы нравственности» среди жильцов пансиона есть любовник, которого она принимает у себя в спальне рядом с постелью своей десятилетней дочери!

Две немецких семьи, с которыми мне пришлось близко столкнуться. Одна—почти необразованных стяжателей, другая—претендующая на избранность и аристократизм. В первой—единственная дочь завидует тем, чья мать умерла, а во второй... впрочем, я еще доберусь до второй позже...

Были мы свидетелями и другой острой сцены, когда доведенная до исступления придирами Хильдегарды молоденькая горничная кричала ей: «Ведьма! Ведьма!»

Девчонка сжигала свои корабли: она не могла не

знать, что в Берлине ей горничной больше не работать: без рекомендации с последнего места ее никуда не возьмут, а Эвальды рекомендации ей не дадут.

Единственно, кто стоял вдалеке от всех страстей, это кот Вуц. Он был черный, без единой отметины. Чтобы на него не наступали в темном коридоре, Вуц ходил с бубенчиками, как прокаженный в средние века.

Он был кот мрачный: ни к кому никогда не ласкался, даже к своей покровительнице Бербль, дочке Хильдегарды, 10-летней бледной девочке в очках.

«НЕВЕСЕЛОГО СЧАСТЬЯ ЗАЛОГ—СУМАСШЕДШЕЕ СЕРДЦЕ ПОЭТА»

Эмигрантский наш быт был обновлен и украшен приездом в Берлин Есенина и Дункан (11 мая 1922 года).

Мы встретились с ним в кафе, излюбленном эмигрантами месте встреч. Айседора, несмотря на сравнительно теплую погоду, была в легко наброшенном меховом мантио и голубом шарфе. Есенин очень молод, выглядит даже моложе своих лет. На нем какая-то невнятная одежда и кепочка. Щеголять в цилиндре, в накидке на белом шелку он стал позже. И все равно, хоть это новое для него обличье даже шло к нему, пастушонок все же «высовывал рожки». И был бы он смешон, если бы не был так изящен.

Это было в тот вечер, когда Дункан предложила спеть «Интернационал». Есенин запел, кто-то поддержал, кто-то зашикал. Вообще получилась неразбериха, шум, встревоженные лица лакеев, полускандал (страсть всего этого немцы не любят!).

Очень скоро после их приезда мы очутились за одним столом в кафе. Мы—это чета Толстых—поэтесса Наталья Васильевна Крандиевская и Алексей Николаевич, мы с Пумой и приезжие гости. (Кусикова—так мне помнится—в этот раз не было.)

Я сидела рядом с Дункан и любовалась ее руками. И вдруг, совершенно внезапно, она спросила меня по-французски:

— *Sommes nous ridicules ensemble?* («Мы вместе смешная пара?») Мне сразу показалось, что я ослышалась, до того вопрос в ее устах был невероятен. Я ответила: «О, нет, наоборот...» Так иногда совершенно чужого легче спросить о чем-то интимном, чем самого близкого, тем более, если думаешь, что никогда с ним больше не встретишься.

Недавно я прочла воспоминания Айседоры, выпу-

ценные в Париже уже после ее смерти, и поняла, что эта женщина абсолютной внутренней свободы и безудержной дерзости, способная на самые крайние движения души и поступки.

Я приведу позже стихи Есенина к ней, которые он читал в 1923 году у нас в пансионе на Байрейтерштрассе, когда приехал с Кусиковым и балалайкой. Там есть слова «до печенок меня замучила», и я верю в это.

Биограф Есенина Илья Шнейдер (автор хорошей искренней книги «Встречи с Есениным») прожил под одной крышей с Дункан и Есениным три года и называет их роман «горьким романом».

Еще бы не горький! Они же оба мазаны одним мирром, похожи друг на друга, скроены на один образец, оба талантливо сверх меры, оба эмоциональны, безудержны, бесшабашны. Оба друг для друга обладают притягательной и в такой же мере отталкивающей силой.

И роман их не только горький, но и счастливо-несчастный или несчастливо-счастливый, как хотите. И другим быть не может.

Вспоминаю вечер у Ю. В. Ключникова, когда были Есенин и Дункан. Его попросили прочесть стихи. Он сорвался с места (всегда читал свои стихи стоя) и прочел монолог Хлопуши из поэмы «Пугачев». Вряд ли Дункан понимала его, но надо было видеть, как менялось выражение ее лица по мере того, как менялись интонации голоса Есенина. Я смотрела на нее, а слушала его.

Читаю у Горького описание встречи с Есениным и Дункан в Берлине у Толстых. Горький вспоминает того Есенина, которого он увидел в первый раз в 1914 году вместе с поэтом Клюевым: «...кудрявенький и светлый, в голубой рубашке, в поддевке и сапогах с набором, он очень напоминал слащавенькие открытки Самокиш-Судковской, изображавшей боярских детей, всех с одним и тем же лицом... Позднее, когда я читал его размашистые, яркие, удивительно сердечные стихи, не верилось мне, что пишет их тот самый нарочито картинно одетый мальчик...» Оценивая и цитируя его стихи, писатель говорит: «Взволновал он меня до спазмы в горле, рыдать хотелось...»

Острая писательская наблюдательность изменяет Горькому, как только он приступает к описанию Айседоры Дункан. Он становится даже грубоват (кстати, вряд ли он не знает разницы между глаголом *плясать* и *танцевать*!). Называя ее искусство пляской, он как бы хочет унижить ее.

Этот же вечер в своих воспоминаниях описывает Наталья Васильевна Крандиевская, женщина добрая и справедливая. Мне повезло—я ни разу не видела Есенина во хмелю, но представляю себе, какой он был буйный и страшный.

С нами в пансионе «Эвальд» жила семья Вольских: он—сотрудник «Накануне», она—по специальности врач, по имени Лидия—в то время не работала (благодаря рекомендации Вольского мы с Пумой и попали в пансион к «Трем сестрам»). Как-то раз днем Есенин с неразлучным Кусиковым пришли к Вольским. Ни Пумы, ни самого Вольского дома не было. Есенин сидел спокойный, улыбочивый (может быть, это была передышка в их бурных отношениях с Айседорой, и он отдыхал?).

Сидели, болтали, пили чай, играли в какую-то фантастическую карточную игру, где ставки были по желанию: хочу—ставлю вон тот семиэтажный дом, хочу—универсальный магазин, хочу—Тиргартен. Важно было выиграть. Я выиграла у Есенина сердитого старичка-сапожника, портье нашего дома. Есенин потешался и, смеясь, спрашивал, что я с ним буду делать.

К этому же периоду относится и фотография Есенина с Кусиковым, подаренная Василевскому с надписью (сделана Кусиковым): «От двух гениев современности». Фото «слизнул» художник Николай Васильевич Ильин, оформлявший книги в Государственном издательстве художественной литературы, которое возглавлял П. И. Чагин. Фотографию Ильин не вернул.

Потом Есенин с Айседорой уехали за границу и в Берлин вернулись после длительного путешествия. Подробности этой поездки и всех их злоключений можно узнать в упомянутой мной выше книге И. Шнейдера.

В конце июля 1922 года они приехали в Париж, а в октябре из Гавра отплыли на пароходе в Нью-Йорк. «За красную пропаганду» Дункан была лишена американского подданства, и им обоим было предложено покинуть Соединенные Штаты. Не без основания и не без остроумия Есенин определил свои впечатления о США названием своей статьи в «Известиях»: «Железный Миргород»¹.

Шел 1923 год. Пума уехал в Советский Союз с Алексеем Николаевичем Толстым. Я жила одна, ожи-

¹ «Мне нравится цивилизация. Но я очень не люблю Америки. Америка это тот смрад, где пропадает не только искусство, но и вообще лучшие порывы человечества». («Автобиография», 1924.)

дая известий от Василевского. И вот как-то вечером ко мне приехали Есенин с Кусиковым и с балалайкой. Я сразу поняла, что случилась какая-то беда. Есенин был худ, бледен, весь какой-то раздавленный. Сидел на диване и тренькал, напевая рязанские частушки. Я стала подпевать.

— Откуда вы их знаете?

Я сказала:

— Слышала в детстве. Моя мать—рязанская. Я знаю не только частушки, а знаю, что солнце—это «сонче», а цапля—«чапля».

А в это время мои «высокопоставленные» три сестры сновали по коридору, останавливаясь и замирая у дверей. Изредка врывается в комнату к нам взволнованный немецкий диалог:

— Можешь себе представить—у нее гость с балалайкой!

— Mit Balalayka, unmöglich (Невозможно!)

— Сама послушай... (Замирают.)

Вольских дома не было. Ясно было заметно, что Кусиков старается отвлечь своего друга от тяжелых мыслей и вывести из состояния тяжелой депрессии. Потом Есенин сорвался внезапно с места, встал и прочел одно за другим два стихотворения.

Сыпь, гармоника, Скука... Скука...
Гармонист пальцы льет волной.
Пей со мною, паршивая сука,
Пей со мной.

Излюбили тебя, измызгали—
Невтерпеж.
Что ж ты смотришь так синими брызгами?
Иль в морду хошь?

В огород бы тебя на чучело,
Пугать ворон.
До печенок меня замучила
Со всех сторон.

Сыпь, гармоника. Сыпь, моя частая.
Пей, выдра, пей.
Мне бы лучше вон ту, сисястую,—
Она глупей.

Я среди женщин тебя не первую...
Немало вас,
Но с такой вот, как ты, со стервою,
Лишь в первый раз.

Чем больнее, тем звонче,
То здесь, то там.
Я с собой не покончу,
Иди к чертям.

К вашей своре собачьей
Пора простыть.
Дорогая, я плачу,
Прости... Прости...

<1922>

Второе стихотворение, прочитанное Есениным у нас
на Байрейтерштрассе, с балалайкой и Кусиковым.

Пой же, пой. На проклятой гитаре
Пальцы пляшут твои полукруг.
Захлебнуться бы в этом угаре,
Мой последний, единственый друг.

Не гляди на ее запястья
И с плечей ее льющийся шелк.
Я искал в этой женщине счастья,
А нечаянно гибель нашел.

Я не знал, что любовь — зараза,
Я не знал, что любовь — чума.
Подошла и прищуренным глазом
Хулигана свела с ума.

Пой, мой друг. Навей мне снова
Нашу прежнюю буйную рань.
Пусть целует она другова,
Молодая красивая дрянь.

Ах, постой. Я ее не ругаю.
Ах, постой. Я ее не кляну.
Дай тебе про себя я сыграв
Под басовую эту струну.

Льется дней моих розовый купол.
В сердце снов золотых сума.
Много девушек я перещупал,
Много женщин в углах прижимал.

Да! есть горькая правда земли,
Подсмотрел я ребяческим оком:
Лижут в очередь кобели
Истекающую суку соком.

Так чего ж мне ее ревновать.
Так чего ж мне болеть такому.
Наша жизнь — простыня и кровать.
Наша жизнь — поцелуй, да в омут.

Пой же, пой! В роковом размахе
Этих рук роковых беда.
Только, знаешь, пошли их...
Не умру я, мой друг, никогда.

<1922>

Когда он читал это стихотворение, отмеченная
строка звучала по-другому: истекающую кровью суку.
Вообще все показалось мне чудовищно грубым, и,

если бы не его убитый вид—даже больше—страдальческий вид, я бы вступилась за женщину...

Больше Есенина я не встречала, но вспоминаю его с нежностью. Одна мысль, что его можно было спасти—как, я не знаю,—наполняет жгучей болью. Что чувствовал он, большой русский поэт, гордость России, когда в полном одиночестве, в № 5 гостиницы «Ангелер» в Ленинграде, где в свое время жил с Айседорой, набрасывал себе зимней ночью 1925 года на шею петлю?

Мне хочется закончить воспоминания об Есенине цитатой из статьи одного писателя, случайно попавшей мне на глаза. Слова великолепные, горячие.

«Да, Сергей Есенин—живое, обнаженное русское чувство. Не хочется говорить о его поэзии как о «явлении в литературе», как о «вкладе в золотой ее фонд» и т. д. Оставляем эти термины и понятия тем, кто породил их. А себе берем самого Есенина как он есть...»¹

«ЭТО ВСЕГО ЛИШЬ НЕСКОЛЬКО КАПЕЛЬ...»

Я уже упоминала как-то о жене Юрия Веняминовича Ключникова пианистке Елизавете Доленга-Грабовской. Она была наиболее мобильна из всех «накануневских» дам. Мы уже однажды ездили с ней в Вернигероде. И как-то выбрались компанией в Потсдам погулять по знаменитому парку Сан-Суси, или «Зан-Зуси» в немецком произношении, возле дворца Фридриха Великого. Потсдам—Версаль Пруссии на озере Хавель—так определяют словари.

Мы вволю нагулялись, Пума, к моему удивлению, ходил тоже с нами, и уже собирались ехать домой, как небо нахмурилось, потемнело и пошел дождь. Никак нельзя было предположить, что такой сияющий день окончится ливнем. В это время как раз мы очутились среди квартала, который называется «русской деревней». На воротах чистеньких домиков мелькали фамилии домовладельцев—сплошь русские: это бывшая деревня кантонистов, в свое время подаренных Николаем I одному из Фридрихов. А дождь не унимался. Шел уже ливень. Мы решили переждать его где-нибудь у бывших своих соотечественников. Но наш приход ими был воспринят как «налет». Правда, растерянная хозяйка повела нас в главную комнату стерильной чистоты,

¹ Прасолов А. О Есенине вслух.—Наш современник, № 9, 1977.

но мы даже не решились сесть на мебель в накрахмаленных чехлах, напоминающую белые айсберги. Между тем среди хозяев наблюдалось смятение: они перешептывались, входили, выходили. А дождь все лил. Но вот старик, видно, вожак клана, вошел к нам и сказал: «И дождя-то вовсе нет, это всего лишь несколько капель»,—и попросил удалиться. Так мы были выдворены под ливень на улицу. С тех пор выражение «это всего лишь несколько капель» стало у нас летучим для определения чего-нибудь нежелательного, требующего срочного пресечения, и держалось оно долго. Вот спасибо, «угостили» наши далекие соотечественники...

Не раз мы бывали в гостях у Владимира Пименовича Крымова, старого знакомого Василевского.

У него под Берлином, в Целлендорфе, уютный обжитой дом, миловидная черноглазая жена, по типу украинка (должно быть, очень мила в венке, в плахте и вышитых рукавах), погибшая от пустячной операции в клинике знаменитого Бома (где, кстати, ее обворовали), еще драгоценная премированная пекинская собака, приобретенная за много сотен фунтов на собачьей выставке в Лондоне. Обслуживающий весь дом слуга Клименко—из бывших солдат белой армии.

Сам Владимир Пименович—человек примечательный: происходит из сибирских старообрядцев, богатый владелец многого недвижимого имущества в разных точках земного шара, вплоть до Гонолулу. Он несколько раз совершал кругосветное путешествие, о чем написал неплохую книгу «Богомолы в коробочке». Из России уехал, «когда рябчик в ресторане стал стоить 60 копеек вместо 40, что свидетельствовало о том, что в стране неблагополучно»,—таковы его собственные слова. В Петербурге был представителем автомобилей Форда. Участвовал в вышуске аристократического журнала «Столица и усадьба». У него хорошая библиотека. Он знает языки. Крепкий, волевой человек, с одним слабым местом: до безумия любит карты, азартен.

Внешне он, по выражению моей сестры, «похож на швейцарский сыр»: бледный, плоский, в очках с какими-то двояковышуклыми стеклами.

Все мои рассказы о нем, о том, например, как он учит лакея Клименко французскому языку, заинтересовали в свое время Михаила Афанасьевича Булгакова. Тип Крымова привлек писателя и породил (окарикатуренный, конечно) образ Корзухина в пьесе «Бег».

Я, безумица, как-то раз села играть с ним и его гостями в девятку (в первый раз в жизни!) и всех обыграла. Мне везло, как всегда везет новичкам. По

неопытности, прикупила к восьмерке, оказалось, туза. Все ахнули. Чудо в карточных анналах! Мне бы уйти от стола, как сделал бы опытный игрок, но я не ушла и все, конечно, проиграла плюс осталась должна. На другой день Крымов приехал на машине за карточным долгом.

Я не останавливаюсь сейчас на пьесе М. А. Булгакова «Бег», потому что считаю: первая часть этих воспоминаний — «Константинополь» — служит исчерпывающей канвой для творческой лаборатории писателя: толпа, краски, обстановка, метания русских беженцев — налицо весь «константинопольский зверинец», по горькому определению Аркадия Аверченко.

МАЯКОВСКИЙ

Приблизительно к этому же периоду относится и приезд Маяковского. Популярность его началась за несколько лет до этого — популярность скандала: «Желтая кофта» и «Бубновый валет». Для этого у французов существует образное выражение, которым пользовался весь мир: *épaté les boug*, по-русски, переводя в революционный жаргон, — «ошеломить буржуев». Что он и делал, раскрашивая лицо, выступая в желтой кофте и т. д.

Видела я его впервые в Берлине уже очищенным от всех этих штучек. Он выступал в каком-то зале — названья не помню. Показался мне очень большим и не очень интеллигентным. Читал он про Вудро Вильсона. «А Вудро-то Вильсон...» — говорил он и при этом пританцовывал.

Через несколько дней я увидела его в домашней обстановке, у сотрудника «Накануне» Шёнфельда (за правильность фамилии не ручаюсь). Маяковский был с Лилей Брик. Сам он играл в какую-то тихую карточную игру — может быть, винт или преферанс. Мы с Пумой были как-то не к месту — Василевский не картежник.

— Кто это? — спросила громким, на всю комнату голосом Брик, показывая без стеснения на меня, чем живо напомнила мне образ и поведение княгини Тугоуховской из «Гора от ума».

Потом, попозже, Маяковский сказал, обращаясь к Брик:

— Лисичка, нам пора домой...

Уехали и мы.

ХАНЕНКЛЕ

Ранняя весна 1923 года. Что-то я очень похудела, побледнела и присмирела. Василевский предложил мне поехать куда-нибудь на природу, подышать не городским, а вольным воздухом. Кто-то из обитателей пансиона рассказал о небольшом курорте в Харце и даже указал отель, в котором только что сам там отдыхал. Мы позвонили по телефону, и приятный женский голос сказал: «Приезжайте».

Д-цуг (D-Zug) — скорый поезд — быстро домчал меня до ближайшей к курорту станции, а уже автобус привез в Ханенкле.

Харц — или точнее Верхний Харц (Ober Harz) — сплошной хвойный лес, прорезанный небольшими горами, на которых попадаются старинные замки, такие, как, например, Вернигероде. Все живописно: висячие мосты, сторожевые башни, арки, донжоны. Полный простор средневековому воображению.

Там же, в Харце, и воспетая Гете гора Брокен, где собирается нечистая сила и происходит Вальпургиева ночь.

Как-то не вяжется дьявольская оргия с лесами Харца, такими ухоженными: все деревья пересчитаны и каждое (каждое!) опоясано особым составом от муравьев. Тут уж не до оргии!

Часто в отель заглядывает молодой лесничий. Он в хорошо сшитой зеленой форме, в шляпе с «помазком» — смешно торчащей кисточкой, какую носят в тирольских горах, а многих немцев можно встретить в подобной шляпе и на берлинских улицах.

С радостным чувством вспоминаю я Ханенкле: в первую очередь надо отдать должное гостеприимству хозяина отеля, болгарину Калевичу, женатому на немке.

Он красив, весел, непосредственен. Не успела я войти в отведенную мне комнату, как он пришел узнать, довольна ли я, и с балкона крикнул вниз мальчику-груму, выходящему к автобусу, чтобы подносить вещи приезжающих: «Снимай, снимай форму, уже можно — все приехали!» Я улыбнулась. Он с балкона: «Покрасовался, и будет!» Я засмеялась, засмеялся и мальчик внизу.

Я поняла, что попала туда, куда надо.

Первые два дня я осматривалась, наблюдала. Публики немного: какое-то высокомерное семейство — две дамы и высокий мужчина военного образца. Они держатся подчеркнуто обособленно.

Все встречаются в столовой, уютной большой комнате ресторанный типа, с хорошо сервированными

столиками. Здесь царит метрдотель, очень представительный мужчина, правая рука хозяина и его нянька. В этом мы не раз убедимся. На третий день он подошел ко мне и спросил, не соглашусь ли я принять участие в поездке в Клаусталь — там горная академия, известная всей стране.

Я, конечно, согласилась. Меня посадили в высокий экипаж, слегка напоминающий чичиковскую бричку, запряженную парой лошадей.

Горную академию, о которой с гордостью рассказывал Калевич (он здесь учился), не помню, но зато помню ресторан, где подавали вкусное пиво и «татарские бифштексы» — бутерброды с сырым, провернутым и здорово наперченным мясом. И с пивом получалось хорошо.

В прогулке приняла участие чета норвежцев. Он — пожилой морской капитан. Седой, розовый, добродушный, синеглазый, к тому же хороший танцор. Она — некрасивая, очень приятная женщина, несколько не мешающая ни нам, ни мужу, не нарушающая общего ансамбля. Еще Кэте. Хорошенькая, кокетливая девушка из Дюссельдорфа со своим возлюбленным, ничем не примечательным молодым человеком, как говорят, — с большими деньгами.

И еще Мейер, единственный сын прусского помещика. Мой кавалер за трапезным столом.

Наша семерка — это костяк. Остальные постепенно к нам то примыкают, то отпадают, смотря по тому, монтируются ли они с нашей компанией.

Жены Калевича не видно: она ожидает ребенка. Зато он обуян какой-то буйной жадной смехом и весельем.

Вот он (когда «чопорные» уходят спать) сдвигает два стола и прыгает через них. Предлагает сделать то же самое: «Ставлю шампанское!» — кричит он (это его любимое обращение). Сначала он хочет вовлечь возлюбленного Кэте, но тот не хочет «осрамиться» в ее глазах и отказывается. Из вежливости он предлагает прыгать капитану, но тот, улыбаясь, говорит: «Благодарю вас. Уже отпрыгал». Длинноногий Мейер соглашается и выигрывает шампанское.

Пьют за здоровье дам. Стреляет пробка второй бутылки, затем третьей. Танцуем. Расходимся очень поздно. Чтобы не беспокоить жену, хозяин ночует в холле на довольно коротком и неудобном диванчике. Метрдотель заботливо прикрывает его пледом и следит за тем, чтобы он — упаси Бог — не проспал момента, когда гости через холл будут спускаться на утренний завтрак в столовую. И так случилось не раз...

Начало апреля. Снег тает, и дивно пахнет весной. Горнолыжный сезон кончился, но инструктор еще числится при отеле. Он предлагает мне спуститься с горы на бобслее. И мы летим по талому снегу. Вернувшись, я призываю всех «для красоты» умыться последним снегом и напоследок поиграть в снежки...

Ближайший город—Гослар. Он только что отпраздновал свое тысячелетие. Едем туда. Идем по дворцу курфюрста. Здание дворца увенчано замысловатыми средневековыми часами в виде башни. Дверцы башни открываются, и из них каждый час выходят двенадцать апостолов.

Городок чистенький, как все немецкие города. В центре большой универмаг, его владелец—возлюбленный Кэте.

Соперничает с дворцом курфюрста знаменитая скульптура-барельеф «Буттерханне». Женщина, высоко подоткнув юбки, сбивает масло (14—15 век). В узкой улочке постоянно шныряют туристы, посещая «Буттерханне». Щелкают аппараты...

Приближается Пасха. День рождения Калевича совпадает с праздником. Хозяин ожидает большого съезда гостей. «Киндер,—говорит он.—Если наш король приедет в Германию, он непременно посетит Харц и остановится у меня». И, несмотря на раздавшийся смех, он совершенно серьезно продолжал уверять, что болгарский король обязательно остановится у него, Калевича, как делают все болгары, посещающие Германию.

Приблизительно недели за полторы до праздника он попросил меня съездить с ним в Гослар и помочь выбрать материю для занавесей в зал.

Опять Гослар с его двенадцатью апостолами и разухабистой бабенкой «Буттерханне»...

В день рождения Калевича первыми пришли поздравить его представители хорового объединения. Рослые пожилые немцы в жестких воротничках, с кадыками. Их посадили за длинный стол. Перед каждым поставили грандиозную традиционную старонемецкую кружку с пивом, и они начали петь, изредка возглашая: «Хох! Хох! Хох!»—и стуча кружками... Пели без перерыва час, потом еще пели и еще.

Внезапно в моей комнате появился хозяин торжества. О пришел передохнуть. Веселость его как рукой сняло. Он присел и сказал, вздохнув: «Они все еще поют!»

Снизу доносилось волнами размеренное однообразное хоровое пение, от которого хотелось убежать в хвойные леса Харца.

Калевич сказал, вторично вздохнув: «Ничего не поделаешь! Пойду к ним».

За несколько дней до торжества начался съезд гостей. К отелю то и дело подкатывали машины одна нарядней другой. К капитану приехала дочь, очень крупная, некрасивая в мать, спортивного типа девушка. Она привезла с собой двух миловидных норвежек, своих подружек. Наша покупка — занавеси — всем понравилась.

Произошел небольшой конфуз: к Кэте приехал неожиданно-негаданно ее помолвленный жених. Тут я впервые увидела ее разгневанной. Калевич как-то все утряс, утешая и возлюбленного и официально обрученного какими-то сентенциями вроде «перемелется — мука будет». Он то хлопал одного по плечу, то другого. Уж не знаю, чем еще он их улеживал, но Кэте перестала злиться, и двое соперников как-то усмирились.

Парадный обед сервировали в большом зале. Утром я нашла на своем столе подарки: большое пасхальное яйцо, конфеты, пепельницу, имитирующую мои ночные туфли, модную декоративную куклу Пьеро и еще какие-то милые пустяки. Кто-то предложил положить в пасхальное яйцо ящерицу (с тех пор я знаю, что по-болгарски она называется «невестулька»), но этот каверзный вариант быстро забраковали.

Самый парад ожидался вечером: приглашен оркестр и будут танцы.

Я вошла в зал чуть позже назначенного часа, и каково же было мое изумление, когда оркестр — как только я вступила в зал — грянул «Боже, царя храни!». Грянул, конечно, преувеличение: оркестр небольшой, интимный. Единственные русские ноты, которые оказались под рукой, — царский гимн. Это все выдумки Калевича. Норвежцам играли Грига во всех вариантах. Мой кавалер Мейер сидел сумной (хоршее слово: грустно-задумчивый).

Произошел и второй казус. Столкнулись два мировоззрения, две противоположные системы воспитания и демократических навыков. Когда начались танцы, молоденькие норвежки поочередно танцевали с шофером одного из приезжих гостей, статным, хорошо одетым молодым человеком. Но коренные немцы нашли, что это неуважительно по отношению к ним, и шипели сначала втихомолку. Я видела: Калевич волнуется, ожидая, что они устроят обструкцию и демонстративно поодиночке станут покидать зал. Слава Богу, этого не случилось. Инцидент разрядил все тот же Калевич. Он посоветовался с капитаном, и норвежки увели своего

кавалера гулять на время самого острого приступа негодования. Много лет спустя я вспомнила об этом происшествии, когда познакомилась в доме академика Тарле с норвежским послом и тот обмолвился такой фразой: «Единственная в Европе по-настоящему демократическая страна—это Норвегия». Невольно вспомнилась та давнишняя тревожная атмосфера в зале: сначала конфузливые перешептывания, потом нарастающее возмущение, ропот. А молодая, ничего не подозревающая пара самозабвенно танцует фокстрот: норвежка и «возмутитель нравов» немецкий шофер...

Наступил день отъезда. Не скрою, мне было грустно, грустно прощаться с симпатичными людьми, с уютным отелем, с балконом в моей комнате, с которого так широко видны лесистые холмы Харца.

Я побежала в канцелярию, чтобы проститься с вершащей всю бухгалтерию отеля фрау Зунд, образцом воспитанности и доброжелательности. Мы поцеловались.

Все, с кем я прощалась, звали меня приехать еще раз. Я обещала вернуться. Увы! Скоро мне вообще предстоит уйти, а в Ханенкле я так и не вернулась...

Спустя какое-то время мы с Пумой получили приглашение на бал (а вот кто его устраивал, убейте, не помню: не то болгары, живущие в Берлине, не то болгарское посольство, не то еще кто-то...). Но я сразу поняла, что инициатива приглашения исходит от Калевича. Пума облачился в смокинг. Я надела, впервые после Парижа, мое очень открытое черное платье, отделанное серебряным кружевом, бархатную шляпу с большими полями и длинные, выше локтя, белые лайковые перчатки. Так мы отправились «в свет».

Я с удовольствием вошла в ярко освещенный зал и потанцевала. Пума не умеет и не хочет уметь танцевать. Потом мы сидели и пили шампанское в обществе двух болгарок, сестер Чачевых, приглашенных к нашему столу Калевичем. Одна из них, старшая, была красива (в кино не снималась) и вторая, почти некрасивая, снималась много и была довольно популярна в Берлине.

Не прошло и трех недель, как раздался телефонный звонок. Вызывали меня. Я подошла. Взволнованный голос Калевича спросил, может ли он видеть меня сейчас же по важному делу. Я сказала: «Конечно».

И вот он у меня. Стоило только взглянуть на него, как сразу становилось ясно, что случилась какая-то большая беда.

— Что случилось? На вас лица нет...

— Мейер не Мейер, а Мюллер...

Я сразу не поняла, о ком речь.

— Какой Мейер?—спросила.

— Да наш, наш из Ханенкле.

Тогда Калевич рассказал всю историю. Мелкому служащему банка, по фамилии Мюллер, было поручено перевести тысячу долларов в марках. Он эту сумму присвоил, но успел истратить какие-то пустяки. Боясь возмездия, он бежал из Берлина и спрятался в отдаленном от центра маленьком курорте Ханенкле. Двинуться куда-нибудь дальше он не решался, опасаясь себя обнаружить. Но круг полицейских поисков неумолимо сужался и сужался. Наконец наступила развязка. Мюллер понял, что конец. Пытался кончить самоубийством, но неудачно.

Его увезли в Моабит, главную берлинскую тюрьму.

— Пропал, пропал парень,—твердил Калевич.— Вот я и приехал попытаться помочь ему. Ах, если б он сказал мне раньше, может быть, мы и придумали бы что-нибудь вместе...

Я рассказала всю историю Василевскому, и он написал фельетон в «Накануне», где доказывал, что поступок его неподсуден, ибо сумма, которую надо было перевести в марках, за это время возросла в десять раз. Таков парадокс инфляции. Я, конечно, не экономист, но мне кажется, что утверждение Василевского софистично: воровство остается воровством, хотя мне искренне жаль 23-летнего Мейера-Мюллера.

К сожалению, мне не довелось узнать, спас ли Калевич Мюллера от тюрьмы. Надеюсь, что спас...

Добрым словом надо помянуть Липмана. Это он пригласил меня на концерт итальянского певца Баттистини в зал берлинской филармонии.

Этот певец—чудо. Уже не молодой, плотный мужчина с резко обозначенным брюшком, выглядевший во фраке очень парадно. Но голос, голос... Он льется, льется... И кажется, что его никакая сила не сможет остановить—дыхания певца хватит на всю жизнь. Охватывает чувство радости, что ты слышишь такое и наперед знаешь, что никогда уже его не забудешь.

И вот второй концерт, на который я самостоятельно никогда бы не попала и даже не пыталась бы. Все тот же Липман повез меня на выступление всемирно знаменитого американского скрипача и композитора Фрица Крейсlera.

Он уже гастролировал изредка, жертвуя гонорар в чью-либо пользу.

Я сидела в первом ряду. Вышел сутуловатый немо-

лодой человек, как ни странно,—в пиджаке (!). Лицо его как-то замирало, постоянно меняло выражение: он явно по-молодому волновался... Казалось бы, это ему уже не к лицу с его баснословной славой. Но ничего не поделаешь,—волновался... Волнение его меня тронуло. Из его репертуара запомнились мне его собственные композиции, уже заигранные по всему миру,— «Радость любви» и «Муки любви» и вещь (чья, не знаю) под названием «Лотос», которую он исполнил просто вдохновенно. Как бы мне хотелось услышать ее еще раз, чтобы вспомнить, хотя так сыграть, как сам Крейслер, никто на свете, конечно, не сможет. Врать не буду: скрипку не люблю, а Крейсlera помню всю жизнь.

ДОМОЙ, ДОМОЙ...

Конец июля 1923 года. Алексей Николаевич Толстой со всем семейством уезжает в Россию. К нему присоединяются Василевский и Бобрищев-Пушкин. Я пока остаюсь в Берлине и жду известий от Пумы. Все они едут на пароходе от Штеттина до Петрограда. Я решила проводить Пуму и посадить его на пароход.

У пристани пароход «Шлезия». Он ничем внешне не примечателен. Но для меня всякий пароход, уходящий в далекое море, всегда заманчив и привлекателен.

На палубе сидит Бобрищев-Пушкин. Он, как всегда, выглядит заброшенным и неухоженным. Молчалив. Одинок. Не расстается со своим пледом. Глядя на него, у меня почему-то щемит сердце.

Алексей Николаевич озабочен, сосредоточен. Оно и понятно: семейство не малое — шесть душ: трое детей и трое взрослых. Наталья Васильевна только-только оправилась от очень мучительных родов. Виновник — младший сын Митя. Их еще двое: подросток Фефа, сын от Волькенштейна, и Никита, красивый мальчик лет шести-семи, сын Алексея Николаевича. При них бонна — Юлия Ивановна, или ласково — Юлинька.

Пума никаких особых наставлений мне не давал, а про себя сказал, что главная его цель — выбрать, где жить в дальнейшем — в Петрограде или в Москве. 1 августа 1923 года пароход «Шлезия» пришвартовался в Петрограде.

Сам Толстой в рукописном журнале «Чукоккала» называет первым днем своего приезда в Петроград — 4 июня 1923 года...

О, МЕД ВОСПОМИНАНИЙ...

О, мед воспоминаний...

Сергей Есенин

ЗНАКОМСТВО

Москва только что шумно отпраздновала встречу нового 1924 года. Была она в то время обильна разнообразной снедью, и червонец держался крепко... Из Берлина на родину вернулась группа «сменовеховцев». Некоторым из них захотелось познакомиться или повидаться с писателями и журналистами-москвичами. В пышном особняке в Денежном переулке был устроен вечер. Я присутствовала на этом вечере.

Вот трое,—они пришли вместе: Дмитрий Стонов, Юрий Слезкин и Михаил Булгаков. Только вспоминать о них надо не как о трех мушкетерах, а в отдельности. О первом я помню, что он писал рассказы и нередко печатался в те годы. А вот Юрий Слезкин. Неужели это тот самый, петербургско-петроградский любимец, об успехах которого у женщин ходили легенды? Ладный, темноволосый, с живыми черными глазами, с родинкой на щеке на погибель дамским сердцам... Вот только рот неприятный, жестокий, чуть лягушачий. Он автор нашумевшего романа «Ольга Орг». У героини углы рта были опущены «как перевернутый месяц», и девушки сходили с ума и делали кислую гримасу, стараясь подражать перевернутому месяцу. Роман был трагический, издавался много раз, начиная с 1914 года, и, если память меня не обманывает, по этому произведению был поставлен фильм «Опаленные (обожженные?) крылья». Балерина Коралли играла главную роль. Все рыдали.

Иногда Ю. Слезкин писал под псевдонимом Жорж Деларм. В 20-е годы вышло собрание его сочинений в 3-х томах. Романов там сколько хочешь: «Бабье лето», «Столовая гора», все та же «Ольга Орг», «Отречение» и много, много других.

А вот за Слезкиным стоял новый, начинающий писатель — Михаил Булгаков, печатавший в берлинском «Накануне» «Записки на манжетах» и фельетоны. Нельзя было не обратить внимания на необыкновенно свежий его язык, мастерский диалог и такой неназойливый юмор. Мне нравилось все, принадлежавшее его

перу и проходившее в «Накануне». В фельетоне «День нашей жизни» он мирно беседует со своей женой. Она говорит: «И почему в Москве такая масса ворон... Вон за границей голуби... В Италии...»

— Голуби тоже сволочь порядочная,— возражает он.

Прямо эпически-гоголевская фраза! Сразу чувствуется, что в жизни что-то не заладилось... Передо мной стоял человек лет 30—32-х; волосы светлые, гладко причесанные на косой пробор. Глаза голубые, черты лица неправильные, ноздри глубоко вырезаны; когда говорит, морщит лоб. Но лицо в общем привлекательное, лицо больших возможностей. Это значит—способное выражать самые разнообразные чувства. Я долго мучилась, прежде чем сообразила, на кого же все-таки походил Михаил Булгаков. И вдруг меня осенило—на Шалапина!

Одет он был в глухую черную толстовку без пояса, «распашонкой». Я не привыкла к такому мужскому силуэту; он показался мне слегка комичным, так же как и лакированные ботинки с ярко-желтым верхом, которые я сразу вслух окрестила «цыплячьими» и посмеялась. Когда мы познакомились ближе, он сказал мне не без горечи:

— Если бы нарядная и надушенная дама знала, с каким трудом достались мне эти ботинки, она бы не смеялась...

Я поняла, что он обидчив и легко раним. Другой не обратил бы внимания. На этом же вечере он подсел к роялю и стал напевать какой-то итальянский романс и наигрывать вальс из «Фауста»... А дальше?

Дальше была большая пауза в стране. Было всеобщее смятение. Была Москва в оцепенении, в растерянности: умер Ленин. Мороз был больше 30 градусов. На перекрестках костры. К Дому Союзов в молчании непрерывной лентой тянутся многотысячные очереди...

В моей личной жизни наступило смутное время: я расходилась с первым мужем и временно переехала к родственникам моим Тарновским. С Михаилом Афанасьевичем встретилась на улице, когда уже слегка пригревало солнце, но еще морозило. Он шел и чему-то своему улыбался. Я рассказала ему о перемене адреса и изменении в моей жизни.

Тарновские—это отец, Евгений Никитич, подомашнему Дей, впоследствии—профессор Персиков в «Роковых яйцах» (об этом подробнее я расскажу позже). Это был кладезь знаний. Он мог цитировать

Вольтера в подлиннике, мог сказать японскую танку — стихотворение в три строки — на японском языке. Я была так горда, когда в 16 лет от него выучилась: «Асагао ни пурубе тарарету марао мидзу». «Повилика обвила ведро моего колодца. Дайте мне воды», — вот перевод этих поэтических строк. Дей никогда не поучал и ничего вам не навязывал. Он просто по-настоящему очень много знал, и этого было вполне достаточно для его непререкаемого авторитета. Дей знал, как умер Аттила, он мог ответить на любой вопрос. Его дочь всегда удивляла преподавателей истории, приводя какие-то особые штрихи эпохи, о которых ни в учебниках, ни на уроках даже не упоминалось да и не могло упоминаться. Звали ее Надежда Евгеньевна, а в самом теснейшем кругу «Гадик». «Гад Иссахар за углом ест сахар» — так дразнили мы ее в ранней юности за то, что неудержимо любила она сладкое.

Вот в этот дом и припожаловал М. А. Пришел и стал бывать почти каждый день. Он сразу же завоевал симпатии Надюши, особенно когда начал меня «сватать».

Уже весна, такая желанная в городе! Тепло. Мы троим — Надя, М. А. и я — сидим во дворе под деревом. Он весел, улыбчив, ведет «сватовство».

— Гадик, — говорит он. — Вы подумайте только, что ожидает вас в случае благоприятного исхода...

— Лисий салоп? — в тон ему говорит она.

— Ну, насчет салопы мы еще посмотрим... А вот ботинки с ушками обеспечены.

— Маловато будто...

— А мы добавим галоши... — Оба смеются. Смеюсь и я. Но выходить замуж мне не хочется.

Подружился М. А. и с самим Тарновским. В скором времени они оба оживленно беседовали на самые различные темы и Дей полностью подпал под обаяние Булгакова.

— Здорово я их, обоих Тарновских, обработал! — скажет М. А. после с веселым смехом. (Когда он шутил, все всё ему прощали... «Ты как никто шутил», — говорит в своем стихотворении на смерть Булгакова Анна Ахматова.)

Мое пребывание у Тарновских подходило к концу: из длительной командировки возвращался муж Надюши, а комната у них была одна, разделенная занавеской, хоть и большая, да все же одна.

К сожалению, не сохранилось шутовское стихотворное послание, обращенное к Наде:

«О Гадик с глазами Онтарио!» — так начиналось оно,

и смысл его сводился к тому, чтобы лучше меня охранять, а то «лысые черти могут Любу украсть».

Все самые важные разговоры происходили у нас на Патриарших прудах. (М. А. жил близко, на Б. Садовой, в доме 10.) Одна особенно душевная беседа, в которой М. А.—наискрытнейший человек—был предельно откровенен, подкупила меня и изменила мои холостяцкие настроения.

Мы решили пожениться. Легко сказать—пожениться. А жить где? У М. А. был хоть кров над головой, а у меня и того не было. Тут подвернулся один случай: к Гадику пришла ее давнишняя знакомая, тоже Надежда, но значительно старше нашего возраста. Небольшая, с пламенно огненными волосами (конечно, крашеными), даже скорее миловидная, она многих отталкивала своими странностями. Она могла, например, снизу руками подпереть свой бюст и громогласно воскликнуть: «У меня хорошенькие грудки» или рассказать о каком-нибудь своем романе в неудержимо хвастливых и несдержанных тонах. Меня она скорее занимала; Надюша, гораздо добрее и снисходительнее меня, относилась к ней вполне терпимо, но М. А. невзлюбил ее сразу и бесповоротно. Он окрестил ее Мымрой. Когда мы поселились с ним в Обуховом переулке и она вздумала навещать нас, он сказал: «Если Мымра будет приходить, я буду уходить из дома...» К счастью, у нее наклюнулся какой-то сильно «завихренный» роман и ее визиты сами собой прекратились, но образ ее—в карикатурном виде, конечно,—отразился в повести «Собачье сердце».

* * *

Вот эта самая Надежда и предоставила нам временный приют. Жила она в Арбатском переулке в старинном деревянном особнячке. Ночевала я в комнате ее брата-студента, уехавшего на практику.

Как-то днем, когда Надежда ушла по делам, пришел оживленный М. А. и сказал, что мы будем вместе писать пьесу из французской жизни (я несколько лет прожила во Франции) и что у него уже есть название: «Белая глина». Я очень удивилась и спросила, что это такое—«белая глина», зачем она нужна и что из нее делают.

— Мопсов из нее делают,—смеясь, ответил он. Эту фразу потом говорило одно из действующих лиц пьесы.

Много позже, перечитывая чеховский «Вишневым

сад», я натолкнулся на рассказ Симеонова-Пищика о том, что англичане нашли у него в саду белую глину, заключили с ним арендный договор на разработку ее и дали ему задаток. Вот откуда пошло такое необычайное название! В результате я так и не узнала, что, кроме мопсов, из этой глины делают.

Зато сочиняли мы и очень веселились.

Схема пьесы была незамысловата. В большом и богатом имении вдовы Дюваль, которая живет там с 18-летней дочерью, обнаружена белая глина.

Эта новость волнует всех окрестных помещиков: никто толком не знает, что это за штука. Мосье Поль Ив, тоже вдовец, живущий неподалеку, бросается на разведку в поместье Дюваль и сразу же попадает под чары хозяйки.

И мать и дочь необыкновенно похожи друг на друга. Почти одинаковым туалетом они усугубляют еще это сходство: их забавляют постоянно возникающие недоумения на этой почве. В ошибку впадает мосье Ив, затем его сын Жан, студент, приехавший из Сорбонны на каникулы, и, наконец, инженер-геолог, эльзасец фон Трупп, приглашенный для исследования глины и тоже сразу бешено влюбившийся в мадам Дюваль. Он — классический тип ревнивца. С его приездом в доме начинается кутерьма. Он не расстается с револьвером.

— Проклятое сходство! — кричит он. — Я хочу застрелить мать, а целюсь в дочь...

Тут и объяснения, и погоня, и борьба, и угрозы самоубийства. Когда наконец обманом удается отнять у ревнивца револьвер, он оказывается незаряженным... В третьем действии все кончается общим благополучием. Тут мы применили принцип детской скороговорки: «Ях женился на Цип, Яхцидрах на Циппидрип...» Поль Ив женится на Дюваль-матери, его сын Жан — на Дюваль-дочери, а фон Трупп — на экономке мосье Ива мадам Мелани.

Мы мечтали увидеть «Белую глину» у Корша, в роли мосье Ива — Радина, а в роли фон Труппа — Топоркова.

Два готовых действия мы показали Александру Николаевичу Тихонову (Сереброву). Он со свойственной ему грубоватой откровенностью сказал:

— Ну, подумайте сами, ну кому нужна сейчас светская комедия?

Так третьего действия мы и не дописали!

¹ В архиве М. А. Булгакова в рукописном отделе Ленинской библиотеки следов этой пьесы, к сожалению, нет.

Вот и кончилось мое житье в комнате студента — брат Надежды (Мымры) возвращался с практики...

Потом мы зарегистрировались в каком-то отгалкивающем помещении ЗАГСа в Глазовском (ныне ул. Луначарского) переулке, что выходил на б. церковь Спаса на Могильцах.

Сестра М. А., Надежда Афанасьевна Земская, приняла нас в лоно своей семьи, а была она директором школы и жила на антресолях здания бывшей гимназии. Получился «терем-теремок». А в теремке жили: сама она, муж ее Андрей Михайлович Земский, их маленькая дочь Оля, его сестра Катя и сестра Н. А. Вера. Это уже пять человек. Ждали приезда из Киева младшей сестры Елены Булгаковой. Тут еще появились и мы.

К счастью, было лето и нас устроили в учительской на клеенчатом диване, с которого я ночью скатывалась, под портретом сурового Ушинского. Были там и другие портреты, но менее суровые, а потому они и не запомнились.

С кротостью удивительной, с завидным терпением — как будто так и надо и по-другому быть не может — принимала Надежда Афанасьевна всех своих родных. В ней особенно сильно было развито желание не растерять, объединить, укрепить булгаковскую семью.

Я никогда не видела столько филологов зараз в частном доме: сама Н. А., муж ее, сестра Елена и трое постоянных посетителей, один из которых — Михаил Васильевич Светлаев — стал вскоре мужем Елены Афанасьевны Булгаковой.

Природа оформила Булгаковых в светлых тонах — все голубоглазые, блондины (в мать), за исключением младшей, Елены. Она была сероглазая, с темно-русскими пышными волосами. Было что-то детски-милое в ее круглом, будто прочерченном циркулем лице.

Ближе всех из сестер М. А. был с Надеждой. Существовал между ними какой-то общий духовный настрой, и общение с ней для него было легче, чем с другими. Но сестра Елена тоже могла быть ему достойной партнершей по юмору. Помню, когда я подарила семейству Земских абажур, который сделала сама из цветистого ситца, Елена назвала мой подарок «смычкой города с деревней», что как нельзя лучше соответствовало злобе дня.

Муж Надежды Афанасьевны Андрей Михайлович смотрел очень снисходительно на то, как разрасталось его семейство. Это был выдержанный и деликатный человек...

Однажды мы с М. А. встретили на улице его

сслуживца по газете «Гудок»-журналиста Арона Эрлиха. Мужчины на минуту остановились поговорить. Я стояла в стороне и видела, как Эрлих, разговаривая, поглядывает на меня. Когда М. А. вернулся, я спросила его, что сказал Арон.

— Глупость он сказал,— полуулыбчиво-полусмущенно ответил он. Но я настояла, и он признался:—Одень в белое обезьяну, она тоже будет красивой... (Я была в белом костюме.) Мы с М. А. потом долго потешались над обезьяной...

Много лет спустя А. Эрлих выпустил книгу «Нас учила жизнь», где немало страниц посвящено М. А. Булгакову. Но лучше бы этих страниц не было! Автор все время отгораживается от памяти своего бывшего сослуживца и товарища и при этом волнуется: а вдруг кто-нибудь может подумать, что он, Эрлих, дружил с «плохим мальчиком». Поэтому он спешит сказать что-нибудь нелестное в адрес М. А. Булгакова, осуждая его манеру шутить: «Он иногда заставлял настораживаться перед самым уклоном своих шуток». Правда, не очень грамотно, но смысл ясен.

Как ни мило жили мы под крылышком Ушинского, а собственный кров был нам необходим. Я вспомнила, что много лет назад на Садово-Каретной стоял особняк, где справлялась свадьба моей старшей сестры. Это был красивый дом с колоннами, повернутый фасадом в тенистый сад, где мы с сыном хозяйки играли в прятки: было мне девять лет, а ему одиннадцать. Я была самая маленькая на свадьбе, но мне все же дали бокал шампанского, которое мне очень понравилось, и я все боялась, что взрослые спохватятся и у меня его отберут. Не знаю, что произвело на меня большее впечатление: хозяйка ли дома Варвара Васильевна (крестная мать моей сестры), такая красивая в своем серо-зеленом — под цвет глаз — платье или шампанское.

Теперь, в 1924 году, я решила направиться к ней и спросить, не поможет ли она нам в поисках пристанища. Дом я узнала сразу, но на нем висела вывеска какого-то учреждения, а сама Варвара Васильевна жила во дворе в деревянном флигеле. Вместо бывшей красавицы меня встретила пожилая женщина с черным монашеским платом на голове (она похоронила обоих сыновей). Она была очень приветлива, охотно повела меня через проходные дворы в какие-то трущобы и указала на одну из халуп, где шел ремонт. Надо было на другой день прийти сюда же на переговоры, но я не пошла. Правда, то, что нас ждало впереди, оказалось не лучше, но хоть район был приличный. В это время

нас познакомили с грустным-грустным человеком. Глаза у него были такие печальные, что я до сих пор их помню. Он-то и привел нас к арендатору в Обухов переулочек, д. 9, где мы и утвердились.

НА ГОЛУБЯТНЕ

Мы живем в покосившемся флигельке во дворе дома № 9 по Обухову, ныне Чистому переулочку. На соседнем доме № 7 сейчас красуется мемориальная доска: «Выдающийся русский композитор Сергей Иванович Танеев и видный ученый и общественный деятель Владимир Иванович Танеев в этом доме жили и работали». До чего же невзрачные жилища выбирали себе знаменитые люди!

Дом свой мы зовем голубятней. Это наш первый совместный очаг. Голубятне повезло: здесь написана пьеса «Дни Турбиных», фантастические повести «Роковые яйца» и «Собачье сердце» (кстати, посвященное мне). Но все это будет позже, а пока Михаил Афанасьевич работает фельетонистом в газете «Гудок». Он берет мой маленький чемодан, по прозванию «щенок» (мы любим прозвища), и уходит в редакцию. Домой в «щенке» приносит он читательские письма—частных лиц и рабкоров. Часто вечером мы их читаем вслух и отбираем наиболее интересные для фельетона. Невольно вспоминается один из случайных сюжетов. Как-то на строительстве понадобилась для забивки свай капрова баба. Требование направили в главную организацию, а оттуда—на удивление всем—в распоряжение старшего инженера прислали жену рабочего Капрова. Это вместо капровой-то бабы!

И еще в памяти встает подхваченный где-то в газетном мире, а вернее придуманный самим М. А. образ Ферапонта Бубенчикова—эдакого хвастливого развязного парня, которому все нипочем и о котором с лукавой усмешкой говорил М. А. в третьем лице: «Знайте Ферапонта Бубенчикова» или «Нам ни к чему,—сказал Ферапонт», «Не таков Ферапонт Бубенчиков...»

Спустя много лет я случайно натолкнулась на № 15 юмористической библиотеки «Смеяч» (1926 г.). Там напечатаны «Золотые корреспонденции Ферапонта Ферапонтовича Капорцева». Значит, стойко держался Ферапонт в голове Булгакова-журналиста. Да это и немудрено: увлекался он в 20-е годы небольшой примечательной книжкой—«Венедиктов или Достопамятные собы-

тия жизни моей. Романтическая повесть, написанная ботаником X, иллюстрированная фитопатологом Y». Москва, V год Республики.

В повести упоминается книголюб Ферাপонтов, и это имя полюбилось, как видим, Булгакову.

Об этой повести я буду говорить позже.

Целая плеяда писателей вышла из стен «Гудка» (уж такая ему удача!). Там работали Михаил Булгаков, Юрий Олеша—тогда еще только фельетонист в стихах на злобу дня «Зубило»,—Валентин Катаев и позже брат его Евгений Петров... Трогательно вспоминает это время Олеша: «Одно из самых дорогих для меня воспоминаний моей жизни—это моя работа в «Гудке». Тут соединилось все: и моя молодость, и молодость моей советской Родины, и молодость нашей прессы, нашей журналистики...»

Значительно позже, на каком-то празднестве «Гудка» Юрий Олеша прочел свою эпиграмму, посвященную Михаилу Булгакову:

Тогда, со всеми одинаков,
Пером заржавленным звеня,
Был обработчиком Булгаков,
Что стал сегодня злобой дня...

Писал Михаил Афанасьевич быстро, как-то залпом. Вот что он сам рассказывает по этому поводу: «...сочинение фельетона строк в семьдесят пять—сто отнимало у меня, включая сюда и курение и посвистывание, от восемнадцати до двадцати двух минут. Переписка его на машинке, включая сюда и хихиканье с машинисткой,—восемь минут. Словом, в полчаса все заканчивалось».

Недавно я перечитала более ста фельетонов Булгакова, напечатанных в «Гудке». Подписывался он по-разному: иногда полным именем и фамилией, иногда просто одной буквой М или именем Михаил, иной раз инициалами или: ЭМ, Эмма Б., Эм. Бе., М. Олл-Райт и пр. Несмотря на разные псевдонимы, узнать его «почерк» все же можно. Как бы сам Булгаков ни подсмеивался над своей работой фельетониста, она в его творчестве сыграла известную роль, сослужив службу трамплина для перехода к серьезной писательской деятельности. Сюжетная хватка, легкость диалога, выдумка, юмор—все тут.

На предыдущей странице я сказала, что мы любили прозвища. Как-то М. А. вспомнил детское стихотворение, в котором говорилось, что у хитрой злой орангутанхи было три сына: Мика, Мака и Микуха. И добавил:

Мака—это я. Удивительнее всего, что это прозвище—с его же легкой руки—очень быстро привилось. Уже никто из друзей не называл его иначе, а самый близкий его друг Коля Лямин говорил ласково «Макин». Сам М. А. часто подписывался Мак или Мака. Я тоже иногда буду называть его так.

Мы живем на втором этаже. Весь верх разделен на три отсека: два по фасаду, один в стороне. Посередине коридор, в углу коридора—плита. На ней готовят, она же обогревает нашу комнату. В одной клетушке живет Анна Александровна, пожилая, когда-то красивая женщина. В браке титулованная, девичья фамилия ее старинная, воспетая Пушкиным. Она вдова. Это совершенно выбитое из колеи, беспомощное существо, к тому же страдающее астмой. Она живет с дочкой: двоих мальчиков разобрали добрые люди. В другой клетушке обитает простая женщина, Марья Власьевна. Она торгует кофе и пирожками на Сухаревке. Обе женщины люто ненавидят друг друга. Мы—буфер между двумя враждующими государствами. Утром, пока Марья Власьевна водружает на шею сложное металлическое сооружение (чтобы не остывали кофе и пирожки), из отсека А. А. слышится не без трагической интонации:

— У меня опять пропала серебряная ложка!

— А ты клади на место, вот ничего пропадать и не будет,—уже на ходу басом говорит М. В.

Мы молчим. Я жалею Анну Александровну, но люблю больше Марию Власьевну. Она умнее и сердечнее. Потом мне нравится, что у нее под руками все спорится. Иногда дочь ее Татьяна, живущая поблизости, подкидывает своего четырехлетнего сына Витьку. Бабка обожает этого довольно противного мальчишку. М. А. любит детей и умеет с ними ладить, особенно с мальчиками. Здесь стоит вспомнить маленькую новеллу «Псалом», ошибочно в наши дни датированную 1926 годом. Не надо быть очень литературно прозорливым, чтобы заметить, что это более ранние годы—23 или начало 24-го. В 1926 году М. А. таким стилем уже не писал (спешу уточнить: «Псалом» был напечатан в «Накануне» в 1923 г., г. Берлин, 23 сентября).

Когда плаксивые вопли Витьки чересчур надоедают, мы берем его к себе в комнату и сажаем на ножную скамеечку. Здесь я обычно пасую, и Витька переходит целиком на руки М. А., который показывает ему фокусы. Как сейчас слышу его голос: «Вот коробочка на столе. Вот коробочка перед тобой... Раз! Два! Три! Где коробочка?»

Вспомню начало булгаковского наброска с натуры:

Вечер. Кран: кап... кап... кап...

Витька (скулит). Марья Власьевна...

М. В. л. Сейчас, сейчас, батюшка. Сейчас иду, Иисус Христос...

Ее дочь Татьяна — русская красавица. Русоволосая, синеглазая, статная. Героиня кольцовских стихов и гурилевских песен. М. А. говорит, что на нее приятно смотреть.

Внизу по фасаду живет человек с черной бородой и невидимым семейством. Под праздники они все залиvisto поют деревенские песни. Когда возвращаются домой, в окно виден медный начищенный самовар, увешанный баранками.

Под ними обитает молодой милиционер. Изредка он поколачивает свою жену — «учит», по выражению Марьи Власьевны, — и тогда она ложится в сених и плачет. Я было сунулась к ней с утешениями, но М. А. сказал: «Вот и влетит тебе, Любаша. Ни одно доброе дело не остается ненаказанным». Хитрый взгляд голубых глаз в мою сторону и добавление: «Как говорят англичане».

У всех обитателей голубятни свои гости: у М. Влас. — Татьяна с Витькой, изредка зять — залихватский парикмахер, живущий вполпьяна. Чаще всего к Анне Александровне под окно приходит ветхая, лет под 80 старушка. Кажется, дунет ветер — и улетит бывшая титулованная красавица-графиня. Она в черной шляпе с большими полями (может быть, поля держат ее в равновесии на земле?). Весной шляпу украшает пучок фиалок, зимой на полях расплывается горностаи. Старушка тихо говорит, глядя в окно голубятни: «L'Impératrice vous salue» и громко по-русски: «Императрица вам кланяется». Из окон нижнего этажа высовываются любопытные головы... Что пригрезилось ей, старой фрейлине, о чем думает она, пока дочь ее бегаёт с утра до позднего вечера, давая уроки французского языка?

— Укроти старушку, — сказал мне М. А. — Говорю для ее же пользы...

Наши частые гости — Николай Николаевич Лямин и его жена, художница Наталья Абрамовна Ушакова. На протяжении всех восьми с лишним лет моего замужества за М. А. эти двое были наиболее близкими друзьями. Я еще не раз вернусь к их именам.

Бывал у нас нередко и киевский приятель М. А., друг булгаковской семьи, хирург Николай Леонидович

Глодыревский. Он работал в клинике профессора Мартынова и, возвращаясь к себе, по пути заходил к нам. М. А. всегда с удовольствием беседовал с ним. Вспоминаю, что, описывая в повести «Собачье сердце» операцию, М. А. за некоторыми хирургическими уточнениями обращался к нему. Он же, Николай Леонидович Глодыревский, показал Маку профессору Алексею Васильевичу Мартынову, а тот положил его к себе в клинику и сделал операцию по поводу аппендицита. Все это было решено как-то очень быстро.

Мне разрешили пройти к М. А. сразу же после операции. Он был такой жалкий, такой взмокший цыпленок... Потом я носила ему еду, но он был все время раздражен, потому что голоден: в смысле пищи его ограничивали. Это не то, что теперь,—котлету дают чуть ли не на второй день после операции. В эти же дни вышла детская книжка Софьи Федорченко. Там было сказано о тигре: «Всегда не сытый, на весь мир сердитый». В точности мой Мака...

Позже, зимой, Глодыревский возил нас к проф. Мартынову на музыкальный вечер. К стыду своему, не помню—был ли это квартет или трио в исполнении самих врачей.

Не знаю, каким врачом был М. А., «лекарь с отличием», как он называет себя в своей автобиографии, но профессия врача, не говоря уже о более глубоком воздействии, очень помогала ему в описаниях, связанных с медициной. Вот главы «Цветной завиток» и «Персиков поймал» («Роковые яйца», изд. альманах «Недра», М., 1925).

Профессор Персиков работает в лаборатории, и руки его необыкновенно умело обращаются с микроскопом. Это получается от того, что руки самого автора *умеют* по-настоящему обращаться с микроскопом. И так же в сцене операции («Собачье сердце») автор *знает* и автор *умеет*. Кстати, читатель всегда чувствует и ценит эту осведомленность писателя.

Проблеме творческого гения человека, могуществу познания, торжеству интеллекта—вот чему посвящены залпом написанные фантастические повести «Роковые яйца» (1924 г., октябрь) и «Собачье сердце» (1925 г.), а позже пьеса «Адам и Ева» (1931 г.).

В первой повести—представитель науки зоолог профессор Персиков открывает неведомый до него луч, стимулирующий размножение, рост и необыкновенную жизнестойкость живых организмов.

«...Будем говорить прямо: вы открыли что-то не-

слыханное,— заявляет ученому его ассистент... Профессор Персиков, вы открыли луч жизни!.. Владимир Ипатьевич, герои Уэллса по сравнению с вами просто вздор...» («Роковые яйца»)

И не вина Персикова, что по ошибке невежд и бюрократов произошла катастрофа, повлекшая за собой неисчислимое количество жертв, гибель изобретения и самого изобретателя.

Описывая наружность и некоторые повадки профессора Персикова, М. А. отталкивался от образа живого человека, родственника моего, Евгения Никитича Тарновского, о котором я написала в главе 1-й. Он тоже был профессором, но в области, далекой от зоологии: он был статистик-криминалист. Что касается его общей эрудиции, она была необыкновенна и, конечно, не могла не произвести впечатления на такого жадно воспринимающего все, творчески любознательного человека, каким был М. А.

«Ему (профессору Персикову.—Л. Б.) было ровно 58 лет. Голова замечательная, толкачом, лысая, с пучками желтоватых волос, торчащими по бокам. Лицо гладкое выбритое, нижняя губа выпячена вперед. От этого персиковское лицо вечно носило на себе несколько капризный отпечаток. На красном носу старомодные маленькие очки в серебряной оправе, глазки блестящие, небольшие, росту высокого, сутуловат. Говорил скрипучим, тонким, квакающим голосом и среди других странностей имел такую: когда говорил что-либо веско и уверенно, указательный палец правой руки превращал в крючок и щурил глазки. А так как он говорил всегда уверенно, ибо эрудиция в его области у него была совершенно феноменальная, то крючок очень часто появлялся перед глазами собеседников профессора Персикова... Читал профессор на 4 языках, кроме русского, а по-французски и немецки говорил, как по-русски» («Роковые яйца»).

Ученый в новеи «Собачье сердце» — профессор-хирург Филипп Филиппович Преображенский, прообразом которому послужил дядя М. А. — Николай Михайлович Покровский, родной брат матери писателя, Варвары Михайловны, так трогательно названной «Светлой королевой» в романе «Белая гвардия».

Николай Михайлович Покровский, врач-гинеколог, в прошлом ассистент знаменитого профессора В. Ф. Снегирева, жил на углу Пречистенки и Обухова переулка, за несколько домов от нашей голубятни. Брат его, врач-терапевт, милейший Михаил Михайлович, холостяк, жил тут же. В этой же квартире нашли приют в

две племянницы. Один из братьев М. А. (Николай) был тоже врачом.

Вот на личности младшего брата, Николая, мне и хочется остановиться. Сердцу моему всегда был мил благородный и уютный человек Николка Турбин (особенно по роману «Белая гвардия». В пьесе «Дни Турбиных» он гораздо более схематичен.). В жизни мне Николая Афанасьевича Булгакова увидеть так и не довелось. Это младший представитель облюбванной в булгаковской семье профессии — доктор медицины, бактериолог, ученый и исследователь, умерший в Париже в 1966 году. Он учился в Загребском университете и там же был оставлен при кафедре бактериологии. Совместно с хорватом доктором Сертичем они осуществили несколько научных работ, на которые обратил внимание парижский ученый профессор д'Эрелль, открывший в 1917 году бактериофаг.

Организовав в Париже свой собственный институт по изучению и производству бактериофага для лечебных целей, д'Эрелль пригласил к себе молодых ученых из Загреба.

Н. А. Булгаков занимался не только непосредственно бактериофагом, но и всеми научными аппаратами, схемы которых сам придумывал и рисовал.

В одной из своих книг профессор д'Эрелль рассказывает, как он прислал из Лондона в Париж культуры стрептококков с поручением найти разрушающий их бактериофаг. Через две недели поручение было выполнено. «Для того чтобы сделать подобную работу, — пишет д'Эрелль, — нужно было быть Булгаковым с его способностями и точностью его методики».

В 1936 году профессор д'Эрелль послал вместо себя в Мексику для организации преподавания бактериологии Николая Афанасьевича Булгакова, который справился с этой задачей, учредив там бактериологическую лабораторию. Спустя полгода он уже читал лекции на испанском языке. Во время немецкой оккупации Франции Н. А., югославский подданный, был отправлен как заложник в лагерь около Компьена. Там он работал врачом и проявил себя необыкновенно добрым человеком, откликаясь на всякую беду. Так говорят близко знавшие его.

По окончании войны специальная американская комиссия, заинтересованная в ввозе бактериофага в США, приехала в Париж для осмотра лаборатории. Н. А. Булгаков показал американцам не только свою богатую коллекцию живых микробов, но также и

работу машин, стерильно наполняющих и запаивающих ампулы бактериофага. Вопрос о ввозе этого препарата в США был решен положительно...

Иногда я представляю себе, какой радостной могла бы быть встреча братьев! Вот они идут по берегу Сены—старший и младший—и говорят, говорят без конца... Побывать в Париже было всегда вожаделенной мечтой писателя Булгакова, поклонника и знатока Мольера. Не случайно на книге первой романа «Дни Турбиных» (под таким названием парижское издательство «Конкорд» выпустило «Белую гвардию» в 1927 г.) написано: «Жене моей дорогой Любаше экземпляр, напечатанный в моем недостижимом городе. 3 июля 1928 г.». В том же году М. А. сделал мне трогательную надпись на сборнике «Дьяволиада»: «Моему другу, светлому парню Любочке, а также и Муке. М. Булгаков, 27 марта 1928 г., Москва». Мука—это кошка, о которой я буду упоминать еще не раз...

Но вернемся к Филиппу Филипповичу Преображенскому или к Николаю Михайловичу Покровскому. Он отличался вспльчивым и непокладистым характером, что дало повод пошутить одной из племянниц: «На дядю Колю не угодишь, он говорит: не смей рожать и не смей делать аборт». Оба брата Покровских пользовались всех своих многочисленных родственников.

На Николаю зимнего все собирались за именинным столом, где, по выражению М. А., «восседал как некий бог Саваоф» сам именинник. Жена его, Мария Силовна, ставила на стол пироги. В одном из них запекался серебряный гривенник. Нашедший его считался особо удачливым, и за его здоровье пили. Бог Саваоф любил рассказывать незамысловатый анекдот, исказив его до неузнаваемости, чем вызывал смех молодой веселой компании.

Так и не узнал до самой смерти Николай Михайлович Покровский, что послужил прообразом гениального хирурга Филиппа Филипповича Преображенского, превратившего собаку в человека, сделав ей операцию на головном мозгу. Но ученый ошибся: он не учел законов наследственности и, пересаживая собаке гипофиз умершего человека, привил ей все пороки покойного: склонность ко лжи, к воровству, грубость, алкоголизм, потенциальную склонность к убийству. Из хорошего пса получился дрянной человек! И тогда хирург решается превратить созданного им человека опять в собаку. Сцену операции—операции, труднейшей за всю его практику, по заявлению самого Преображенского,—нельзя читать без волнения.

«...Затем оба заволновались, как убийцы, которые спешат.

— Нож! — крикнул Филипп Филиппович.

Нож вскочил к нему в руки как бы сам собой, после чего лицо Филиппа Филипповича стало страшным. Он оскалил фарфоровые и золотые коронки и одним приемом навел на лбу Шарика красный венец. Кожу с бритыми волосами откинули, как скальп, обнажили костяной череп. Филипп Филиппович крикнул:

— Трепан!

Борменталь подал ему блестящий коловорот. Кусая губы, Филипп Филиппович начал втыкать коловорот и высверливать в черепе Шарика маленькие дырочки в сантиметре расстояния одна от другой так, что они шли кругом всего черепа. На каждую он тратил не более пяти секунд. Потом пилой невиданного фасона, всунув ее хвост в первую дырочку, начал пилить, как выпиливают дамский рукодельный ящик. Череп тихо визжал и трясся. Минуты через три крышку черепа с Шарика сняли.

Тогда обнажился купол Шарикового мозга — серый с синеватыми прожилками и красноватыми пятнами. Филипп Филиппович въелся ножницами в оболочки и их вскрыл. Один раз ударил тонкий фонтан крови, чуть не попал в глаза профессору и окропил его колпак. Борменталь с торзионным пинцетом, как тигр, бросился зажимать и зажал. Пот с Борменталья полз потоками, и лицо его стало мясистым и разноцветным. Глаза его метались от рук профессора к тарелке на инструментальном столе. Филипп же Филиппович стал положительно страшен. Сипение вырывалось из его носа, зубы открылись до десен. Он ободрал оболочки с мозга и пошел куда-то вглубь, выдвигая из вскрытой чаши полушария мозга. В это время Борменталь начал бледнеть, одной рукой охватил грудь Шарика и хриловато сказал:

— Пульс резко падает...

Филипп Филиппович зверски оглянулся на него, что-то промышчал и врезался еще глубже. Борменталь с хрустом сломал стеклянную ампулку, насосал из нее шприц и коварно кольнул Шарика где-то у сердца.

— Иду к турецкому седлу, — зарычал Филипп Филиппович и окровавленными скользкими перчатками выдвинул серо-желтый мозг Шарика из головы. На мгновение он скосил глаза на морду Шарика, и Борменталь тотчас сломал вторую ампулу с желтой жидкостью и вытянул ее в длинный шприц.

— В сердце? — робко спросил он.

— Что вы еще спрашиваете? — злобно заревел профессор, — все равно он уже 5 раз у вас умер! Колите! Разве мыслимо? — Лицо у него при этом стало, как у вдохновенного разбойника.

Доктор с размаху легко всадил иглу в сердце пса.

— Живет, но еле-еле, — робко прошептал он.

— Некогда рассуждать тут — живет не живет, — засипел страшный Филипп Филиппович, — я в седле. Все равно помрет... ах ты, че... К берегам священным Нила... Придаток давайте.

Борменталь подал ему скляночку, в которой болтался на нитке в жидкости белый комочек. Одной рукой — «Не имеет равных в Европе... ей-богу!» — смутно подумал Борменталь, — он выхватил болтающийся комочек, а другой ножницами выстриг такой же в глубине где-то между распыленными полушариями. Шариков комочек он выпвырнул на тарелку, а новый заложил в мозг вместе с ниткой и своими короткими пальцами, ставшими точно чудом тонкими и гибкими, ухитрился янтарной нитью его там замотать. После этого он выбросил из головы какие-то распялки, пинцет, мозг упрятал назад в костяную чашу, откинулся и уже поспокойнее спросил:

— Умер, конечно?..

— Нитевидный пульс, — ответил Борменталь.

— Еще адреналину.

Профессор оболочками забросал мозг, отпиленную крышку приложил, как по мерке, скальп надвинул и взревел:

— Шейте!

Борменталь минут в пять зашил голову, сломав три иглы.

И вот на подушке появилась на окрашенной кровью фоне безжизненная потухшая морда Шарика с кольцевой раной на голове. Тут же Филипп Филиппович отвалился окончательно, как сытый вампир, сорвал одну перчатку, выбросив из нее облако потной пудры, другую разорвал, швырнул на пол и позвонил, нажав кнопку на стене. Зина появилась на пороге, отвернувшись, чтобы не видеть Шарика в крови. Жрец снял меловыми руками окровавленный куколь и крикнул:

— Папиросу мне сейчас же, Зина. Все свежее белье в ванну.

Он подбородком лег на край стола, двумя пальцами раздвинул правое веко пса, заглянул в явно умирающий глаз и молвил:

— Вот, черт возьми. Не издох. Ну, все равно

издохнет. Эх, доктор Борменталь, жаль пса, ласковый был, хотя и хитрый».

Третий гениальный изобретатель — профессор химии, академик Ефросимов в фантастической пьесе «Адам и Ева» (1931 г.).

Позже я более подробно остановлюсь на этом произведении М. А.

Напечатав «Роковые яйца» в издательстве «Недра», главный его редактор Николай Семенович Ангарский (Клёстов) хотел напечатать и «Собачье сердце». Я не знаю, какие инстанции, кроме внутренних редакционных, проходила эта повесть, но время шло, а с опубликованием ее ничего не выходило. Как-то на голубятне появился Ангарский и рассказал, что он много хлопочет в высоких инстанциях о напечатании «Собачьего сердца», да вот что-то не получается. Мы очень оценили эти слова: в них чувствовалось искренняя заинтересованность.

По правде говоря, я слегка побаивалась этого высокого человека с рыжей мефистофельской бородкой: уж очень много говорилось тогда о его нетерпимости и резком характере. Как-то, смеясь, М. А. рассказал анекдот о Н. С. Ангарском. В редакцию пришел автор с рукописью.

Н. С. ему еще издали:

— Героиня Нина? Не надо!..

Но вот после одного вечера, когда собрались сотрудники редакции (помню Бориса Леонтьевича Леонтьева, Наталью Павловну Витман и милого человека секретаря редакции Петра Никоноровича Зайцева), мне довелось поговорить с Ангарским о литературе, и по немногим его словам я поняла, как он знает ее и любит *настоящей* — не конъюнктурной — любовью. С этого вечера я перестала его побаиваться и по сию пору с благодарностью вспоминаю его расположение к М. А., которое можно объяснить все той же любовью к русской литературе.

Как-то Н. С., его жена, очень симпатичная женщина-врач, и трое детей на большой открытой машине заехали за нами, чтобы направиться в лес за грибами. Приехали в леса близ Звенигорода. Дети с корзинкой побежали на опушку и вернулись с маслятами. Н. С. сказал: «Это не грибы!» и все выкинул к великому разочарованию ребят. Надо было видеть их вытянутые мордочки!

Мы украдкой переглянулись с М. А. и оба вспомнили «героиню Нину» и много раз потом вспоминали крутой нрав Николая Семеновича, проявлявшийся, надо

думать, не в одних грибах... Погиб он, как я слышала, в сталинское лихолетье.

Приблизительно в то же время мы познакомились с Викентием Викентьевичем Вересаевым. Он тоже очень доброжелательно относился к Булгакову. И если направленность их творчества была совершенно различна, то общность переживаний, связанных с их первоначальной профессией врача, не могла не роднить их. Стоит только прочесть «Записки врача» Вересаева и «Рассказы юного врача» Булгакова.

Мы бывали у Вересаевых не раз. Я прекрасно помню его жену Марию Гермогеновну, которая умела улыбаться как-то особенно светло. Вспоминается длинный стол. Среди гостей бросается в глаза красивая седая голова и контрастные черные брови известного пушкиниста профессора Мстислава Александровича Цявловского, рядом с которым сидит, прильнувши к его плечу, женственная жена его, Татьяна Григорьевна Зенгер, тоже пушкинистка. Помню, как Викентий Викентьевич сказал: «Стоит только взглянуть на портрет Дантеса, как сразу станет ясно, что это внешность настоящего дегенерата!»

Я было открыла рот, чтобы, справедливости ради, сказать вслух, что Дантес очень красив, как под суровым взглядом М. А. прикусила язык.

Мне нравился Вересаев. Было что-то добротное во всем его облике старого врача и революционера. И если впоследствии (так мне говорили) между ними пробежала черная кошка, то об этом можно только пожалеть...

Делаю отступление: передо мной журнал «Вопросы литературы» (№ 3, 1965), где опубликована переписка Булгакова и Вересаева по поводу совместного авторства (пьеса «Пушкин» «Последние дни»), переписка, проливающая свет на «черную кошку». Сначала была договоренность: пушкинист Вересаев — источник всех сведений, консультант. Булгаков — драматург, т.е. лицо, претворяющее эти сведения в сценическую форму. Что же происходило на самом деле? Вначале все шло как будто бы благополучно, но вот своеобразный, необычный подход Булгакова к драматургическому образу Пушкина начинает понемногу раздражать Вересаева, и ему как писателю границы консультанта начинают казаться уже слишком узкими. Он невольно, и подчас довольно резко, вторгается в область драматурга, но наталкивается на яростное сопротивление Булгакова. Особым яблоком раздора послужил образ Дантеса.

Тон писем обоих писателей сдержанно-раздраженный, и, думается мне, горьковатый осадок остал-

ся у обоих. В конечном итоге М. А. «отбился» от нападков Викентия Викентьевича: его талант драматурга, знание и чувство сцены дали ему преимущество в полемике.

Последнее короткое письмо Вересаева датировано 12 марта 1939 года, т.е. за год до смерти М. А. Не знаю, видел ли на сцене «Пушкина» Вересаев, но Булгаков до премьеры не дожил.

Обращаюсь опять к прерванному рассказу. Время шло, и над повестью «Собачье сердце» сгущались тучи, о которых мы и не подозревали.

«В один прекрасный вечер»,—так начинаются все рассказы,—в один прекрасный вечер на голубятню постучали (звонка у нас не было) и на мой вопрос «кто там?» бодрый голос арендатора ответил: «Это я, гостей к вам привел!»

На пороге стояли двое штатских: человек в пенсне и просто невысокого роста человек—следователь Славкин и его помощник с обыском. Арендатор пришел в качестве понятого. Булгакова не было дома, и я забеспокоилась: как-то примет он приход «гостей», и попросила не приступать к обыску без хозяина, который вот-вот должен прийти.

Все прошли в комнату и сели. Арендатор, развалился в кресле, в центре. Личность его была примечательная, на язык несдержанная, особенно после рюмки-другой... Молчание. Но длилось оно, к сожалению, недолго.

— А вы не слышали анекдота,—начал арендатор... («Пронеси, господи!»—подумала я.)

— Стоит еврей на Лубянской площади, а прохожий его спрашивает: «Не знаете ли вы, где тут Госстрах?»

— Госстрах не знаю, а госужас вот...

Раскатисто смеется сам рассказчик. Я бледно улыбаюсь. Славкин и его помощник безмолвствуют. Опять молчание—и вдруг знакомый стук.

Я бросилась открывать и сказала шепотом М. А.:

— Ты не волнуйся, Мама, у нас обыск.

Но он держался молодцом (дергаться он начал значительно позже). Славкин занялся книжными полками. «Пенсне» стало переворачивать кресла и колоть их длинной спицей.

И тут случилось неожиданное. М. А. сказал:

— Ну, Любаша, если твои кресла выстрелят, я не отвечаю. (Кресла были куплены мной на складе бесхозной мебели по 3 р. 50 коп. за штуку.)

И на нас обоих напал смех. Может быть, и нервный.

Под утро зевающий арендатор спросил:

— А почему бы вам, товарищи, не перенести ваши операции на дневные часы?

Ему никто не ответил... Найдя на полке «Собачье сердце» и дневниковые записи, «гости» тотчас же уехали.

По настоянию Горького, приблизительно через два года «Собачье сердце» было возвращено автору...

Однажды на голубятне появилось двое — оба высоких, оба очень разных. Один из них молодой, другой значительно старше. У молодого брюнета были темные «дремучие» глаза, острые черты и высокомерное выражение лица. Держался он сутуловато (так обычно держатся слабогрудые, склонные к туберкулезу люди). Трудно было определить их национальность: грузин, еврей, румын — а может быть, венгр? Второй был одет в мундир тогдашних лет — в толстовку — и походил на умного инженера.

Оба оказались из Вахтанговского театра. Помоложе — актер Василий Васильевич Куза (впоследствии погибший в бомбежку в первые дни войны); постарше — режиссер Алексей Дмитриевич Попов. Они предложили М. А. написать комедию для театра.

Позже, просматривая как-то отдел происшествий в вечерней «Красной газете» (тогда существовал такой), М. А. натолкнулся на заметку о том, как милиция раскрыла карточный притон, действующий под видом пошивочной мастерской в квартире некой Зои Буяльской. Так возникла отправная идея комедии «Зойкина квартира». Все остальное в пьесе — интрига, типы, ситуация — чистая фантазия автора, в которой с большим блеском проявились его талант и органическое чувство сцены. Пьеса была поставлена режиссером Алексеем Дмитриевичем Поповым 28 октября 1926 года.

Декорации писал недавно умерший художник Сергей Петрович Исаков. Надо отдать справедливость актерам — играли они с большим подъемом. Конечно, на фоне положительных персонажей, которыми была перенасыщена советская сцена тех лет, играть отрицательных было очень увлекательно (у порока, как известно, больше сценических красок!). Отрицательными здесь были все: Зойка, деловая, разбитная хозяйка квартиры, под маркой швейной мастерской открывшая дом свиданий (Ц. Л. Мансурова), кузен ее Аметистов, обаятельный авантюрист и веселый человек, случайно прибывший к легкому Зойкиному хлебу (Рубен Симон). Он будто с трамплина взлетал и садился верхом на пианино, выдумывал целый каскад трюков, смешивших публику; дворянин Обольянинов, Зойкин возлюбленный, белая ворона среди нэпманской накипи, но

безнадежно увязший в этой порочной среде (А. Козловский), председатель домкома Аллилуйя, «Око недреманное», пьяница и взяточник (Б. Захава).

Хороши были китайцы (Толчанов и Горюнов), убившие и ограбившие богатого нэпмана Гуся. Не отставала от них в выразительности и горничная (В. Попова), простонародный говорок которой как нельзя лучше подходил к этому образу. Конечно, всех их в финале разоблачают представители МУРа.

Вот уж подлинно можно сказать, что в этой пьесе «голубых» ролей не было! Она пользовалась большим успехом и шла два с лишним года. Положив руку на сердце, не могу понять, в чем ее криминал, почему ее запретили.

Вспоминается кроме актерской игры необыкновенно удачно воссозданный городской шум, врывающийся в широко раскрытое окно квартиры, а попутно на память приходит и небольшой, слегка комический штрих.

Несколько первых публичных репетиций Мансурова играла почти без грима, но затем режиссер А. Д. Попов потребовал изменить ее внешность. Был наклеен нос (к немалому огорчению актрисы). Хотя это и звучит смешно, но нос «уточкой» как-то углубил комедийность образа. По-видимому, такого результата и добивался режиссер. «Думая сейчас о том, почему спектакль подвергся такой жестокой критике,—пишет в своей книге «Вся жизнь» режиссер и актриса МХАТа М. Кнебель,—я прихожу к убеждению, что одной из причин этого был самый жанр, вернее — непривычность его». Это один ее довод, а вот второй: актриса Вахтанговского театра А. А. Орочко своей игрой переключила отрицательный образ (Алла) на положительное звучание. И сделала это так выразительно, что способствовала будто бы этим снятию пьесы. Это, конечно, неверно. Я, например, да и многие мои друзья, Орочко в этой роли вообще не помню. Впоследствии А. Д. Попов от своей постановки «Зойкиной квартиры» отрекся. «Отречение режиссера — дань времени», — говорит М. Кнебель. Она не договаривает: дань времени — это остракизм, пока еще не полный, которому подвергнется творчество Михаила Афанасьевича Булгакова.

ЧТЕНИЕ У ЛЯМИНЫХ

К 1925 году относится знакомство М. А., а затем и длительная дружба с Николаем Николаевичем Ляминам. Вот сборник «Дьяволиада» (Недра, 1925 г.) с трогательной надписью: «Настоящему моему лучшему

другу Николаю Николаевичу Лямину. Михаил Булгаков, 1925 г., 18 июля, Москва». Познакомились они у писателя Сергея Сергеевича Заяицкого, где Булгаков читал отрывки из «Белой гвардии». В дальнейшем все или почти все, что было им написано, он читал у Ляминых (у Николая Николаевича и жены его художницы Наталии Абрамовны Ушаковой): «Белую гвардию» (в отрывках), «Роковые яйца», «Собачье сердце», «Зойкину квартиру», «Багровый остров», «Мольера», «Консультанта с копытом», легшего в основу романа «Мастер и Маргарита».

Мне он сказал перед первым чтением, что слушать его будут люди «высокой квалификации» (я еще не была вхожа в этот дом). Такое выражение, совершенно не свойственное М. А., заставило меня особенно внимательно приглядываться к слушателям.

Помню остроумного и веселого Сергея Сергеевича Заяицкого; красивого с диковатыми глазами Михаила Михайловича Морозова, известного шекспироведа; громогласного Федора Александровича Петровского, филолога-античника, преподавателя римской литературы в МГУ; Сергея Васильевича Шервинского, поэта и переводчика; режиссера и переводчика Владимира Эмилевича Морица и его обаятельную жену Александру Сергеевну. Бывали там искусствоведы Андрей Александрович Губер, Борис Валентинович Шапошников, Александр Георгиевич Габричевский, позже член-корреспондент Академии архитектуры; писатель Владимир Николаевич Владимиров (Долгорукий), переводчик и наш «придворный» поэт; Николай Николаевич Волков, философ и художник; Всеволод Михайлович Авилов, сын писательницы Лидии Авиловой (о которой так восторженно отзывался в своих воспоминаниях И. А. Бунин). По просьбе аудитории В. М. Авилов неизменно читал детские стихи про лягушечку.

Вспоминается мне и некрасивое, чисто русское, даже простоватое, но бесконечно милое лицо Анны Ильиничны Толстой. Один писатель в своих «Литературных воспоминаниях» (и видел-то он ее всего один раз!) отдал дань шаблону: раз внучка Льва Толстого, значит ВЫСОКИЙ лоб; раз графиня, значит МАЛЕНЬКИЕ аристократические руки. Как раз все наоборот: лоб низкий, руки большие, мужские, но красивой формы. М. А. говорил о ее внешности — «вылитый дедушка, не хватает только бороды». Иногда Анна Ильинична приезжала с гитарой. Много слышала я разных исполнительниц романсов и старинных песен,

но так, как пела наша Ануша,—никто не пел! Я теперь всегда выключаю радио, когда звучит, например, «Калитка» в современном исполнении. Мне делается неловко. А. И. пела очень просто, но как будто голосом ласкала слова. Получалось как-то особенно задушевно. Но это и немудрено: в толстовском доме любили песню. До 16 лет Анна Ильинична жила в Ясной. Любил ее пение и Лев Николаевич. Особенно полюбилась ему песня «Весна идет, манит, зовет»,—так мне рассказывала Анна Ильинична, с которой я очень дружила. Рядом с ней ее муж: логик, философ, литературовед Павел Сергеевич Попов, впоследствии подружившийся с М. А. Иногда ей аккомпанировал Николай Петрович Шереметьев (симпатичный человек), иногда художник Сергей Сергеевич Топленинов, а чаще она сама перебирала струны. Когда она была маленькой и ее спрашивали: «Кем ты хочешь быть, когда вырастешь?», она отвечала: «Лошадью или певицей».

Так же просто пел Иван Михайлович Москвин, но все равно, у А. И. получалось лучше.

Помню, как Михаил Афанасьевич повез меня в первый раз познакомиться к Анне Ильиничне Толстой и к мужу ее Павлу Сергеевичу Попову. Жили они тогда в Плотниковом переулке, № 10, на Арбате, в подвальчике, впоследствии воспетом в романе «Мастер и Маргарита». Уж не знаю, чем так приглянулся подвальчик Булгакову. Одна комната в два окна была, правда, пригляднее, чем другая, узкая как кишка...

В коридоре лежал, раскинув лапы, щенок-боксер Григорий Потапыч. Он был пьян.

— Я выставила в коридор крющон: там холоднее,—сказала хозяйка.—А он налакался.

В столовой сидел красивый молодой человек и добродушно улыбался. Это друг семьи—Петя Туркестанов. Были в этот вечер и Лямины. Тогда я еще не предчувствовала, что на долгие годы подружусь с Анной Ильиничной Толстой и так больно переживу ее смерть...

Вспоминается жадно и много курящая писательница Наталия Алексеевна Венкстерн и друг юности Н. Н. Лямина известный знаток Шекспира М. М. Морозов, человек, красивый какой-то дикой тревожной красотой.

Бывали у Ляминых и актеры: Иван Михайлович Москвин, Виктор Яковлевич Станицын, Михаил Михайлович Яншин, Цецилия Львовна Мансурова и Елена Дмитриевна Понсова.

Слушали внимательно, юмор схватывали на лету. Читал М. А. блестяще: выразительно, но без актерской аффектации, к смешным местам подводил слушателей без нажима, почти серьезно — только глаза смеялись...

КОКТЕБЕЛЬ — КРЫМ

Наступало лето, а куда ехать — неизвестно. В воздухе прямо носилось слово «Коктебель»: многие говорили о том, что поэт Максимилиан Волошин совершенно безвозмездно предоставил все свое владение в Коктебеле в пользование писателей. Мы купили путеводитель по Крыму д-ра Саркисова-Серазини. О Коктебеле было сказано, что природа там крайне бедная, унылая. Прогулки совершать некуда. Даже за цветами любители ходят за много километров. Неприятность от пребывания в Коктебеле усугубляется еще тем, что здесь дуют постоянные ветры. Они действуют на психику угнетающе, и лица с неустойчивой нервной системой возвращаются после поездки в Коктебель еще с более расстроенными нервами. Цитирую вольно, но в основном правдиво.

Мы с М. А. посмеялись над беспристрастностью д-ра Саркисова-Серазини, и, несмотря на «напутствие» друга Коли Лямина, который говорил: «Ну, куда вы едете? Крым — это сплошная пошлость. Одни кипарисы чего стоят!», мы решили: едем все-таки к Волошину. В поэзии это звучало так:

Дверь отперта. Переступи порог.
Мой дом раскрыт навстречу всех дорог.
(М. Волошин. *Дом поэта*. 1926 г.)

В прозе же выглядело более буднично и деловито: «Прислуги нет. Воду носить самим. Совсем не курорт. Свободное дружеское сожитие, где каждый, кто придется «ко двору», становится полноправным членом. Для этого же требуется: радостное приятие жизни, любовь к людям и внесение своей доли интеллектуальной жизни» (Из частного письма М. Волошина, 24 мая 1924 г.).

И вот через Феодосию — к конечной цели.

В отдалении от моря — селение. На самом берегу — дом поэта Волошина.

Еще с детства за какую-то клеточку мозга зацепился на всю жизнь образ юноши поэта Ленского: «Всегда восторженная речь и кудри черные до плеч». А тут перед вами стоял могучий человек, с брюшком, в

светлой длинной подпоясанной рубахе, в штанах до колен, широкий в плечах, с широким лицом, с мускулистыми ногами, обутыми в сандалии. Да и бородатое лицо его было широколобое, широконосое. Грива рыхлых с проседью волос перевязана на лбу ремешком,— и похож он был на доброго льва с небольшими умными глазами. Казалось, он должен заговорить мощным зычным басом, но говорил он негромко и чрезвычайно интеллигентным голосом (он и стихи так читал— без нажима, сдержанно, хотя писатель И. А. Бунин в своих воспоминаниях, кстати сказать, недоброжелательных по тону, говорит, что Волошин, читая свои стихи... «делал лицо олимпийца, громовержца и начинал мощно и томно завывать. Кончив, сразу сбрасывал с себя эту грозную и важную маску...»). (Скажу попутно: ничего деланного, нарочитого, наблюдая ежедневно Максимилиана Александровича в течение месяца, мы не заметили. Наоборот, он казался естественно-гармоничным, несмотря на свою экстравагантную внешность.)

В тени его монументальной фигуры поодаль стояла небольшая женщина в тюбетейке на стриженных волосах— тогда стриженная женщина была редкостью. Всем своим видом напоминала она курсистку начала века с Бестужевских курсов. Она приветливо нам улыбнулась. Это— Мария Степановна, жена Максимилиана Волошина.

За основным зданием, домом поэта, в глубине стоит двухэтажный дом, а ближе— тип татарской сакли— домик без фундамента, давший приют только что женившемуся Леониду Леонову и его тоненькой как тростиночка жене, которая мило пришепetyвает, говорит «черефня» вместо черешня, да и сам Леонид Максимович не очень-то дружит с шипящими. Нам с М. А. это нравится, и мы между собой иногда так разговариваем.

Нас поселили в нижнем этаже дальнего двухэтажного дома. Наш сосед— поэт Георгий Аркадьевич Шенгели, а позже появилась и соседка, его жена, тоже поэтесса, Нина Леонтьевна, если память меня не подводит. Очень симпатичная женственная особа.

Приехала художница Анна Петровна Остроумова-Лебедева со своим мужем Сергеем Васильевичем Лебедевым, впоследствии прославившим свое имя как ученого-химика созданием синтетического каучука. Необыкновенно милая пара. Она— маленькая, некрасивая, но обаятельная; он— стройный красивый человек. Всем своим обращением, манерами они подтверждают истину— чем значительней внутренний багаж человека, тем

добрее, шире, снисходительней он по отношению к другим людям (на протяжении всей жизни эта истина не обманула меня ни разу).

Если сказать правду, Коктебель нам не понравился. Мы огляделись: не только пошлых кипарисов, но вообще никаких деревьев не было, если не считать чахлых, раскачиваемых ветром насаждений возле самого дома Макса. Это питомцы покойной матери поэта Елены Оттобальдовны (в семейном быту называемой «Пра»). Какую радость испытала бы она, доведись ей увидеть густой парк, ныне окружающий дом. Когда я смотрю на современную фотографию дома поэта, уютного в зелени, меня не оставляет мысль о чуде.

Итак, мы огляделись: никаких ярких красок, все рыжевато-сероватое. «Первозданная красота», по выражению Максимилиана Александровича. Как он любил этот уголок Крыма! А ведь немало побродил он по земле, немало красоты видел он и дома и за границей. Вот он у себя в мастерской, окна которой выходят на самое море (и подумать только — никогда никакой пыли).

Он читает стихи.

Старинным золотом и желчью напшал
Вечерний свет холмы. Зардели, красны, буры,
Клоки косматых трав, как пряди рыжей шкуры.
В огне кустарники, и воды, как металл.

(Из цикла «Киммерийские сумерки»)

Мы слушаем. Мы — это Анна Петровна Остроумова-Лебедева, Дора Кармен, мать теперь известного киноработника, Ольга Федоровна Головина, я и еще кто-то, кого не помню. Но ни Леонова, ни Шенгели, ни Софьи Захаровны Федорченко, ни М. А. на этих чтениях я не видела.

Этим я напоминаю о том, что жадного тяготения к поэзии у М. А. не было, хотя он прекрасно понимал, что хорошо, а что плохо, и сам мог при случае прибегнуть к стихотворной форме. Помню как-то, сидя у Лямыных, М. А. взял книжечку одного современного поэта и прочел стихотворение сначала как положено — сверху вниз, а потом снизу вверх. И получился почти один и тот же смысл.

— Видишь, Коля, вот и выходит, что этот поэт вовсе и не поэт, — сказал он...

...Просыпаясь в Коктебеле рано, я неизменно пугалась, что пасмурно и будет плохая погода, но это с моря надвигался туман. Часам к десяти пелена рассеивалась и наступал безоблачный день. Длинный летний день...

Конечно, мы, как и все, заболели типичной для Коктебеля «каменной болезнью». Собирали камешки в карманы, в носовые платки, считая их по красоте «венцом творенья», потом вытряхивали свою добычу перед Максом, а он говорил, добродушно улыбаясь:

— Самые вульгарные собаки!

Был «низший класс» — собаки, повыше — лягушки и высший — сердолики.

Ходили на Карадаг. Впереди необыкновенно легко шел Максимилиан Александрович. Мы все пыхтели и обливались потом, а Макс шагал как ни в чем не бывало, и жара была ему нипочем. Когда я выразила удивление, он объяснил мне, что в юности ходил с караваном по Средней Азии.

Карадаг — потухший вулкан.

...Из недр изверженным порывом,
Трагическим и горделивым,
Взметнулись вихри древних сил...

Такие строки у Волошина.

Зрелище величественное, волнующее. Застывшая лава в кратере — да ведь это же химеры Парижской Нотр-Дам. Как сладко потянуло в эту живописную бездну!

— Вот это и есть головокружение, — объяснил мне М. А., отодвигая меня от края.

Он не очень-то любил дальние прогулки. Кроме Карадага мы все больше ходили по берегу, изредка, по мере надобности, купаясь. Но самое развлекательное занятие была ловля бабочек. Мария Степановна снабдила нас сачками.

Вот мы взбираемся на ближайшие холмы — и начинается потеха. М. А. загорел розовым загаром светлых блондинов. Глаза его кажутся особенно голубыми от яркого света и от голубой шапочки, выданной ему все той же Марией Степановной.

Он кричит:

— Держи! Лови! Летит «сатир»!

Я взмахиваю сачком, но не тут-то было: на сухой траве здорово скользко и к тому же покато. Ползу куда-то вниз. Вижу, как на животе сползает М. А. в другую сторону. Мы оба хохочем. А «сатиры» беззаботно порхают себе вокруг нас.

Впоследствии сестра М. А. Надежда Афанасьевна рассказала, что когда-то, в студенческие годы, бабочки были увлечением ее брата, и в свое время коллекция их была подарена Киевскому университету...

Уморившись, мы идем купаться. В самый жар все

прячутся по комнатам. Ведь деревьев нет, а значит, и тени нет. У нас в комнате не жарко, пахнет полынью от влажного веника, которым я мету свое жильё.

Как-то Анна Петровна Остроумова-Лебедева выразила желание написать акварельный портрет М. А.

Он позирует ей в той же шапочке с голубой оторочкой, на которой нашиты коктебельские камешки. Помнится, портрет тогда мне нравился.

В 1968 году мне довелось увидеть его после перерыва в несколько десятилетий, и я удивилась, как мог он мне так нравиться! Не раз во время сеансов Анна Петровна—хорошая рассказчица—вспоминала поэта Брюсова. Он говорил ей о том, что, изучая оккультные науки, он приоткрыл завесу потустороннего мира и проник в его глубины. Но горе непосвященным, возвещал он, кто без подготовки дерзнет посягнуть на эти глубины... Признаюсь, я не без придыхания слушала Анну Петровну. М. А. помалкивал. А вот сегодня, в 1968 году, я держу в руках книгу Эренбурга «Люди, годы, жизнь» и читаю: «Окруженный поэтами, охваченными мистическими настроениями, он (Брюсов.— Д. Б.) начал изучать «оккультные науки», знал все особенности инкубов и суккубов, заклинания, средневековую ворожбу». И те далекие беседы во время сеансов обретают иную окраску и иное звучание. Невольно вспоминается брюсовский «Огненный ангел»...

Из женского населения волошинского дома первую скрипку играла Наталья Алексеевна Габричевская. Внешность ее броская: кожа гладкая, загорелая, цвет лица прекрасный, глаза большие, выпуклые, брови выписанные. На голове яркая повязка. Любит напевать пикантные песенки—я слышу иногда взрыв мужского смеха из окон нижнего этажа, где живут Габричевские. К женщинам иного плана она относится с легким презрением, называя их, как меня, например, «дамочкой с цветочками». Раз только и ненадолго мы с ней объединились: на татарский праздник (байрам, рамазан?), уж не помню, в Верхних или Нижних Отузах, надев на себя татарское платье, мы вместе плясали хайтарму (и плясали плохо)... Было бы просто несправедливо, вспоминая Наталью Алексеевну тех лет, не перекинуть мостика в современность.

Недавно (в марте 1968 года) я побывала на выставке ее картин. Как это ни звучит странно, но уже в пожилом возрасте у нее «прорезался» талант художника.

Я смело могу сказать это ответственное слово, потому что рисунки ее действительно талантливы—

остро сатирические, написанные в стиле декоративного примитива. Больше всего мне понравился портрет маслом актера Румнева. Он изображен в розовой рубашке и круглой соломенной шляпе, поля которой не поместились в рамке изображения. От того ли, что шляпа напомнила солнечный диск, от того ли, что на картине нет ни одного теневого мазка, мной овладело ощущение горячего летнего дня.

Муж ее, Александр Георгиевич, искусствовед и поклонник красоты, мог воспеть архитектонику какой-нибудь крымской серой колючки, восхищенно поворачивая ее во все стороны и грассируя при этом с чисто французским изяществом.

В Музее изобразительных искусств им. Пушкина, в зале французской живописи, стоит мраморная скульптура Родена — грандиозная мужская голова с обильной шевелюрой. Это бюст Георгия Норбертовича Габричевского, врача, одного из основоположников русской микробиологии.

Габричевский-сын совсем не походил на мраморный портрет своего отца. Он был лысоват и рыхловат, несмотря на молодой еще возраст — было ему в ту пору года 32—33.

С этой парой мы уже встречались у Ляминых.

Жили мы все в общем мирно. Если не было особенно дружеских связей, то не было и взаимного подкусывания. Чета Волошиных держалась с большим тактом: со всеми ровно и дружелюбно.

Как-то Максимилиан Александрович подошел к М. А. и сказал, что с ним хочет познакомиться писатель Александр Грин, живший тогда в Феодосии, и появится он в Коктебеле в такой-то день. И вот пришел бронзово-загорелый, сильный, немолодой уже человек в белом кителе, в белой фуражке, похожий на капитана большого речного парохода. Глаза у него были темные, невеселые, похожие на глаза Маяковского, да и тяжелыми чертами лица напоминал он поэта. С ним пришла очень привлекательная вальяжная русая женщина в светлом кружевном шарфе. Грин представил ее как жену. Разговор, насколько я помню, не очень-то клеился. Я заметила за М. А. ясно проступавшую в те времена черту: он значительно легче и свободней чувствовал себя в беседе с женщинами. Я с любопытством разглядывала загорелого «капитана» и думала: вот истинно нет пророка в своем отечестве. Передо мной писатель-колдун, творчество которого напоено ароматом далеких фантастических стран. Явление вообще в нашей «оседлой» литературе заманчивое и редкое,

а истинного признания и удачи ему в те годы не было. Мы пошли проводить эту пару. Они уходили рано, т. к. шли пешком. На прощание Александр Степанович улыбнулся своей хорошей улыбкой и пригласил к себе в гости:

— Мы вас вкусными пирогами угостим!

И вальяжная подтвердила:

— Обязательно угостим!

Но так мы и уехали, не повидав вторично Грина (о чем я жалею до сих пор). Если бы писательница Софья Захаровна Федорченко — женщина любопытная — не была больна, она, возможно, проявила бы какой-то интерес к посещению Грина. Но она болела, лежала в своей комнате, капризничала и мучила своего самоотверженного мужа Николая Петровича.

Не выказали особой заинтересованности и другие обитатели дома Волошина.

На нашем коктебельском горизонте еще мелькнула красивая голова Юрия Слезкина. Мелькнула и скрылась...

Яд волошинской любви к Коктебелю постепенно и незаметно начал отравлять меня. Я уже находила прелесть в рыжих холмах и с удовольствием слушала стихи Макса:

...Моей мечтой с тех пор напоены
Предгорий героические сны
И Коктебеля каменная грива;
Его польнь хмельна моей тоской,
Мой стих поет в волнах его прилива,
И на скале, замкнувшей зыбь залива,
Судьбой и ветрами изваян профиль мой.
(«Коктебель»)

Но М. А. оставался непоколебимо стойким в своем нерасположении к Крыму. Передо мной его письмо, написанное спустя пять лет, где он пишет: «Крым, как всегда, противенький...» И все-таки за восемь с лишним лет совместной жизни мы три раза ездили в Крым: в Коктебель, в Мисхор, в Судак, а попутно заглядывали в Алупку, Феодосию, Ялту, Севастополь... Дни летели, и надо было уезжать.

Снова Феодосия.

До отхода парохода мы пошли в музей Айвазовского, и оба очень удивились, обнаружив, что он был таким прекрасным портретистом... М. А. сказал, что надо, во избежание морской болезни, плотно поесть. Мы прошли в столовую парохода. Еще у причала его уже начало покачивать. Вошла молодая женщина с грудным ребенком, села за соседний столик. Потом

внезапно побелела, ткнула запеленутого младенца в глубь дивана и, пошатываясь, направилась к двери.

— Начинается,— зловещим голосом сказал М. А.

Прозвучал отходной гудок. Мы вышли на палубу.

За бортом горбами ходили серые волны. Дождило. М. А. сказал:

— Если качка носовая, надо смотреть вот в эту точку. А если бортовая— надо смотреть вот туда.

— О, да ты морской волк! С тобой не пропадешь,— сказала я и побежала по пароходу. Много народу уже полегло. Я чувствовала себя прекрасно и поступила в распоряжение помощника капитана, упитанного, розового, с сияющим прыщом на лбу. Он кричал:

— Желтенькая! (Я была в желтом платье.) Сюда воды! Желтенькая, скорее!

И так далее.

Было и смешное. Пожилая женщина лежала на полу на самом ходу. Помощник капитана взял ее под мышки, а я за ноги, чтобы освободить проход. Женщина открыла мутные глаза и сказала с мольбой:

— Не бросайте меня в море...

— Не бросим, мамаша, не бросим!— успокоил ее пом.

Я пошла проведать своего «морского волка». Он сидел там, где я его оставила.

— Макочка,— сказала я ласково, опираясь на его плечо.— Смотри, смотри! Мы проезжаем Карадаг!

Он повернул ко мне несчастное лицо и произнес каким-то утробным голосом:

— Не облакачивайся, а то меня тошнит!

Эта фраза с некоторым вариантом впоследствии перешла в уста Ларисика в «Днях Турбинных»:

— Не целуйтесь, а то меня тошнит.

Когда мы подошли к Ялте, она была вся в огнях— очень красивая,— и, странное дело, сразу же устроились в гостинице, не мыкались, разыскивая пристанище на ночь— два рубля с койки— у тети Даши или тети Паши, как это практикуется сейчас.

А на утро в Севастополь. С билетами тоже не маялись— взял носильщик. Полюбовались видом порта, городом, посмеялись на вокзале, где в буфете рекламировался «ягодичный квас»...

Позже в «Вечерней Красной газете» (1925 г.) появилась серия крымских фельетонов М. А. Булгакова.

А еще позже был отголосок крымской жизни, когда у нас на голубятне возникла дама в большой черной шляпе, украшенной коктебельскими камнями. Они своей тяжестью клонили голову дамы то направо, то

налево, но она держалась молодцом, выправляя равновесие.

Посетительница передала привет от Максимилиана Александровича и его акварели в подарок. На одной из них бисерным почерком Волошина было написано: «Первому, кто запечатлел душу русской усобицы»...

Посетила нас и сестра М. А. Варвара, изображенная им в романе «Белая гвардия» (Елена), а оттуда перекочевавшая в пьесу «Дни Турбиных». Это была миловидная женщина с тяжелой нижней челюстью. Держалась она как разгневанная принцесса: она обиделась за своего мужа, обвиняемого в отрицательном виде в романе под фамилией Тальберг. Не сказав со мной и двух слов, она уехала. М. А. был смущен...

Вспоминаю одну из первых «оплеух» (потом их было без счета). В одном из своих писаний Виктор Шкловский выразился так: «В Гамбурге — Булгаков у ковра»¹. Поясню для тех, кто не знаком с этим выражением. Оно означает, что на арене «у ковра» представление ведет, развлекая публику, клоун.

Я никогда не забуду, как дрогнуло и побледнело лицо М. А. Выпад Шкловского тем более непонятен, что за несколько дней перед этим он обратился к Булгакову за врачебной консультацией. Конечно, полного иммунитета от оплеух и укулов выработать в себе было нельзя, но покрыться более толстой кожей, «продубиться» было просто необходимо, как покажет сама жизнь.

Между тем работа над пьесой «Дни Турбиных» шла своим чередом. Этот период в жизни Михаила Афанасьевича можно назвать зарей его общения с Художественным театром. И конечно, нельзя было предвидеть, что через какие-нибудь десять лет светлый роман с театром превратится в «Театральный роман». Был М. А. в то время упоен театром. И если Глинка говорил: «Музыка — душа моя!», то Булгаков мог сказать: «Театр — душа моя!»

Помню, призадумался он, когда К. С. Станиславский посоветовал слить воедино образы полковника Най-Турса и Алексея Турбина для более сильного художественного воздействия. Автору было жаль расставаться с Най-Турсом, но он понял, что Станиславский прав.

На моей памяти постановка «Дней Турбиных» подвергалась не раз изменениям. Я помню на сцене первоначальный вариант с картиной у гайдамаков в

¹ Гамбургский счет. Л., Изд-во писателей, 1928, с. 5.

штабе 1-й конной дивизии Болботуна. Сначала у рампы дезертир с отмороженными ногами, затем сапожник с корзиной своего товара, а потом пожилой еврей. Допрос ведет сотник Галаньба, подтянутый, вылощенный хладнокровный убийца (Малолетков—хорош). Сапожника играл—и очень хорошо—Блинников, еврея также хорошо—Раевский. Сотник Галаньба убивает его. Сцена страшная. На этой генеральной репетиции я сидела рядом с К. С. Станиславским. Он повернул ко мне свою серебряную голову и сказал: «Эту сцену мерзавцы сняли» (так неественно отозвался он о Главреперткоме). Я ответила хрипло: «Да» (у меня от волнения пропал голос). В таком виде картина больше не шла. На этой же генеральной была включена сцена у управдома Лисовича—«у Василисы». Василису играл Тарханов, жену его Ванду—Анастасия Зуева. Два стяжателя прятали свои ценности в тайник, а за ними наблюдали бандиты, которые их и обокрали и обчистили. Несмотря на великолепную игру, сцена была признана инородной, выпадающей из ткани пьесы, утяжеляющей спектакль, и Станиславским была снята.

Москвичи знают, каким успехом пользовалась пьеса. Знакомая наша присутствовала на спектакле, когда произошел характерный случай.

Шло 3-е действие «Дней Турбиных»... Батальон разгромлен. Город взят гайдамаками. Момент напряженный. В окне турбинского дома зарево. Елена с Лариосиком ждут. И вдруг слабый стук... Оба прислушиваются... Неожиданно из публики взволнованный женский голос: «Да открывайте же! Это свои!» Вот это слияние театра с жизнью, о котором только могут мечтать драматург, актер и режиссер.

МАЛЫЙ ЛЕВШИНСКИЙ, 4

Мы переехали. У нас две маленьких комнатки—но две!—и, хотя вход общий, дверь к нам все же на отшибе. Дом—обыкновенный московский особнячок, каких в городе тысячи тысяч: в них когда-то жили и принимали гостей хозяева, а в глубину или на антресоли отправляли детей: кто побогаче—с гувернантками, кто победней—с няньками. Вот мы и поселились там, где обитали с няньками.

Спали мы в синей комнате, жили—в желтой. Тогда было увлечение: стены красили клеевой краской в эти цвета, как в 40—50-е годы прошлого века.

Кухня была общая, без газа: на столах гудели

примусы, мигали керосинки. Домик был вместительный и набит до отказа. Кто только здесь не жил! Чета студентов, наборщик, инженер, служащие, домашние хозяйки, портниха и разнообразные дети. Особенно много — или так казалось — было их в семье инженера, теща которого, почтенная и культурная женщина, была родственницей Василия Андреевича Жуковского по линии его любимой племянницы Мойер, о чем она дала нам прочесть исследование.

Особенностью кухни была сизая кошка, которая вихрем проносилась к форточке, не забывая куснуть попутно за икры стоявшего у примуса...

Окно в желтой комнате было широкое. Я давно мечтала об итальянском окне. Вскоре на подоконнике появился ящик, а в ящике настурции. Мака сейчас же сочинил:

В ночном горшке, зачем — бог весть,
Уныло вьется травка.
Живет по всем приметам здесь
Какая-то босявка...

«Босявка» — южнорусское и излюбленное болгарское словечко. У них в семье вообще бытовало немало своих словечек и поговорок. Когда кому-нибудь (а их было семь человек детей) доводилось выйти из-за стола, а на столе было что-нибудь вкусное, выходящий обращался к соседу с просьбой: «Постереги».

Вся эта команда (дружная, надо сказать) росла, училась, выдумывала, ссорилась, мирилась, смеялась...

Взрослела команда, менялось и озорство, «расширялась» тематика. В юношеском возрасте они добрались и до подражания поэту Никитину:

Помоляся богу, улеглася мать.
Дети понемногу сели в винт играть...

Юмор, остроумие, умение поддержать, стойкость — все это закваска крепкой семьи. Закваска в период особенно острой травли оказала писателю Булгакову немалую поддержку...

Наш дом угловой по М. Левшинскому; другой своей стороной он выходит на Пречистенку (ныне Кропоткинскую) № 30. Помню надпись на воротах: «Свободенъ отъ постоя», с твердыми знаками. Повевало такой стариной... Прелесть нашего жилья состояла в том, что все друзья жили в этом же районе. Стоило перебежать улицу, пройти по перпендикулярному переулку — и вот мы у Лямяных.

— Здравствуй, Боб! (Это по-домашнему Н. А. Ушакова.)

— Здравствуй, Коля!

Еще ближе—в Мансуровском переулке—Сереза Топленинов, обаятельный и компанейский человек, на все руки мастер, гитарист и знаток старинных романсов.

В Померанцевом переулке—Морицы; в нашем М. Левшинском—Владимир Николаевич Долгорукий (Владимиров), наш придворный поэт Вэдэ, о котором в Макином календаре было записано: «Напомнить Любаше, чтобы на забывала сердиться на В. Д.».

Дело в том, что Владимир Николаевич написал стихи, посвященные нам с Макой и нашим кошкам. Тата Лямина и Сереза Топленинов книгу проиллюстрировали. Был там нарисован и портрет В. Н. Он попросил разрешения взять книжку домой и дал слово, что не дотронется до своего изображения. Но слова не сдержал: портрет подправил, чем вызвал мой справедливый гнев.

Шагнуть через Остоженку—и вот они, чета Никитинских, кузина и кузен Коли Лямина.

В подвале толстовского музея жила писательница Софья Захаровна Федорченко с мужем Николаем Петровичем Ракицким. Это в пяти минутах от нашего дома, и мы иногда заходим к ним на чашку чая. На память приходит один вечер. Как-то по дороге домой мы заглянули к Федорченко «на огонек». За столом сидел смугло-матовый темноволосый молодой человек.

После чая Софья Захаровна сказала:

— Борис Леонидович, пожалуйста, вы хотели прочесть свои стихи.

Пастернак (это был он) немного выпрямился, чуть откинулся на спинку стула и начал читать:

Солнце село,
И вдруг
Электричеством вспыхнул «Потемкин».
Со спардека на камбуз
Нахлынуло полчище мух.
Мясо было с душиком...
И на море упали потемки.
Свет брюзжал до зари
И забрезживший утром потух...

Не скажу, чтобы стихи мне очень понравились, а слова «свет брюзжал до зари» смутили нас обоих с М. А. Мы даже решили, что ослышались. Зато внешность поэта произвела на меня впечатление: было что-то восточно-экстатическое во всем его облике, в темных без блеска глазах, в глуховатом голосе. Ему, вдохновенному арабу, подходило бы, читая, слегка

раскачиваться и перебирать четки... Но сидел он прямо, и четок у него не было...

На перекрещении двух переулков — Малого и Большого Левшинских — стояла белая церковь-игрушка с синими в звездах куполами. В ней-то и обвенчалась младшая сестра М. А. Леля Булгакова с Михаилом Васильевичем Светлаевым. Она была очень мила в подвенечном наряде.

Весной мы с М. А. поехали в Мисхор и через Курупр (Курортное управление) сняли одну комнату для себя, другую для четы Светлаевых на бывшей даче Чичкина... Кто из старых москвичей не знает этой молочной фамилии? На каждом углу красовалась вывеска с четкими буквами — Чичкинъ.

Дача нам очень понравилась. Это был поместительный и добротный дом над морем без всяких купеческих выкрутас. Ведший с нами переговоры врач из Курупра, жалуясь на какие-то ведомственные неполадки, сказал: «Вот и стою я между Сциллой и Харибдой», за что так и был прозван, и о нем мы уже говорили в женском роде: «Харибда приходила, Харибда говорила...»

Помню, как-то утречком шли мы по дорожке, оглябая свой дом. У окна стояли наши соседи — муж и жена. М. А., как всегда, очень вежливо сказал: «С добрым утром, товарищи», на что последовало: «Кому товарищ, а кому и серый волк». Дальше было еще интересней. Питаться мы ходили на соседнюю дачу, в бывший дворец какого-то великого князя. Столы стояли на большой террасе. Однажды, после очередной трапезы, кто-то обратился к Булгакову с просьбой объяснить, что такое женщина бальзаковского возраста. Он стал объяснять по роману — тридцатилетняя женщина выбирает себе возлюбленного намного моложе себя, и для наглядности привел пример — вот, скажем, если бы Книппер-Чехова увлеклась комсомольцем... Только он произнес последнее слово, как какая-то особа, побледнев, крикнула: «Товарищи! Вы слышите, как он издевается над комсомолом. Ему хочется унижить комсомольцев! Мы не потерпим такого надругательства!»

Тут с «тронной речью» выступила я. Я сказала, что М. А. не хотел никого обидеть, что тут недоразумение и т. д., но истеричка все бушевала, пока ее не подхватил под ручку красивый армянин из их же группы и не увел в соседнюю аллею, где долго ее прогуливал и мягко отчитывал: «Надо быть терпимой, нельзя же из мухи слона делать»...

Это неожиданное бурное выступление заставило нас

насторожиться, избегать слова товарищ и по возможности не говорить на литературные темы. Теперь по вечерам, когда составлялась партия в крокет, мы (Мака, Леля Светлаева и я) уже старались не проигрывать, потому что противники, крокируя, стремились загнать наши шары далеко под обрыв, к морю, чего мы по-джентльменски себе никогда не позволяли: за шарами надо было спускаться, а значит, и подниматься по утомительной крутой каменистой дороге. В общем, после месяца Крыма потянуло нас домой.

Облаянные, вернулись мы оттуда и сразу же задумались над тем, как быть дальше с летом, и тут услышали от Ляминых, что их родственники Никитинские живут под Москвой, в Крюкове, на даче у старых москвичей Понсовых, и очень довольны. Поехали на рекогносцировку. Нам тоже понравилось. Блаженство состояло еще в том, что не надо было готовить.

Сразу как-то в голове не укладывалось, сколько же народу живет в этом поместительном доме. И, только приглядевшись, можно было сосчитать всех. Начну с хозяев: Лидия Митрофановна—красивая импозантная женщина, всему клану голова, мозг и сердце семьи. Муж ее Дмитрий Петрович—как говорили, большой делец—был занят по преимуществу в городе своими мужскими делами. Оба—и муж и жена—вели себя мудро: в наши развлечения не вмешивались, хотя неукоснительно были зрителями всех представлений.

Три дочери: старшая, Евгения, существо выдержанное и хорошо воспитанное. Замужем за симпатичным длинным полуслепым человеком, Федором Алексеевичем Малининым. Я рассмотрела Женю по-настоящему на теннисной площадке. Она была необыкновенно изящна и хрупка. И странно было видеть, когда она, играя в теннис, посылала мячи сильным мужским дрейфом.

Вот она между ударами поворачивает голову к окнам нижнего этажа, где виднеется ее крошечная дочь Наташа на руках у отца, и говорит: «Ку-ку!» Опять дрейф—и опять «ку-ку!». Такой запомнилась она мне, когда я увидела ее в первый раз.

Вторая сестра—Лидия. Статная, хорошо сложенная, привлекательная девушка Юнона, с легкой поступью и легким смехом, который она сумела пронести через всю жизнь. Лидия была олицетворением гостеприимства и уюта.

Младший экземпляр—Елена. Я нарочно говорю «экземпляр», потому что это именно так. Некрасивая, острая, талантливая, прекрасная рассказчица, она

много лет проработала в Вахтанговском театре и умерла в звании народной артистки Российской Федерации. Тогда, в 1926 году, она только что поступила в театр и успела сыграть лишь одну роль — старуху в пьесе Л. Сейфуллиной «Виринея».

Когда Ленка (в доме все ее так называли) была в ударе, она могла рассмешить даже царевну Несмеяну. Иногда на нее нападало желание танцевать. Под звуки рояля она импровизировала, и совсем неплохо. В те времена она была тонка и грациозна.

Существовало еще два брата: Жорж, взрослый, женатый, и Алеша, мальчик лет 7—8.

Я перечислила семейство Понсовых, живущее в нижнем этаже дома. Жорж с женой Катей и маленьким сыном жил во флигеле. Верх занимали Елена Яковлевна и Иван Николаевич Никитинские с двухлетним сыном и няней. У Никитинских гостил их большой друг художник Сережа Топленинов. Нам отдали комнату-пристройку с отдельным входом. Это имело свою прелесть, например, на случай неурочного застолья. Так оно и бывало: у нас не раз засиживались до самого позднего часа.

Упомяну о калейдоскопе гостей. Бывали люди, не живущие на даче, но приходившие почти ежедневно (четверо Добрыниных, их кузина М. Г. Нестеренко, их сосед, за округлый силуэт и розовые щеки прозванный «помидорчиком»); были гости случайные (артист МХАТа Всеволод Вербицкий, классная теннисистка Мальцева, Рубен Симонов, А. А. Орочко, В. Львова и много других); были постоянные, приезжавшие на выходные дни — Шура и Володя Мориц. Центр развлечения, встреч, бесед — теннисная площадка и возле нее, под березами, скамейки. Партии бывали серьезные: Женя, Всеволод Вербицкий, Рубен Симонов, в ту пору тонкий и очень подвижной. Отбивая мяч, он высоко, по козлиному поднимал ногу и рассыпчато смеялся. Состав партий менялся. Михаил Афанасьевич как-то похвалился, что при желании может обыграть всех, но его быстро «разоблачили». Лида попрекала его, что он держит ракетку «пыром», т. е. она стоит перпендикулярно к кисти, вместо того, чтобы служить как бы продолжением руки. Часто слышался голос Лидуна: «Мака, опять ракетка «пыром»!» Но раз как-то он показал класс: падая, все же отбил трудный мяч.

Мы все любили почти ежедневно бывавшего соседа Петю Васильева, добродушного уютного толстяка, к тому же силача. Вот карикатура на него, очень похожая, нарисованная Сережей Топлениновым. В жару

волосы Пети вились особенно круто— о таких в народе говорят: «кнутом не прошибешь»: отбивая или стараясь отбить мяч, он как-то особенно похохатывал, а если промазывал, восклицал по-немецки: «Es ist ganz verdrisslich», что означало: «Вот это огорчительно».

По вечерам все сходились в гостиной. Уютно под абажуром горела керосиновая лампа— электричества не было. Здесь центром служил рояль, за который садилась хорошая музыкантша Женя или композитор Николай Иванович Сизов, снимавший в селе комнату. У него была особенность появляться внезапно— как тать в ночи— и так же внезапно исчезать. Часто спрашивали: «Вы не видели Николая Ивановича?» Отвечали: «Да он только что здесь был. Куда же он делся?» Но за инструмент садился он безотказно: хотелось ли Лидуноу спеть серебряным голосом французскую песенку, или нам в шараде требовалось музыкальное сопровождение, или просто тянуло потанцевать...

Однажды Петя Васильев показал, как в цирке говорят, «силовой акт». Он лег ничком на тахту и пригласил нас всех лечь сверху, что мы с радостью и исполнили. Образовалась мала куча. Петя подождал немного, напрягся и, упираясь руками в диван, поднялся, сбросив нас всех на пол. Мака сказал:

— Подумаешь, как трудно!

Лег на диван ничком, и мы все весело навалились на него. Через несколько секунд он повернул к нам бледное лицо (никогда не забуду его выражения) и произнес слабым голосом:

— Слезайте с меня, и как можно скорей!

Мы тут же ссыпались с него горошком. «Силовой акт» не удался, но были другие, более удачные выступления М. А. В шарадах он был асом. Вот он с белой мочалкой на голове, изображающей седую шевелюру, дирижует невидимым оркестром (он вообще любил дирижировать). Он иногда брал карандаш и воспроизводил движения дирижера— эта профессия ему необыкновенно импонировала, даже больше— влекла его. Это прославленный дирижер Большого театра— Сук (слог первый шарады).

Затем тут же в гостиной двое (Лидун и «помидорчик») играют в теннис. Слышится «аут», «ин», «сёртин». Весь счет в этой игре и все полагающиеся термины с легкой руки Добрыниных произносятся на английском языке («Ин»— слог второй шарады). Третье— сын. Возвращение блудного сына. А все вместе... с террасы в гостиную сконфуженно вступает,

жмурясь от света, дивный лохматый большой пес Буян—сукин сын.

Уж не помню, в какой шараде, но Мака изображал даму в капоте Лидии Митрофановны—в синем с белыми полосками—и был необыкновенно забавен, когда по окончании представления деловито выбрасывал свой бюст—диванные подушки. М. А. изобрел еще одну игру. Все делятся на две партии. Участники берутся за края простыни и натягивают ее, держа почти на уровне лица. На середину простыни кладется легкий комок расщепленной ваты. Тут все начинают дуть, стараясь отогнать ее к противоположному лагерю. Проигравшие платят фант... Состязание проходило бурно и весело.

Кому первому пришла в голову мысль устроить спиритический сеанс, сейчас сказать трудно, думаю, что Сереже Топленинову. Во всяком случае М. А. горячо поддержал это предложение. Уселись за круглый стол, положили руки на столешницу, образовав цепь, затем избрали ведущего для общения с духом—Сережу Топленинова. Свет потушили. Наступила темнота и тишина, среди которой раздался торжественный и слегка загробный голос Сережи:

— Дух, если ты здесь, проявись как-нибудь.

Мгновение... Стол задрожал и стал рваться из-под рук. Сережа кое-как его уgomонил, и опять наступила тишина.

— Пусть какой-нибудь предмет пролетит по комнате, если ты здесь,—сказал наш медиум. И через комнату тотчас же в угол полетела, шурша, книга. Атмосфера накалялась. Через минуту раздался крик Вани Никитинского:

— Дайте свет! Он гладил меня по голове! Свет!

— Ай! И меня тоже!

Теперь уж кричал кто-то из женщин:

— Сережа, скажи, чтобы он меня не трогал!

Дух вынул из Жениной прически шпильку и бросил ее на стол. Одну и другую. Вскрикивали то здесь, то тут. Зажгли лампу. Все были взъерошенные и взволнованные. Делились своими ощущениями. Медиум торжествовал: сеанс удался на славу. Все же раздавались скептические возражения, правда, довольно слабые.

Наутро обсуждение продолжалось. Ленка Понсова сказала:

— Это не дача, а черт знает что! Сегодня же стираю (мимическая сцена), завтра глажу (еще одна сцена) и иду по шпалам в Москву (самое смешное представление).

Утром же в коридоре наша «правдолюбка» Леночка

Никитинская настигла Петю Васильева и стала его допытывать, не имеет ли он отношения к вчерашнему проявлению духа.

— Что вы, Елена Яковлевна?!

Но она настаивала:

— Дайте слово, Петя!

— Даю слово!

— Клянитесь бабушкой (единственно, кого она знала из семьи Васильевых).

И тут раздался жирный фальшивый Петькин голос:

— Клянусь бабушкой!

Мы с М. А. потом долго, когда подвирали, клялись бабушкой...

Волнение не угасало. Меня вызвала к себе хозяйка дома Лидия Митрофановна и спросила, что же все-таки происходит.

Отвечать мне пока было нечего.

Второй сеанс состоялся с участием вахтанговцев, которые хоть и пожимали плечами, но все же снизились. Явления повторялись, но вот на стол полетели редиски, которые подавались на ужин. Таким образом проявилась прямая связь между духом бесплотным и пищей телесной... Дальше я невольно подслушала разговор двух заговорщиков — Маки и Пети:

— Зачем же вы, Петька, черт собачий, редиску на стол кидали?

— Да я что под руку попалось, Мака, — оправдывался тот.

— А! Я так и знала, что это вы жульничали.

Они оба остановились, и М. А. пытался меня подкупить (не очень-то щедро: он предлагал мне три рубля за молчание). Но я вела себя как неподкупный Робеспьер и требовала только разоблачений. Дело было просто. Петр садился рядом с М. А. и освобождал его правую руку, в то же время освобождая свою левую. Заранее под пиджак Мака прятал согнутый на конце прут. Им-то он и гладил лысые и нелысые головы, наводя ужас на участников сеанса.

— Если бы у меня были черные перчатки, — сказал он мне позже, — я бы всех вас с ума свел...

Среди развлечений отсутствовало хоровое пение. Разве только изредка пели «Крамбамбули». Чаще всего под гитару пел Сережа Топленинов: «Я встретил вас», «Тени слетались», «Калитку», «Мы вышли в сад» и много других хороших песен. Вспомнилась еще одна старинная: «О бедном гусаре замолвите слово, ваш муж не пускает к себе на постой, но женское сердце нежнее мужского, и сжалится, верно, оно надо мной»...

Мирное наше житье нарушили слухи, что «пошаливают» бежавшие из ближайшего лагеря уголовники. И действительно, слухи печально подтвердились: недалеко от Пети была вырезана целая семья из пяти человек. Позже застрелили аптекаря в поселке при станции Крюково.

Как-то ночью, когда почти все в доме легли спать, с соседней дачи раздался женский крик:

— Караул! Помогите! Помогите!

Поднялась страшная суматоха. Все выскочили кто в чем был. Жорж выбежал с ружьем и пальнул несколько раз в пространство. Мои подопечные собаки, Вертушка и Буян, дрожа, спрятались на террасе под стол.

У Никитинских Сережа лежал в постели, но еще не спал. Лена спросила:

— Сережа, ты слышал?

Он ответил:

— Да. Я читаю «Анну Каренину».

Ваня встал на защиту своей семьи у двери на лестницу. Он стоял в одних «исподних», в пальто, с кепкой на голове. В руках он держал тяжелый канделябр.

Несмотря на тревожную обстановку—кто-то кричит, кто-то бежит, кто-то палит из ружья, у меня ноги от смеха так и подкосились, глядя на этого рыцаря в подштанниках!

К счастью, на даче ночевал Петя, который с револьвером и отправился в соседний дом. Никаких бандитов там не оказалось. Просто с крыши спрыгнула кошка на другую крышу, пониже. Пробегая по кровельному железу, она, конечно, произвела шум, подчеркнутый и усиленный еще ночной тишиной, но натянутые нервы обитательниц дома не выдержали. Наутро все друг над другом смеялись, изображая в лицах все происшествие. И опять зажили тихо, наслаждаясь летом. Оно стояло чудное—ясное и благоуханное.

Мы все, кто еще жив, помним крюковское житье. Секрет долгой жизни этих воспоминаний заключается в необыкновенно доброжелательной атмосфере тех дней. Существовала как бы порука взаимной симпатии и взаимного доверия... Как хорошо, когда каждый каждому желает только добра!..

В Раз уж я рассказала о крюковском лете, хочется вспомнить покойного Жоржа Понсова. Последние годы болел туберкулезом и работать уже не мог: работала его жена Катя. Рос сын, и, конечно, нелегко им жилось. По долгу службы Кате пришлось отлучиться

из Москвы. В это время Жоржу стало очень плохо, но он запретил тревожить жену. Из последних сил написал он ей несколько писем, так сказать, «вперед» и передал их другу с тем, чтобы тот посылал их Кате, когда его уже не будет на свете. Все точно друг выполнил. Бедный Жорж! Что чувствовал он, когда писал эти письма... Никого я не знаю и не назову, кто был бы способен на такие тонкие чувства, да и в литературе знаю только один рассказ «Нежность» Анри Барбюса, приближающийся по сюжету к поступку Жоржа. Но героиня рассказа кончает самоубийством, а любимый ею человек, не зная о ее смерти, получает время от времени ее письма, полные тепла и любви, пересылаемые верными руками друзей...

Идет 1927 год. Подвернув под себя ногу калачиком (по семейной привычке: так любит сидеть тоже и сестра М. А. Надежда), зажегши свечи, пишет чаще всего Булгаков по ночам. А днем иногда читает куски какой-либо сцены из «Багрового острова» или повторяет какую-нибудь особо полюбившуюся ему фразу. «Ужас, ужас, ужас, ужас»,— часто говорит он как авантюрист и пройдоха Кири-Куки из этой пьесы. Его самого забавляет калейдоскопичность фабулы. Герои Жюль Верна—действующие лица пьесы—хорошо знакомы и близки ему с юношеских лет, а блестящая память и фантазия преподнесут ему образы в неувядающих красках.

Борьба белых арапов и красных туземцев на Багровом острове—это только пена, кружево, занятный фон, а сущность пьесы, ее глубинное значение—в судьбе молодого писателя, в его творческой зависимости от «зловещего старика»—цензора Саввы Лукича.

Помнится, на сцене было много музыки, движения, авторского озорства. Хороши были декорации Рындина, и, как всегда в Камерном театре, особенно тщательно продумано освещение.

Запомнился мне артист Ганшин в роли писателя. Савву Лукича загримировали под Блюма, сотрудника Главреперткомма, одного из ревностных гонителей Булгакова¹.

Помню, через партер к сцене проходил театральный капельдинер и сообщал почтительно и торжественно:

— Савва Лукич в вестибюле снимает галоши!

Он был горд, что выступает в театре. И тут нарастающей силой перекатываются эти слова к

¹ Блюм Владимир Иванович. Театральный критик, писавший под псевдонимом «Садко». Сотрудник Главного репертуарного комитета.

заклинание от оркестра к суфлеру, от суфлера дальше на сцену:

— Савва Лукич в вестибюле снимает галоши!— возвещают и матросы с корабля. Директор театра, играющий лорда, хватаясь за голову, говорит:

— Слышу. Слышу. Ну, что ж, принять, позвать, просить, сказать, что очень рад...

От страха и волнения его снесло в «Горе от ума» на роль Фамусова.

В эпилоге зловещий Савва обращается к автору:

— В других городах-то я все-таки вашу пьеску запрещаю... Нельзя все-таки... Пьеска—и вдруг всюду разрешена...

Постановка «Багрового острова» осуществлена А. Я. Таировым в Камерном театре в 1928 году. Пьеса имела большой успех, но скоро была снята...

Театральный хмель продолжается. «Турбины» идут с неизменным успехом. Актеры играют необыкновенно слаженно и поэтому сами называют спектакль «концертом».

Встал вопрос о банкете. И тут на выручку пришел актер Художественного театра Владимир Августович Степун, участвующий в пьесе. Он предложил свою квартиру в Сивцевом-Вражке, 41. Самую трудную роль— не только всех разместить, сервировать и приготовить стол на сорок персон, но и красиво оформить угощение, а потом все привести в порядок—взяла на себя жена Владимира Августовича, Юлия Львовна, дочь профессора Тарасевича.

Во дворе дома 41, в больших комнатах нижнего этажа были накрыты длиннейшие столы. На мою долю пришлась забота о пище и вине. В помощники ко мне поступил Петяня Васильев. К счастью, в центре Москвы еще существовал Охотный ряд—дивное предприятие! Мы взяли извозчика и объехали сразу все магазины подряд: самая разнообразная икра, балык, белорыбца, осетрина, семга, севрюга—в одном месте, бочки различных маринадов, грибов и солений—в другом, дичь и колбасы—в третьем. Вина—в четвертом. Пироги и торты заказали в Столешниковом переулке у расторопного частника. Потом все завезли к милым Степунам.

Участников банкета даю по собственной записке М. А., которую обнаружила у его сестры Надежды Афанасьевны Земской:

Малолетков Вербицкий Израилевский

Ершов Фалеев Станицын

Новиков Прудкин Кудрявцев

Андерс Шиллинг Титушин
Бутюгин Блинников Кедров
Гузеев Баталов В. Герасимов
Ливанов
Аксенов
Добронравов
Соколова Вера Сергеевна (первая исполнительница роли Елены)
Хмелев
Калужский
Митропольский
Яншин
Михальский
Истрин
Мордвинов
Степунов — двое
Нас, Булгаковых, — двое
Лямыных — двое
Три сестры Понсовых: Евгения, Лидия и Елена.

Федорова Ванда Мариановна. Привлекательная женщина. Служила во МХАТе. Муж ее, Владимир Петрович, приезжал к нам «повинтить». Нередко М. А. ездил в это гостеприимное семейство, иногда к нему присоединялась и я.

В списке М. А. я не нашла П. А. Маркова и И. Я. Судакова, режиссера спектакля.

Всю-то ночь мы веселились, пели и танцевали.

В этот вечер Лена Понсова и Виктор Станицын особенно приглянулись друг другу (они вскоре и поженились).

Вспоминаю, как уже утром во дворе Лидун «доплясывала» русскую в паре с Малолетковым. Мы с М. А. были, конечно, очень благодарны семейству Степунов за то, что они так любезно взяли на себя столь суетливые хлопоты.

Говоря о «Днях Турбиных», уместно упомянуть и о первом критике пьесы. Однажды у нас появился незнакомый мрачный человек в очках — Левушка Остроумов (так называли его потом у Лямыных) и отчитал М. А., сказав, что пьеса написана плохо, что в ней не соблюдены классические каноны. Он долго и недружелюбно бубнил, часто упоминая Аристотеля. М. А. не сказал ни слова. Потом критик ушел, обменяв галоши...

Несколько позже критик Садко в статье «Начало конца МХАТ» (журнал «Жизнь искусства», № 43, 1927 г.) неистовствует по поводу возобновления пьесы «Дни Турбиных». Он называет Булгакова «пророком и

апостолом российской обывательщины», а самую пьесу «подлейшей из пьес десятилетия».

Критик пророчит гибель театру и добавляет зловец: как веревка поддерживает повесившегося, так и успех пьесы, сборы, которые она делает, не спасут Московский Художественный театр от смерти.

Когда сейчас перечитываешь рецензии тех лет, поражаешься необыкновенной грубости. Даже тонкий эрудит Луначарский не удержался, чтобы не лягнуть Булгакова, написав, что в пьесе «Дни Турбиных» — атмосфера собачьей свадьбы (Известия, 8, октябрь 1926 г.). Михаил Афанасьевич мудро и сдержанно (пока!) относится ко всем этим выпадам.

«Зойкина квартира» идет тоже с аншлагом. В ознаменование театральных успехов первенец нашей кошки Муки назван «Аншлаг».

В доме также печь имеется,
У которой кошки греются.
Лежит Мука, с ней Аншлаг.
Она — эдак,
А он так.

Это цитата из рукописной книжки «Муки-Маки», о которой я упоминала выше. Стихи Вэдэ, рисунки художницы Н. А. Ушаковой. Кошки наши вдохновили не только поэта и художника, но и проявили себя в эпистолярном жанре. У меня сохранилось много семейных записок, обращенных ко мне от имени котов. Привожу, сохраняя орфографию, письмо 1-е. Надо признаться: высокой грамотностью писательские коты не отличались.

Дорогая мама!

Наш милый папа произвъл пъръстоновку в нешей уютной кварти. Мы очень довольны (и я Аншлаг помогал, чуть меня папа не раздавил, кагда я ехал на ковре кверху ногами). Папа очень сильный один все таскал и добрый не ругал, хоть он и грыз крахмальную руба. а тепър сплю, мама, милая, на тахте. И я тоже. Только на стуле. Мама мы хотим, чтоб так было как папа и тебе умалим мы коты все, что папа умный все знаит и не менять. А папа говорил купит. Папа пошел а меня выпустил. Ну целуем тебе. Вы теперь с папой на тахте. Так что меня нет.

Увожаемые и любящие коты.

Котенок Аншлаг был подарен нашим хорошим знакомым Стронским. У них он подрос, похорошел и неожиданно родил котят, за что был разжалован из Аншлага в Зюньку.

На обложке книжки «Муки-Маки» изображен Михаил Афанасьевич в трансе: кошки мешают ему творить. Он сочиняет «Багровый остров».

А вот еще там же один маленький портрет Михаила Афанасьевича. Он в пальто, в шляпе, с охапкой дров (у нас печное отопление), но зато в монокле. Понятно, что карикатура высмеивает это его увлечение. Ох, уж этот монокль! Зачастую он вызывал озлобление, и некоторые склонны даже были рассматривать его как признак ниспровержения революции.

В это же время мы оба попали в детскую книжку Маяковского «История Власа, лентяя и лоботряса» в иллюстрациях той же Н. А. Ушаковой.

Полубуйтесь: вот мы какие, родители Власа. М. А. ворчал, что некрасивый.

К сожалению, пропала или уничтожена книжка Гастона Леру «Человек, который возвратился издалека» в переводе Мовшензона. Н. А. Ушакова рисовала цветными карандашами прямо по печатному тексту, который приблизительно звучал так:

«По утрам граф и графиня выходили на крыльцо своего замка. Графиня ласкала своих борзых...» (Граф—М. А., графиня—я.)

Остроумные комментарии от имени переводчика написал Коля Лямно. А страшные места?

Синим карандашом была изображена костлявая рука привидения, сжимающая фитиль зажженной свечи. «Любочка и Мака! Этого на ночь не читывайте!»

Это было такое веселое талантливое озорство. Я до сих пор огорчаюсь, что какие-то злые руки погубили эту книжку.

В книжке «Муки-Маки» изображена разрисованная печь: это я старалась. Мне хотелось, чтобы походило на старинные изразцы. Видно, это и пленило проходившего как-то мимо нашей открытой двери жильца нашего дома—наборщика.

— У вас очень уютно, как в пещере,—сказал он и попросил поехать с ним в магазин и помочь ему выбрать обои для комнаты. Я согласилась, Михаил Афанасьевич только ухмылялся. В пассаже нам показывали хорошие образцы, гладкие, добротные, но мой спутник приуныл и погрузился уже в самостоятельное созерцание развешанных по стенам образчиков. И вдруг лицо его просветлело.

— Я нашел,—сказал он, сияя.—Вы уж извините. Мне как страстному рыбаков приятно посмотреть: тут вода нарисована!—И правда, в воде стояли голенастые цапли. В клюве каждая держала по лягушке.

— Хоть бы они рыбу ели, а то ведь лягушек,— слабо возразила я.

— Это все равно—зато вода...

Потом М. А. надо мной подтрунивал: «Контакт интеллигенции с рабочим классом не состоялся: разошлись на эстетической платформе»,—шутил он.

Никаких писателей у нас в Левшинском переулке не помню, кроме Валентина Петровича Катаева, который пришел раз за котенком. Больше он у нас никогда не бывал ни в Левшинском, ни на Б. Пироговской. Когда-то они с М. А. дружили, но жизнь развела их в разные стороны. Вспоминаю бывавшего в тот период небольшого элегантного крепыша режиссера Леонида Васильевича Баратова и артиста театра Корша Блюменталь-Тамарина, говоруна и рассказчика—впрочем, черты эти характерны почти для всех актеров...

К обычному составу нашей компании прибавились две сестры Гинзбург. Светлая и темная, старшая и младшая, Роза и Зинаида. Старшая, хирург, была красивая женщина, но не библейской красотой, как можно было бы предположить по имени и фамилии. Наоборот: нос скорее тупенький, глаза светлые, волосы русые, слегка, самую малость, волнистые... Она приехала из Парижа. Я помню ее на одном из вечеров, элегантно одетую, с нитками жемчуга вокруг шеи, по моде тех лет. Все наши мужчины без исключения ухаживали за ней. Всем без исключения одинаково приветливо улыбалась она в ответ.

Обе сестры были очень общительны. Они следили за литературой, интересовались театром. Мы не раз бывали у них в уютном доме в Несвижском переулке. Как-то раз Роза Львовна сказала, что ее приятель-хирург, которого она ласково назвала «Мышка», сообщил ей, что у его родственника-арендатора сдается квартира из трех небольших комнат. Михаил Афанасьевич ухватился за эту мысль, съездил на Большую Пироговскую, договорился с арендатором, вернее, с его женой, которая заправляла всеми делами. И вот надо переезжать.

Наступил заключительный этап нашей совместной жизни: мы вьем наше последнее гнездо...

ПОСЛЕДНЕЕ ГНЕЗДО

В древние времена из Кремля по прямой улице мимо Девичья Поля ехали в Новодевичий монастырь тяжелые царские колымаги летом, а зимой расписные возки.

Не случайно улица называлась Большая Царицынская...

Если выйти из нашего дома и оглянуться налево, увидишь стройную шестиярусную колокольню и очертания монастыря. Необыкновенно красивое место. Пожалуй, одно из лучших в Москве.

Наш дом (теперь Большая Пироговская, 35а)—особняк купцов Решетниковых, для приведения в порядок отданный в аренду архитектору Стуй. В верхнем этаже—покои бывших хозяев. Там была молельня Распутина, а сейчас живет застройщик-архитектор с женой.

В наш первый этаж надо спуститься на две ступеньки. Из столовой, наоборот, надо подняться на две ступеньки, чтобы попасть через дубовую дверь в кабинет Михаила Афанасьевича. Дверь эта очень красива, темного дуба, резная. Ручка—бронзовая птичья лапа, в когтях держащая шар... Перед входом в кабинет образовалась площадочка. Мы любим это своеобразное возвышение. Иногда в шарадах оно служит просцениумом, иногда мы просто сидим на ступеньках как на завалинке. Когда мы въезжали, кабинет был еще маленький. Позже сосед взял отступного и уехал, а мы сломали стену и расширили комнату М. А. метров на восемь плюс темная клетушка для сундуков, чемоданов, лыж.

Моя комната узкая и небольшая: кровать, рядом с ней маленький столик, в углу туалет, перед ним стул. Это все. Мы верны себе: Макин кабинет синий. Столовая желтая. Моя комната—белая. Кухня маленькая. Ванная побольше.

С нами переехала тахта, письменный стол—верный спутник М. А., за которым написаны почти все его произведения, и несколько стульев. Два экзотических кресла, о которых я упоминала раньше, кому-то подарили. Остальную мебель, временно украшавшую наше жилище, вернули ее законному владельцу Сергею Топленинову. У нас осталась только подаренная им картина маслом, подписанная: «Софоново, 17 г.». Это натюрморт, оформленный в темных рембрандтовских тонах, а по содержанию сильно революционный: на почетном месте, в серебряной вазе,—картошка, на переднем плане, на куске бархата,—луковица; рядом с яблоками соседствует репа. Добрые знакомые разыскали мебель: на Пречистенке жила полубезумная старуха, родственники которой отбыли в далекие края, оставив в ее распоряжение большую квартиру с полной мебелировкой, а старуху начали теснить, пока не загнали под

лестницу. От мебели ей надо было избавляться во что бы то ни стало. Так мы купили шесть прекрасных стульев, крытых васильковым репсом, и раздвижной стол — «сороконожку». Остальное — туалет, сервант, кровать — приобретали постепенно, большей частью в комиссионных магазинах, только диван-ладю купили у знакомых (мы прозвали ее «закорюка»). Старинный торшер мне добыла Лена Понсова. Вся эта мебель находится у меня и по сей день радует глаз своей нестареющей элегантностью.

Надежда Афанасьевна, Макина сестра, наша всегдашняя «палочка-выручалочка», направила к нам домашнюю работницу. Пришла такая милотная, чисто русская женщина, русая голубоглазая Маруся. Осталась у нас и прожила несколько лет до своего замужества. Была она чистоплотна и добра. Не шпыняла кошек. Когда появился пес, полюбила и пса, называла его «батюшка» и ласкала.

Вот как появился пес: как-то, в самый разгар работы над пьесой «Мольер», я пошла в соседнюю лавочку и увидела там человека, который держал на руках большеглазого, лохматого щенка. Щенок доверчиво положил ему лапки на плечо и внимательно оглядывал покупателей. Я спросила, что он будет делать с собачонкой. Он ответил: «Что делать? Да отнесу в клиники» (это значит — для опытов в отдел вивисекции). Я попросила подождать минутку, а сама вихрем влетела в дом и сбивчиво рассказала Маке всю ситуацию.

— Возьмем, возьмем щенка, Макочка, пожалуйста!

Так появился у нас пес, названный в честь слуги Мольера Бутоном. Он быстро завоевал наши сердца, стал общим баловнем и участником шарад. Со временем он настолько освоился с нашей жизнью, что стал как бы членом семьи. Я даже повесила на входной двери под карточкой М. А. другую карточку, где было написано: «Бутоном Булгаков. Звонить два раза». Это ввело в заблуждение пришедшего к нам фининспектора, который спросил М. А.: «Вы с братцем живете?» После чего визитная карточка Бутона была снята...

Возвращаюсь к Марусе: для нас она была своим уютным человеком. Коньком ее были куличи, пирожки и блины. М. А. особенно любил Марусины куличи. Когда у нас бывали гости, ее вызывали в столовую, с ней чокались, за ее здоровье пили. Она конфузилась, краснела и очень хорошела. Большим умом она не отличалась, но была наблюдательна и находчива на прозвища. Лыжного инструктора, ходившего на лыж-

ные вылазки с группой Художественного театра и облюбовавшего наш дом для своих посещений, она прозвала «странник». Это было очень точно: в незавязанной шапке-ушанке с неизменным рюкзаком за спиной, с лыжами или какими-то обрезками лыж в руках, всегда второпях, он вполне оправдывал свое прозвище.

Перечитываю произведения М. А. и вижу, что во многих домашней работнице отводится роль члена семьи: в «Белой гвардии» Аня, выросшая в турбинском доме. В «Собачьем сердце» горничная Зина и повараха Дарья Петровна настолько, как теперь говорят, «вписаны» в быт профессора Преображенского, что без них жизнь дома даже и не мыслится.

В пьесе «Адам и Ева» — Аня.

В «Мастере и Маргарите» — Наташа, полуподруга, полунаперсница Маргариты, совершающая с ней ночной полет.

«Ведь и мы хотим жить и летать,— говорит она...»

Не было случая, чтобы М. А. или я не привозили бы своей Марусе какой-нибудь подарочек, возвращаясь из поездки домой. Как-то она спросила меня:

— Любовь Евгеньевна, а кто такой Рябушинский?

Признаться, я очень удивилась, но объяснила и, конечно, поинтересовалась, а зачем ей это?

— Да вот, я встретила Агеича (Агеич — это слесарь-водопроводчик, на все руки мастер и, конечно, пьяница). И он мне сказал: «Иди за меня, Маруся».

— Я не против. Только ты мне справь все новое и чтобы мне не пришлось больше никогда работать,— сказала я.

— Ну, это тебе за Рябушинского выходить надо,— возразил Агеич...

Теперь мне все стало ясно. Все-таки она вышла за Агеича. Много раз после прибежала она ко мне за утешением. Несколько раз прорывался к нам и пьяный Агеич. Алкоголь настраивал его на божественное: во хмелю он вспоминал, что в юности пел в церковном хоре, и начинал петь псалмы. Выпроводить его в таком случае было очень трудно.

— Богиня, вы только послушайте...— и начинал свои песнопения...

Устроились мы уютно. На окнах повесили старинные шерстяные, так называемые «турецкие» шали. Конечно, в столовой, она же гостиная, стоит ненавистный гардероб. Он настолько же некрасив, насколько полезен, но девать его некуда. Кроме непосредственной пользы нам, им пользуется кошка Мука: когда ей оставляют одного котенка, мы ставим на гардероб

решето и кошка одним махом взлетает к своему детищу. Это ее жилище называется «Соловки».

Кошку Муку М. А. на руки никогда не брал — был слишком брезглив, но на свой письменный стол допускал, подкладывая под нее бумажку. Исключение делал перед родами: кошка приходила к нему, и он ее массирует.

Кабинет — царство Михаила Афанасьевича. Письменный стол (бессменный «боевой товарищ» в течение восьми с половиной лет) повернут торцом к окну. За ним, у стены, книжные полки, выкрашенные темнокоричневой краской. И книги: собрания русских классиков — Пушкин, Лермонтов, Некрасов, обожаемый Гоголь, Лев Толстой, Алексей Константинович Толстой, Достоевский, Салтыков-Щедрин, Тургенев, Лесков, Гончаров, Чехов. Были, конечно, и другие русские писатели, но просто сейчас не припомню всех. Две энциклопедии — Брокгауза-Эфрона и Большая Советская под редакцией О. Ю. Шмидта, первый том которой выпел в 1926 году, а восьмой, где так небрежно написано о творчестве М. А. Булгакова и так неправдиво освещена его биография, — в 1927 году.

Книги — его слабость. На одной из полок — предупреждение: «Просьба книг не брать»...

Мольер, Анатолий Франс, Золя, Стендаль, Гете, Шиллер... Несколько комплектов «Исторического Вестника» разной датировки. На нижних полках — журналы, газетные вырезки, альбомы с многочисленными ругательными отзывами, Библия. На столе канделябры — подарок Ляминых — бронзовый бюст Суворова, моя карточка и заветная материнская красная коробочка из-под духов Коти, на которой рукой М. А. написано: «Война 191...» и дальше клякса. Коробочка хранится у меня.

Лампа сделана из очень красивой синей поповской вазы, но она — инвалид. Бутон повис на проводе, свалил ее и разбил. Я была очень огорчена, но М. А. аккуратно склеил ее, и она служила много лет.

Невольно вспомнилось мне, как в «Белой гвардии» Булгаков воспевает абажур — символ тепла, уюта, семьи...

«А потом... потом в комнате противно, как во всякой комнате, где хаос укладки, и еще хуже, когда абажур сдернут с лампы. Никогда. Никогда не сдергивайте абажур с лампы! Абажур священен. Никогда не убегайте крысьей побежкой на неизвестность от опасности. У абажура дремлите, читайте — пусть воем вьюга, — ждите, пока к вам придут».

Одним из первых посетителей нашего нового дома был лучезарный юноша Роман Кармен, с матерью которого мы познакомились в Коктебеле. Он только что начинал свой творческий путь. Он, насколько мне помнится, снял М. А., а мне подарил фотографию какой-то красивой овчарки. Это фото цело у меня до сих пор. Уже во время войны меня попросили из ВОКСа, где я временно работала, зайти к Кармену за каким-то материалом. Увы! От лучезарности не осталось и следа, как будто все до единой клеточки сменилось. Роман Кармен был красив, но суровой красотой. Стало жаль его, прелестного, от улыбки которого шел свет. Собственно говоря, вполне закономерно, что человек меняется с годами. Видимо, все зависит от степени изменения...

Этой зимой М. А. купил мне меховую шубу из хорька: сам повез меня в Столешников переулок, ждал, пока я примеряла. Надо было видеть, как он радовался этой шубе, тут же прозванной «леопардом». Леопард служил мне долго верой и правдой. Не меньшую радость доставила Маке и другая его покупка: золотой портсигар, которому служить верой и правдой не довелось: когда нас лишили «огня и воды», по выражению М. А., портсигар пришлось продать...

1927 год. Как-то наша большая приятельница Елена Павловна Лансберг повела нас к своим друзьям Ольге Федоровне и Валентину Сергеевичу Смышляевым (он был артистом 2-го МХАТа).

Шумно. Много народу. Все больше актеры этого театра. Центром внимания была интересная светло- и обильноволосая девушка армянского типа, которую все просили:

— Ну, Марина, еще, еще! Макраме сорок копеек!

Мы не понимали значения этих слов, пока не услышали монолог судакской портнихи, исполненного Мариной Спендиаровой с неподражаемым юмором и соблюдением крымского акцента со всеми его особенностями, доступными лишь тем, кто со дня рождения живет на юге... Позже Марина Александровна Спендиарова подружилась с нами и стала нашей преподавательницей английского языка.

Дочь композитора Александра Афанасьевича Спендиарова обладала незаурядными творческими способностями: она пела, рисовала, проявляла артистический дар. Сама того не подозревая, была она и талантливым педагогом. Мы оба с М. А. делали успехи. Он смешил нашу учительницу, стремясь перевести на английский язык непередаваемые выражения вроде «гроб с музы-

кой» — а coffin with music. Марина Александровна смеялась и говорила:

— Нет, нет! Это не пойдет...

Английское слово spoon — ложка — ему понравилась.

— Я люблю спать, — сказал М. А., — значит, я спун.

Марина Александровна до сих пор вспоминает, как театрально появлялся он в дверях своего кабинета, останавливался на «просцениуме», т. е. на площадке, образуемой ступеньками, и после паузы приветствовал ее.

Этой же зимой мы познакомились с композитором Александром Афанасьевичем Спендиаровым. Привожу выдержку из дневника его дочери Марины: «Мы с папой были у Булгаковых. Любовь Евгеньевна спросила заранее, какое любимое папино блюдо. Я сказала: «Рябчики с красной капустой». С утра я искала папу, чтобы сообщить ему адрес Булгаковых... Помню его голос в телефоне: «Это ты, Маришка? Ну, что ты? Ну говори адрес... Хорошо, я приду, детка». Когда я пришла, Михаил Афанасьевич, Любовь Евгеньевна и папа сидели вокруг стола. Папа сидел спиной к свету на фоне рождественской елки. Меня поразило то, что он такой грустный, поникший. Он весь в себе был, в своих мрачных мыслях и, не выходя из своего мрачного в то время мирка, говорил, глядя в тарелку, о накопившихся у него неприятностях. Потом, как-то неожиданно для нас всех, перешел на восхваление Армении. Чувствовалось, что в сутолочной Москве он соскучился по ней».

Мне Александр Афанасьевич понравился, но казался необычайно озабоченным, а поэтому каким-то отсутствующим.

Второй раз я увидела композитора Спендиарова уже за дирижерским пультом, и он, конечно, предстал совсем другим человеком...

Лето. Жарко. Собрались в Судак на дачу к Спендиаровым. Двухэтажный обжитой дом на самом берегу моря, можно накинуть халат и бежать купаться. Наша комната темноватая и прохладная.

Народу много — большая спендиаровская семья: мама (папа в отъезде), четыре дочки: Татьяна, Елена, Марина, Мария и два сына — Тася и Лёся. Сюда же приехали двое Лямыных, а М. А., побыв недолго, уехал обратно в Москву, пообещав вернуться за мной. За время его отсутствия мы с Лямыными успели побывать на горе Сокол, с которой чуть было не свалились, на Алчаке, в Генуэзской крепости, в Новом Свете... М. А. явился внезапно и сказал, что он нанял моторную лодку, которая отвезет нас прямо в Ялту.

Мы ехали долго. Нас везли два рыбака—пожилой и молодой, весь бронзовый. Море так блестело на солнце, было тихое и совсем близко, не где-то там, за далеким бортом парохода, а рядом—стоило только протянуть руку в серебристо-золотую парчу. М. А. был доволен, предлагал пристать, если приглянется какой-нибудь уголок на берегу. Когда мы приехали в Ялту, у меня слегка кружилась голова и рябило в глазах. Остановились мы у знакомых М. А. (память, память, правильно ли донесла ты фамилию этих милых гостеприимных людей—Тихомировы?).

На другой день мы пошли в Аутку, на дачу Антона Павловича Чехова, в мемориальный музей писателя. Все вверх и вверх. Дом стоит красиво на горе. Нас ласково приняла Мария Павловна, сестра писателя, и повела по комнатам. Дом показался нарядным и даже парадным и вместе с тем уютным. В это время здесь жил еще брат Антона Павловича Михаил Павлович, первый биограф писателя. Особенно нам понравился кабинет Чехова. Разноцветные стекла в полукружье большого итальянского окна смягчали лучи крымского солнца, и комната казалась прохладной. В кирпичный камин, прямо против письменного стола, врезан пейзаж Левитана. На столе все как было при Антоне Павловиче. На стенах много фотографий. Они придают всей комнате оттенок особой интимности. М. А. здесь не в первый раз. Я спросила его: «Мака, ты хотел бы иметь такой кабинет?» Он ничего не сказал, только кивнул утвердительно головой. За этим столом А. П. Чеховым было написано много хороших вещей: рассказы «Дама с собачкой», «Архиерей», «На святках», «Невеста», повесть «В овраге» и две пьесы—«Три сестры» и «Вишневый сад». Если б не болезнь и ранняя смерть, сколько бы еще радости получило человечество! Мария Павловна благостно улыбалась, Михаил Павлович был чем-то недоволен.

Булгаков любил Чехова, но не фанатичной любовью, свойственной некоторым чеховедам, а какой-то ласковой, как любят хорошего, умного старшего брата. Он особенно восторгался его записными книжками. Иногда цитировал—всегда неожиданно—«жена моя лютеранка». Ты, когда спишь, говоришь «хи-пуа, хи-пуа»...

У нас была такая игра: задавать друг другу какой-нибудь вопрос, на который надо было ответить сразу, ничего в уме не прикидывая и не подбирая. Он меня раз спросил:

— Какое литературное произведение, по-твоему, лучше всего написано?

Я ответила: «Тамань» Лермонтова». Он сказал: «Вот и Антон Павлович так считает». И тут же назвал письмо Чехова, где это сказано. Теперь-то, вспоминая, я вижу, как он вообще много знал. К тому же память у него была превосходная...

Мне было очень приятно, когда позже к нам на Пироговскую приехала Мария Павловна Чехова. Было в ней что-то необыкновенно простое и привлекательное...

1928 год. Апрель. Неуверенная серая московская весна. Незаметно даже, набухли ли на деревьях почки или нет. И вдруг Михаилу Афанасьевичу загорелось ехать на юг, сначала в Тифлис, а потом через Батум на Зеленый Мыс. Мы выехали 21 апреля днем в международном вагоне, где, по словам Маки, он особенно хорошо отдыхает.

Промелькнули подмосковные леса, пронеслись унылые среднерусские равнины. Становится теплее. Наш вагон почти пустой: еще не сезон. С нами едет поэт Николай Асеев. Одно купе занимает артистка Камерно-го театра Назарова, бело-розовая женщина-дитя и с ней военный. Он в галифе, в сапогах, но в пижаме, из-под которой неуклюже и некрасиво торчит наган. Обычно пассажиры знакомятся быстро, от нечего делать беседуют долго и иногда интересно, но у нас все молчат. Асеев издали раскланялся с Булгаковым. За трое суток с «хвостиком» он перекинулся со мной всего несколькими фразами...

Какой сладостный переход от заснеженных полей к солнцу, зеленой траве и тюльпанам! Уж не знаю, по какой причине мы остановились прямо в поле... Все высыпали из вагонов, боязливо оглядываясь на поезд: не подведет ли. Захмелевшие от весеннего воздуха, возвращались мы по своим местам.

24 апреля—Тифлис. На вокзале нас встретила знакомая М. А. еще по Владикавказу—Ольга Казимировна Туркул, небольшая русая скромная женщина. Она предоставила нам ночлег на первую ночь. На другой день мы уже перебрались в гостиницу «Ориант» на проспект Руставели. Поздним вечером город очень красив и загадочен. Слегка вырисовываются темные силуэты гор, и какими-то особенными кажутся огоньки фонарей—блестки на черном бархате.

Тепло. Спим с открытыми окнами. Хожу в одном платье, что здесь не принято до 1-го мая. Так объяснила мне О. К. Туркул. Предполагалось, что М. А. будет

вести переговоры с Русским драматическим театром о постановке «Зойкиной квартиры».

Встреча с директором театра состоялась. Помню его внешность и лицо его жены, актрисы на главных ролях. Их двое, к ним присоединились актеры театра, и мы, в общем человек восемь, все направились в подвальчик, в ресторан с заманчивым названием «Симпатия». Тускло-золотистые стены были расписаны портретами: Пушкин, Лермонтов, Горький (так и написано), все в медальонах из виноградных гроздьев и все на одно лицо сильно грузинского типа. За стойкой, заставленной национальными закусками, приправленными тархуном, киндзой, праси (это лук-порей), цицматом (особый сорт салата), стоял такой же черноусый грузин, как Пушкин, Лермонтов, Горький.

Застолье длилось часов пять. Тост следовал за тостом. Только и слышалось «алаверды к вам, алаверды к вам». Был момент, когда за соседним столом внезапно разгорелась ссора: двое вскочили, что-то гортанно крича, сбросили пиджаки на край маленького водоема, где плавали любимые грузинские рыбки, и... я закрыла глаза, чтобы не видеть поножовщины, а когда открыла их, они оба сидели за столом и мирно чокались своим излюбленным кахетинским... Купаемся в солнце. Купаемся в серных банях. Ходили через Верейский спуск в старый город, в Закурье. А Кура быстрая и желтая. Уж в ней-то ни капельки не хочется искупаться. То висячий балкон, то каменные ступени крутой, карабкающейся на гору лестницы вдруг остро напомнят мне Константинополь...

Наше пребывание в Тифлисе чуть не омрачилось одним происшествием. Как-то уже к вечеру О. К. Туркул пришла за нами звать нас в кино. М. А. отказался, сказал, что он приляжет отдохнуть (он всегда спал после обеда, хотя уверял со своей милой подкупающей улыбкой, что он не спит, а «обдумывает» новое произведение). Я ушла в кино и ключ от номера взяла с собой, заперев собирающегося спать Маку... Что-то мы с О. К. немного задержались, и, когда подходили к «Орианту», я поняла: что-то произошло. Пароконные извозчики, стоящие вереницей у гостиницы, весело перекликались и поглядывали на одно из окон. До предела высунувшись из окна взъерошенный М. А., увидев меня, крикнул на весь проспект Руставели:

— Я не ожидал от тебя этого, Любаша!

Внизу, в вестибюле, на меня накинута грузинкоридорный:

— Зачем ушла? Зачем ключ унесла? Он такой злой, такой злой. Ключ требует... Ногами стучит.

— Так неужели второго ключа у вас нет?

— Второго нэт...

Я побежала наверх и «грех» свой замолила.

Та же О. К. привела нас на боковую улицу и познакомила с хозяйкой-француженкой, а заодно и с ее внучкой Марикой Чимишкиан, полуфранцуженкой, полуармянкой, молодой и очень хорошенькой девушкой, которая потом много лет была связана с нашей семьей. Ей выпала печальная доля дежурить у постели умирающего писателя Булгакова в качестве сестры милосердия и друга...

Хотелось посмотреть город. М. А. нанял машину, и мы покатались вволю, а вечером пошли в театр смотреть «Ревизор» со Степаном Кузнецовым. Недалеко от нас в ложе сидела пожилая грузинка в национальном наряде: низкая шапочка надвинута на лоб, по бокам лица спускаются косы. Сзади к шапочке приколоты прозрачная белая вуаль. Все в Тифлисе знали эту женщину — мать Сталина.

Я посмотрела первое действие и заскучала.

— Вот что, братцы, — сказала я Маке и Марике. — После Мейерхольда скучновато смотреть такого «Ревизора». Вы оставайтесь, а я пойду пошляюсь (страшно люблю гулять по незнакомым улицам).

Теперь самое время повернуть память вспять, в 1926 год — когда Мейерхольд поставил «Ревизора». Мы с М. А. были на генеральной репетиции и, когда ехали домой на извозчике, так спорили, что наш возница время от времени испуганно оглядывался. Спектакль мне понравился, было интересно. Я говорила, что режиссер имеет право показать эпоху не только в мебели, тем более если он талантливо это делает, а М. А. считал, что такое самовольное вторжение в произведение искажает замысел автора и свидетельствует о неуважении к нему. По-моему, мы, споря, кричали на всю Москву...

Уже начало мая. Едем через Батум на Зеленый Мыс.

Батум мне не понравился. Шел дождь, и был он под дождем серый и некрасивый. Об этом я в развернутом виде написала в письме к Ляминам, но мой «цензор» — М. А. все вычеркнул.

Это удивительно, до чего он любил Кавказское побережье — Батуми, Махинджаури, Цихидзири, но особенно Зеленый Мыс, хотя, если судить по «Запискам на манжетах», большой радости там в своих

странствиях он и не испытывал. «Слезы такие же соленые, как морская вода», — написал он.

Зеленый Мыс у него упоминается также в пьесе «Адам и Ева». Герой и героиня мечтают стряхнуть с себя все городские заботы и на полтора месяца отправиться в свадебное путешествие на Зеленый Мыс.

Здесь мы устроились в пансионе датчанина Стюр, в бывшей вилле князей Барятинских, к которой надо подниматься, преодолев сотню ступеней. Мы приехали, когда отцветали камелии и все песчаные дорожки были усыпаны этими царственными цветами. Больше всего меня поразило обилие цветов... «Наконец и у нас тепло, — пишу я Лямыным. — Вчера видела знаменитый зеленый луч. Но не в нем дело. Дело в цветах. Господи, сколько их!» В конце письма Мака сделал приписку: «Дорогие Таня и Коля! Передайте всем привет. Часто вспоминаю вас. Ваш М.».

Когда снимали фильм «Хромой барин», понадобилась Ницца. Лучшей Ниццы, чем этот уголок, в наших условиях трудно было и придумать.

Нас устроили в просторном помещении с тремя огромными, как в храме, окнами, в которые залетали ласточки и, прорезав в полете комнату насквозь, попискивая, вылетали. Простор сказывался во всем: в планировке комнат, террас, коридоров. В нижнем этаже находились холл и жилые комнаты Стюров — веселого простодушного хозяина-датчанина, говорившего «щукаль» вместо шакал, его хорошенькой и кислой русской жены и 12-летней дочери Светланы, являвшей собой вылитый портрет отца.

Из Чиатур с марганцевой концессии приезжали два англичанина со своими дамами и жила — проездом на родину — молодая миловидная датчанка с детьми, плюс мы двое.

Было жарко и влажно. Пахло эвкалиптами. Цвели олеандровые рощи, куда мы ходили гулять со Светланой, пока однажды нас не встретил озабоченный М. А. и не сказал:

— Тебе попадет, Любаша.

И действительно, мадам Стюр, холодно глядя на меня, сухо попросила больше не брать ее дочь в дальние прогулки, т. к. сейчас кочуют курды и они могут Светлану украсть.

Эта таинственная фраза остается целиком на совести мадам Стюр.

Михаил Афанасьевич не очень-то любил пускаться в дальние прогулки, но в местный Ботанический сад мы пошли чуть ли не на другой день после приезда и очень

обрадовались, когда к нам пристал симпатичный рыжий пес, совсем не бездомный, а просто, видимо, любящий компанию. Он привел нас к воротам Ботанического сада. С нами вошел, шел впереди, изредка оглядываясь и, если надо, нас поджидая. Мы сложили двустишие:

Человек туда идет,
Куда пес его ведет.

Осмотрев сад, мы все трое вышли в другие ворота.

Широкие коридоры нашей виллы освещались плохо, и я, начитавшись приключений вампира графа Дракулы, боялась ходить в отдаленный уголок и умоляла М. А. постеречь в коридоре, при этом просила петь или свистеть. Помню, как он пел «Дивные очи, очи, как море, цвета лазури небес голубых» и приговаривал: «Господи, как глупо!» — и продолжал: «То вы смеетесь, то вы грустите...»

Конечно, это было смешно, но граф Дракула требовал жертв...

Стоит посмотреть на фотографию М. А., снятую на Зеленом Мысе, и сразу станет ясно, что был он тогда спокоен и весел.

После Зеленого Мыса через Военно-Грузинскую дорогу во Владикавказ (Орджоникидзе). Наша машина была первая, пробравшаяся через перевал. Ничего страшного не случилось: надели цепи, разок отваливали снег. Во Владикавказе нас как первую ласточку встречали какие-то представители власти и мальчишки кричали «ура».

Поезд наш на Москву уходил часов в 11 ночи. Мы погуляли по городу. М. А. не нашел, чтобы он очень изменился за те 6—7 лет, которые прошли со времени его странствий.

Запомнилось мне, что цвела сирень и было ее очень много. Чтобы убить время, мы взяли билеты в театр лилипутов. Давали оперетту «Баядерка». Зал был переполнен. Я никогда не видела такого смешного зрелища—будто дети играют во взрослых. Особенно нас пленил герой-любовник. Он был в пробковом шлеме, размахивал ручками, а голосом старался изобразить страсть. Аплодисменты гремели. Его засыпали сиренью.

Потом дома, в Москве, Мака изображал актеров-лилипутов с комической каменной физиономией и походкой на негнущихся ногах, при этом он как-то особенно поводил головой.

Предчувствую, что последняя, обобщающая глава выйдет у меня растрепанной: уж очень много воспомина-

ется—и дурное, и хорошее. Все тут: самые разные люди, самые разные пьесы: «Бег», «Мольер» (была посвящена мне), «Адам и Ева». Повесть «Консультант с копытом», легшая в основу романа «Мастер и Маргарита» (к творчеству этих лет я буду понемногу возвращаться).

В 29—30 годах мы с М. А. поехали как-то в гости к его старым знакомым, мужу и жене Моисеенко (жили они в доме Нирензее в Гнездниковском переулке). За столом сидела хорошо причесанная интересная дама— Елена Сергеевна Нюренберг, по мужу Шиловская. Она вскоре стала моей приятельницей и начала запросто и часто бывать у нас в доме.

Так на нашей семейной орбите появилась эта женщина, ставшая впоследствии третьей женой М. А. Булгакова.

Постоянными нашими посетителями были все те же Коля и Тата Лямины, Анна Ильинична Толстая с мужем П. С. Поповым, Сережа Топленинов, Никитинские, Петя Васильев, сестры Понсовы (одна из них— Елена—теперь была уже женой Виктора Станицына, другая—Лидия—замужем за литературоведом Андреем Александровичем Сабуровым).

Приехала из Севастополя моя родная тетка, прозванная М. А. «железная». И вот почему. Мы повели ее на «Дни Турбиных». Она просила, а то ей неловко,—сказала она,—вернуться из Москвы в Севастополь и не увидеть столь нашумевшей пьесы. За время спектакля она не улыбнулась ни разу! Подумать только, что это родная сестра моей матери. Мама уже не раз бы плакала и смеялась сквозь слезы.

«Железная» подарила мне зеленую «саблинскую» гостиную, которую после революции крестьяне разобрали по избам. М. А. очень веселился и сказал, что с таким же успехом она могла подарить мне московский Кремль.

Вскоре у нас появился племянник теткинго мужа¹, мне уж ни с какой стороны не родственник, но он выдавал себя за моего двоюродного брата. Он отличался тем, что, не задумываясь, отвечал на все вопросы. Мама его разыгрывал.

— Интересно знать, сколько съедает взрослый лев?—спрашивал он, и тот молниеносно называл какую-нибудь фантастическую цифру. Бедный «всезнай-ка»! Он погиб в первые же месяцы войны, в народном ополчении. Совсем непонятно, как могли его туда

¹ Валерий Николаевич Вильгельмов.

взять: у него был больной позвонок, и он всегда ходил в ортопедическом корсете.

Приходили и литературные девушки. Со мной они, бывало, едва-едва кланялись, т. к. видели во мне препятствие к своему возможному счастью. Помню двух. Одну с разлетающимися черными бровями, похожую на раскольничью богородицу. Читала она рассказ про щенка под названием «Растопыра». Вторая походила на Дона Базилио, а вот что читала, не помню. М. А. был к ним очень снисходителен. Приходили и начинающие писатели. Один был не без таланта, но тяжело болен психически: он никак не мог избавиться от слуховых галлюцинаций. Несколько раз мы—М. А., Коля Лямин и я—ездили в студенческие компании, в которых уютно проводили время, обсуждая различные литературные проблемы.

По мере того как росла популярность М. А. как писателя, возрастало внимание к нему со стороны женщин, многие из которых (*nomina sunt odiosa*)¹ проявляли уж чересчур большую настойчивость...

Сначала я буду вспоминать о благополучном житье. Так веселее, писать радостнее, и кажется, что отдаляются, уходят куда-то вдаль черные дни. Так совпало (1928 г.), что идут сразу все три пьесы: «Дни Турбиных», «Зойкина квартира» и «Багровый остров». Но братья-писатели и братья-журналисты «бдят». Наступит время (и оно уже не за горами), когда ничего не будет. А пока... пока к нам ходят разные люди. Из писателей вспоминаю Ильфа и Евгения Петрова, Николая Эрдмана, Юрия Олешу, Е. И. Замятина, актеров М. М. Яншина, Н. П. Хмелева, И. М. Кудрявцева, В. Я. Станицына. Случалось, мелькал острый профиль Савонаролы—художника Н. Э. Радлова, приехавшего из Ленинграда.

После роли Алексея Турбина меня обуяло желание познакомиться с Хмелевым. Меня ждало разочарование. О таких говорят «ни песен, ни басен». Вот поди разберись после этого в тайне его перевоплощений, которые наводили на меня почти мистический трепет. Что ни роль—то событие. Особенно в «Дядюшкином сне». Это вершина актерского мастерства. М. А. в виде пробы хотел показать в театре роль Мозглякова из этой пьесы. Мне он показывал отрывок—невольно подражал Владимиру Станицыну.

Интересные страницы посвятила актриса и режиссер М. И. Кнебель Хмелеву в своей книге «Вся жизнь». Она дает сложный психологический анализ этой фигу-

¹ имена ненавистные, т. е. нежелательны (*лат.*).

ры, подчеркивает его детскость, наивность, подозрительность и порой тяжелую для окружающих мнительность.

«Интуиция Хмелева была феноменальной, следить за ходом его творческого процесса было наслаждением, столько таилось на этом пути открытий и неожиданностей».

«Он двадцатым чувством почувствовал цельность характера!» (Слова режиссера А. Д. Попова по поводу трактовки Хмелевым роли Ивана Грозного в пьесе А. Н. Толстого «Трудные годы».) Еще и еще раз скажу, что совершенно непонятно, как этот, ничем не примечательный молодой человек мог подняться на такие вершины театрального перевоплощения (пусть профессор Б. С. Мейлах, председатель комиссии комплексного изучения художественного творчества при Академии наук, лауреат Государственной премии СССР, разберется в этом вопросе).

Когда я буду писать о пьесе «Бег», где главная, самая ответственная и сложная роль предназначалась Хмелеву, я еще вернусь к нему...

Пока длится благополучие, меня не покидает одна мечта. Ни драгоценности, ни туалеты меня не влекут. Мне хочется иметь маленький автомобиль. Наш поэт Вэдэ написал стихи с рефреном:

Ах, вряд ли, вряд ли денег хватит
на небольшой автомобиль...

Но мечтать-то ведь может всякий!

Когда приходили к нам старые приятели: Понсовы, Сережа Топленинов, Петя Васильев, мы устраивали «блошинные бои». М. А. пристрастился к этой детской игре и достиг в ней необыкновенных успехов, за что получил прозвище «Мака-Булгака—блошинный царь». Заходил сразиться в блошки и актер Камерного театра Т. Ф. Волошин со своей миниатюрной и милой женой, японкой Инамэ-сан («Хризантема»). Иногда мы ходили на стадион химиков играть в теннис. Оба, бедняги, погибли в 1937 году, а куда делся их маленький сын—Эмио-сан («Луч солнца»), не знаю...

В те годы мы часто ездили в «Кружок» — клуб работников искусств в Старопименовском переулке.

Почти каждый раз за определенным столиком восседал Демьян Бедный, очень солидный, добротенно сложенный человек. В жизни не сказала бы, что это поэт. Скорее можно было представить себе, что это военный в генеральском чине...

В бильярдной зачастую сражались Булгаков и Маяковский, а я, сидя на возвышении, наблюдала за их

игрой и думала, какие они разные. Начать с того, что М. А. предпочитал «пирамидку», игру более тонкую, а Маяковский тяготел к «американке» и достиг в ней большого мастерства.

Я думала не только о том, какие они разные, но и о том, почему Михаил Афанасьевич играет с таким каменным замкнутым лицом. Отношения между Булгаковым и Маяковским никогда в прессе не освещались, а следует поговорить о них. Чего стоит одно выступление Маяковского по докладу А. В. Луначарского «Театральная политика советской власти» (2 октября 1926 г. в Ленинграде). Цитировать это выступление не принято, но, с моей точки зрения, необходимо.

«В чем не прав совершенно, на 100%, был бы Анатолий Васильевич? Если бы думал, что эта самая «Белая гвардия» является случайностью в репертуаре Художественного театра. Я думаю, что это правильное логическое завершение: начали с тетей Маней и дядей Ваней и закончили «Белой гвардией». (Смех.) Для меня во сто раз приятнее, что это нарвало и прорвалось, чем если бы это затушевывалось под флагом аполитичного искусства. Возьмите пресловутую книгу Станиславского «Моя жизнь в искусстве», эту знаменитую гурманскую книгу,— это та же самая «Белая гвардия»,— и там вы увидите такие песнопения по адресу купечества в самом предисловии... И в этом отношении «Белая гвардия» подпись на карточке внесла, явилась только завершающей на пути развития Художественного театра от аполитичности к «Белой гвардии»...

В отношении политики запрещения я считаю, что она абсолютно вредна... Но запретить пьесу, которая есть, которая только концентрирует и выводит на свежую водицу определенные настроения, какие есть,— такую пьесу запрещать не приходится. А если там вывели двух комсомольцев, то, давайте, я вам поставлю срыв этой пьесы,— меня не выведут. Двести человек будут свистеть, а сорвем и скандали, и милиции, и протоколов не побоимся. (Аплодисменты.)

...Мы случайно дали возможность под руку буржуазии Булгакову пискнуть— и пискнул. А дальше мы не дадим (Голос с места: «Запретить?»). Нет, не запретить. Чего вы добьетесь запрещением? Что эта литература будет разноситься по углам и читаться с таким же удовольствием, как я двести раз читал в переписанном виде стихотворения Есенина...

...революционные писатели идут плохо, ...новое искусство нужно продвигать...» (высказывается против порнографических «Мощей» Калининкова.—Л. Б.).

говорил, что «Дни Трубиных» написаны на потребу нэпманам, то в «Клопе» предсказывается писательская смерть М. А. Булгакова. Плохим пророком был Владимир Владимирович! Булгаков оказался в словаре не умерших, а заново оживших слов, оживших и зазвучавших с новой силой...

Запомнились мне постоянные посетители «Кружка», артисты Малого театра Пров Садовский и Михаил Францевич Ленин. Однажды мы приехали ужинать с артисткой МХАТа Верой Сергеевной Соколовой. К нам подошел черноволосый немолодой человек (тип процветающего юриста) и обратился к Вере Сергеевне с немногими, но выразительными словами. Он рассказал, как давно любит ее игрой, какой незабываемый образ создала она в роли Елизаветы Петровны, и, если она разрешит, он преподнесет ей ее портрет или во всяком случае похожее на нее изображение. Он живет совсем близко и съездит за портретом.

Мы сидели очень заинтригованные. Вера Сергеевна смутилась и порозовела. Через короткое время темно-волосый человек появился и подарил В. С. великолепную овальную миниатюру на металле с женской головкой. Может быть, она еще цела у сына В. С. Соколовой и Л. В. Баратова—Андрея? Так элегантно и неназойливо проявил свое поклонение таланту Соколовой, этой действительно тонкой артистки, антиквар Макс Бенедиктов...

Этой зимой (1928 г.) мы ходили на лыжах с Художественным театром. Водил нас инструктор Владимир Иванович—тот, прозванный нашей Марусей «странником»—на горы близ деревни Гладышево и в Сокольники. Лучше всех из нашей компании ходил на лыжах Иван Михайлович Кудрявцев (в «Турбиных»—Николка), как-то очень легко, невесомо, как «ангел по облакам», по выражению Михаила Афанасьевича.

В Гладышеве была закусочная, где мы делали привал. На стене красовалась надпись: «Неприлчными словами не выражаца». Мы и не выражались. Мы просто с удовольствием уничтожали яичницу-глазунью с колбасой, запивая ее пивом. Кудрявцев, помню, пошутил: «Может, и в раю так же будет»... Мы съезжали с высоких гор, кувыркались, теряли лыжи, а наш инструктор спускался на одной ноге и хоть бы что. С нами ходила наша приятельница Ирина Кисловская (на групповом снимке стоит по левую руку Станицына). Михаилу Афанасьевичу очень нравилось, что она низвергалась, не раздумывая, с любой высокой точки, а раз стала на голову, зарылась целиком в снег, но

отряхнулась и пошла дальше низвергаться как ни в чем не бывало.

Кроме лыж у меня завелось еще одно спортивное увлечение — верховая езда. Я ездила в группе в манеже Осоавиахима им. Подвойского на Поварской (теперь ул. Воровского). Наш шеф Н. И. Подвойский иногда приходил к нам в манеж. Ненадолго мы объединились с женой артиста Михаила Александровича Чехова, Ксенией Карловной, и держали на паях лошадь «Нину», существо упрямое, туповатое, часто становившееся на задние ноги, делавшее «свечку», по выражению конников. Вскоре Чеховы уехали за границу, и Нина была ликвидирована.

За Михаилом Афанасьевичем, когда ему было нужно, приезжал мотоцикл с коляской, к удовольствию нашей Маруси, которая сейчас же прозвала его «черепашкой» и ласково поглядывала на ее владельца, весьма и весьма недурного собой молодца...

Из Тифлиса к нам приехала Марика Чимишкиан. Меня не было дома, Маруся затопила ей ванну (у нас всюду было печное отопление, и М. А. иногда сам топил печку в своем кабинете. Помешивая, любил смотреть на подернутые золотом угли, но всегда боялся угара.). В это время к нам на Пироговскую пришел в гости Павел Александрович Марков, литературовед, сотрудник МХАТа. М. А. сказал ему:

— К нам приехал в гости один старичок, хорошо рассказывает анекдоты. Сейчас он в ванне. Вымоется и выйдет...

Каково же было удивление Павла Александровича, когда в столовую вместо старичка вышла Марика! Я уже говорила, что она была прехорошенькая. Марков начал смеяться. Надо сказать, как он смеется: не то всхлипывает, не то захлебывается, не то повизгивает. В этом смысле он уникален. Мака был доволен. Он радовался, когда шутки удавались, а удавались они почти всегда.

Помню, как-то раз мы поехали навестить нашу старую приятельницу Елену Павловну Лансберг. Как начался последовавший затем розыгрыш, точно не вспомню, не знаю, кто был инициатором. Сделали вид, что пришла одна я, а М. А. должен был позвонить в парадную дверь позже и притвориться, что он фининспектор и пришел описывать антикварную обстановку Елены Павловны. Спектакль предназначался гостившей у нее родственнице из Ленинграда... Звонок. В комнату вошел — надо признаться — пренеприятный тип. Он отрекомендовался фининспектором местного участка и

начал переходить от предмета к предмету, делая ехидные замечания. Родственница (помню, ее звали Олечка) сидела с каким-то застывшим выражением лица, потом отозвала Е. П. в соседнюю комнату и тревожно сказала шепотом:

— Это авантюрист какой-то! А ты у него даже не спросила документа!

Выходя к «фининспектору», она сказала, что в Ленинграде такие визиты не практикуются... Тут ей открыли истину. Должна сказать, что роль свою М. А. провел здорово. Я, бессловесная зрительница, наблюдала, как он ловко «вошел в образ», изменив походку, манеру говорить, жесты...

Вспонимается еще один розыгрыш. Как-то в мое отсутствие вечером Маке стало скучно. Тогда он позвонил другой нашей приятельнице, Зиновии Николаевне Дорофеевой, и угасающим голосом сказал ей, что ему плохо, что он умирает. Зика (ее домашнее имя) и ее подруга заканчивали перманент. Не уложив волос, завязав мокрые головы полотенцами, они обе в тревоге бросились к нам на Пироговскую, где их ждал веселенький хозяин и ужин с вином. Тут к «холодным ножкам», как говорят в народе, подспела и я. Не скрою, я очень удивилась, увидев дам в чалмах. Но за рюмкой вина все разъяснилось к общему удовольствию.

С приездом Марики появились у нас и новые знакомые. Она привела свою подружку Киру Андроникову, родную сестру киноактрисы Наты Вачнадзе. Ничего напоминающего сладкую красоту сестры в Кире не было. У той глаза как звезды, рот — розовый бутон, кожа — персик — весь арсенал женской восточной привлекательности. Кира же напоминала скорей статного грузинского юношу, с чертами лица четкими и открытыми. Она вышла замуж за писателя Бориса Пильняка и разделила печальную его участь.

Марика познакомила нас еще с занятой парой. Он — Тонин Пиччин, итальянец, маленький, подвижной, черный волосатый жук, вспыльчивый, всегда готовый рассердиться или рассмеяться. Она — русская, Татьяна Сергеевна, очень женственная, изящная женщина, влюбленная в своего мужа, всей душой привязанная к России. Представляю себе, как она тосковала, когда ей пришлось уехать вместе с мужем в Италию. Он был инженер, представитель фирмы «Фиат», а их всех «за ненадобностью» (?) выдворили из Союза. Если бы они оба сейчас были живы, они непременно вернулись бы в нашу страну, теперь, когда «Фиат» снова стал в чести.

М. А. написал им шуточные «домашние» стихи, которые я, конечно, не помню. Вспоминаю лишь строки, касающиеся Пиччина:

Я голову разбу,— кричит
И властно требует ключи,

ключи от машины, которую водила (и неплохо) Татьяна Сергеевна. Они бывали у нас, мы бывали у них. Часто кто-нибудь из них заезжал за нами на машине, чтобы покататься...

Погожий весенний день 1929 года. У нашего дома остановился большой открытый «фиат»: это мосье Пиччин заехал за нами. Выходим — Мака, я и Марика. В машине знакомимся с молодым красавцем в соломенном канотье (самый красивый из всех когда-либо виденных мной мужчин). Это итальянский журналист и публицист Курцио Малапарте¹, человек неслыханно бурной биографии, сведения о которой можно почерпнуть во всех европейских справочниках, правда, с некоторыми расхождениями. В нашей печати тоже не раз упоминалась эта фамилия, вернее псевдоним. Настоящее имя его и фамилия Курт Зуккерт.

Зеленым юношей в первую мировую войну пошел он добровольцем на французский фронт. Был отравлен газами, впервые примененными тогда немцами.

На его счету много острых выступлений в прессе: «Живая Европа», «Ум Ленина», «Волга начинается в Европе», «Капут» и много, много других произведений, нашумевших за границей и ни разу на русский язык не переводившихся. Если судить только по названиям, то они обличают крен влево. Но не всегда было так. Сначала поклонник Муссолини, потом его ожесточенный противник, он поплатился за это тяжелой ссылкой на Липарские острова. Умер он в 1957 году. У его смертного одра — по сообщениям иностранных источников — дежурил папский нунций, чтоб и в последний момент он не отринул обрядов католической церкви. Но это я забежала вперед, а пока это обаятельный веселый человек, на которого приятно смотреть и с которым приятно общаться. К сожалению, он пробыл в Москве очень недолго.

Перехожу к одной из самых неприятных страниц моих воспоминаний — к личности Сергея Ермолинского, о котором по его выступлению в печати (я имею в виду журнал «Театр», № 9, 1966 г. О Михаиле Булгакове) может получиться превратное представление.

¹ Когда его спросили, почему он взял такой псевдоним, он ответил: «Потому что фамилия Бонапарте была уже занята».

Летом 1929 года он познакомился с нашей Марикой и влюбился в нее. Как-то вечером он приехал за ней. Она собрала свой незамысловатый багаж. Мне было грустно. Маруся плакала, стоя у окна.

Ермолинский прожил с Марикой 27 лет, что не помешало ему в этих же воспоминаниях походя упомянуть о ней, как об «очень милой девушке из Тбилиси», не удостоив (это после двадцати-то семи лет совместной жизни!) даже назвать ее своей бывшей женой.

Жаль, что для мемуаристов не существует специальных тестов, определяющих правдивость и искренность автора. Плохо пришлось бы Ермолинскому перед детектором лжи. Я оставляю в стороне все его экскурсы в психологию: о многом он даже и не подозревает, хотя и претендует на роль конфидента М. А. Булгакова, который, кстати, никогда особого расположения к Ермолинскому не питал, а дружил с Марикой.

Об этом свидетельствуют хотя бы записки, оставшиеся от тех лет. Передо мной конверт, на нем написано рукой М. А.: «Марике Артемьевне для Любани» (не «другу» Сергею, а Марике).

А вот более поздняя записка от 5 февраля 1933 г.: «Любаня, я заходил к Марике в обеденное время (5 1/2), но, очевидно, у них что-то случилось — в окнах темно и только таксы лают. Целую тебя. М.».

И в других памятках никогда никакого упоминания о Сергее Ермолинском. Прочтя этот «опус» в журнале «Театр», к сожалению, бойко написанный, много раз поражаешься беспринципности автора. В мое намерение не входит опровергать по пунктам Ермолинского, все его инсинуации и подтасовки, но кое-что сказать все же нужно. Хотя воспоминания его забиты цитатами (Мандельштам, дважды — Герцен, М. Пришвин, Хемингуэй, Заболоцкий, П. Вяземский, Гоголь, Пушкин, Грибоедов), я все-таки добавлю еще одну цитату из «Горя от ума»: «Здесь все есть, коли нет обмана». Есть обман! Да еще какой. Начать с авторской установки. Первое место занимает сам Ермолинский, второе — так и быть — отведено умирающему Булгакову, а третье — куда ни шло — Фадееву, фигуре на литературном горизонте значительной.

Видите ли, на Б. Пироговской Ермолинского, как и всех гостей, встречал рыжий пес Бутон. Его встречал не пес Бутон, а я, хозяйка дома, которая восемь с половиной лет была женой писателя Булгакова. Мне были посвящены им роман «Белая гвардия», повесть «Собачье сердце» и пьеса «Мольер». Ермолинский не мог этого не знать, но по своей двуличной манере он

забывает то, что ему невыгодно помнить, как, например, свой двадцатисемилетний брак с Марикой Артемьевной Чимишкиан. «Забыл» он упомянуть и младшую сестру Михаила Афанасьевича Елену Афанасьевну, которая до последнего вздоха любимого брата была возле него. Подлаживаясь под выгодную для себя ситуацию, Ермолинский запросто смахнул живых людей, близких М. А.

На одном из последних предсмертных свиданий с сестрой Надеждой М. А. сказал ей: «Если б ты знала, как я боюсь воспоминателей!»

Могу себе представить, как возмущился бы он всей дешевой литературщиной, нескромностью, неблагородством воспоминаний С. Ермолинского...

Исподволь, без всякой надежды на приобретение автомобиля, я все же поступила на 1-е государственные курсы шоферов при Краснопресненском райсовете, не переставая ходить в манеж на верховую езду. К этому времени относится вот эта шутливая сценка-разговор М. А. по телефону с пьяненьким инструктором манежа.

СТЕНОГРАММА

Звонок

Я. Я слушаю вас.

Голос. Любовь Евгеньевна?

Я. Нет. Ее нет, к сожалению.

Голос. Как нет?.. Умница-женщина. Я всегда, когда что не так... (*икает*) ей говорю...

Я. Кто говорит?

Голос. Она в манеж ушла?

Я. Нет, она ушла за покупками.

Голос (*строго*). Чего?

Я. Кто говорит?

Голос. Это супруг?

Я. Да, скажите, пожалуйста, с кем я говорю?

Голос. Кстин Аплоньч (*икает*) Крам... (*икает*).

Я. Вы позвоните ей в пять часов, она будет к обеду.

Голос (*с досадой*). Э... не могу я обедать... не в том дело! Мерси. Очень приятно... Надеюсь, вы придете?..

Я. Мерси.

Голос. В гости... Я вас приму. В среду? Э? (*Часто икает.*) Не надо ей ездить! Не надо. Вы меня понимаете?

Я. Гм...

Голос (*зловеще*). Вы меня понимаете? Не надо ей ездить в манеже! В выходной день, я понимаю, мы ей дадим лошадь... А так не надо! Я гвардейский бывший

офицер и говорю — не надо — нехорошо. Сегодня едет, завтра поскачет. Не надо (*таинственно*). Вы меня понимаете?

Я. Гм...

Голос (*сурово*). Ваше мнение?

Я. Я ничего не имею против того, чтобы она ездила.

Голос. Все?

Я. Все.

Голос. Гм... (*икает*). Автомобиль? Молодец. Она в манеж ушла?

Я. Нет, в город.

Голос (*раздраженно*). В какой город?

Я. Позвоните ей позже.

Голос. Очень приятно. В гости, с Любовью Евгеньевой? Э! Она в манеж ушла?

Я (*раздраженно*). Нет...

Голос. Это ее переутомляет! Ей нельзя ездить... (*Бурно икает.*) Ну...

Я. До свидания... (*Вешаю трубку.*)

(Пауза три минуты.)

Звонок.

Я. Я слушаю вас.

Голос (*слабо, хрипло, умирая*). Попроси... Лю... Бовьгенину.

Я. Она ушла.

Голос. В манеж?

Я. Нет, в город.

Голос. Гм... Ох... Извините... что пабскакоил... (*Угаивает.*)

(Вешаю трубку.)

Конечно, в жизни все было по-другому, но так веселей... То самое время, о котором так мечтали и которого так добивались «братья по перу», настало: все пьесы сняты.

На шоферских курсах, куда я поступила вместе с нашим знакомым Александром Викторовичем Талановым, я была единственная женщина (тогда автомобиль представлялся чем-то несбыточно сказочным).

Ездить по вечерам на курсы на Красную Пресню с двумя пересадками было муторно, но время учения пролетело быстро. Практику — это было самое приятное — проходили весной. Экзамены сдавали в самом начале мая. Было очень трогательно, когда мальчики после своих экзаменов приехали ко мне рассказать, что

спрашивает комиссия, каких ошибок надо избегать, на какой зарубке держать газ. Шоферское свидетельство я получила 17 мая.

М. А. не преминул поделиться с друзьями: «Иду я как-то по улице с моей элегантной женой и вдруг с пронсящейся мимо грузовой пятитонки раздается крик: «Наше вам с кисточкой!» Это так шоферы приветствуют мою супругу...»

Про кисточку, конечно, он сочинил, а что сплошь и рядом водители, проезжая мимо, здоровались, это верно...

У меня сохранилось много разных записок, открыток, посланных М. А. из различных мест. Вот 1928 год. Он едет на юг.

18 августа. Конотоп.

Дорогой Топсон (это одно из моих многочисленных прозвищ).

Еду благополучно и доволен, что вижу Украину. Только голодно в этом поезде зверски. Питаюсь чаем и видами. В купе я один и очень доволен, что можно писать. Привет домашним, в том числе и котам. Надеюсь, что к моему приезду второго уже не будет (продай его в рабство).

Тиш, тиш, тиш...

Твой М.

(Поясню, что такое «тиш, тиш, тиш». Это, когда кто-нибудь из нас бушевал, другой его так успокаивал.)
18 августа 28 г. Под Киевом.

Дорогой Топсон,

Я начинаю верить в свою звезду: погода испортилась!

Твой М.

Тиш, тиш, тиш!

Как тянет земля, на которой человек родился.

19 авг.

Я в Одессе, гостиница «Империаль».

М.

13 октября 28 г. За Харьковом.

Дорогой Любан.

Я проснулся от предчувствия под Белгородом. И точно: в Белгороде мой международный вагон выкинули к черту, т. к. треснул в нем болт. И я еду в другом не международном вагоне. Всю ночь испортили.

(Далее М. А. пишет о декларации, которую надо подавать в фининспекцию.) И приписка: «Не хочу, чтобы выкинули вагон!»

Твой.

(Это выражение имеет свою историю. Мой племянник, Игорь Владимирович Белозерский, когда был маленький, необыкновенно капризничал, особенно за едой. «Не хочу!» — только и было слышно. Тогда ему сказали: «Ну что ты капризничаешь? Ты уже все съел!» Тогда он заорал: «Не хочу, чтобы съел!»)

Есть и рисунки. Существовал у нас семейный домовый Рогаш. Он появлялся всегда неожиданно и показывал свои рожки: зря нападал, ворчал, сердился по пустому поводу.

Иногда Рогаш раскаивался и спешил загладить свою вину. На рисунке М. А. он несет мне, Любанге, или сокращенно Банге, кольцо с бриллиантом в 5 каратов. Кольцо это, конечно, чисто символическое...

Из дорогих вещей М. А. подарил мне хорошие жемчужные серьги, которые в минуту жизни трудную я продала. А вот имя Банга перешло в роман «Мастер и Маргарита». Так зовут любимую собаку Пилата...

Уже у нас нет Маруси с ее необыкновенными куличами — она вышла замуж. У нас Нюша, или Анна Матвеевна, девушка шибко грамотная, добродушная, с ленцой и любопытная. Чтобы парализовать ее любопытство, М. А. иногда пишет латинскими буквами: «Ja podosrevaĵu chto kochka ne otchen sita»

М.

Когда меня долго нет, коты возмущаются:

«Токуйю маму

Выбросит вяму

Уважающийся Кот

Паппа Лег

спат его

Ря».

А вот записка от необыкновенно озорного и веселого котенка Флюшки, который будто бы бил все, что подворачивалось ему «под лапу». На самом же деле старались Мака и Анна Матвеевна, а потом мне подсовывали на память осколки и письмишко вроде этого:

«Дараггой мами от Flüchke».

Флюшка с Бутоном затевали бурные игры и возились, пока не впадали в изнеможение. Тогда они как два распластанных полотенца лежали на полу, все же искоса поглядывая друг на друга. Эти игры мы называли «сатурналиями». Помнится, я спросила Марикиного приятеля — кинематографиста Венцеля, нельзя ли снять

их полные грации, изобретательности и веселия игры. Он ответил—нельзя: в квартире нет подходящего освещения, а под сильной лампой они играть не будут.

Принесенный мной с Арбата серый озорной котенок Флюшка (у нас его украли, когда он сидел в форточке и дышал свежим воздухом),—это прототип веселого кота Бегемота, спутника Воланда («Мастер и Маргарита»).

«— Не шалю. Никого не трогаю. Починяю примус»... Я так и вижу все повадки Флюшки!

Послания котов чередуются с записками самого М. А.

«Дорогая кошечка,
на шкаф, на хозяйство, на портниху, на зубного врача,
на сладости, на вино, на ковры и автомобиль—
30 рублей.

Кота я вывел на свежий воздух, причем он держался за мою жилетку и рыдал.

Твой любящий.

Я на тебя, Ларион, не сержусь». (Последняя фраза из «Дней Турбиных». Мышлаевский говорит ее Лариосику.)

В начале лета 1928 года я задумала поехать на Волгу в г. Вольск, чтобы отыскать там могилу мамы и брата, умерших от сыпного тифа во время голода в Поволжье. Надо было поставить ограду.

Незадолго до моей поездки проездом из Ленинграда в Тифлис у нас остановилась Марика Чимишкиан. В день ее отъезда позвонил Маяковский и сказал, что он заедет проводить Марику (они старые тифлисские знакомые). В поместительной машине сидел он и киноактриса Ната Вачнадзе. Присоединились и мы трое. Большое внимание проявил В. В. по отношению к Марике: шоколад, питье в дорогу, журналы, чтобы она не скучала. И все как-то очень просто и ласково. По правде говоря, я не ожидала от него этого. Обратного мы ехали молча. Я сказала:

— Что это мы молчим? Едем как с похорон.

Ната и Мака промолчали, а Владимир Владимирович сказал:

— Действительно, как с похорон.

Должно быть, здорово нравилась ему наша Марика!

Путешествие мое на пароходе от Нижнего до Вольска по разлившейся Волге было красиво и приятно. Из окрестных лесов ветер доносил запах ландышей. Дышалось легко и радостно.

К счастью, в Вольске я нашла старую знакомую и

из грязных меблврашек «Южный полюс» перебралась к ней в чистый, заставленный цветами уютный домик. «Город обветшал, обтрепался, а сколько умерло, не сосчитать»,— пишу я Тате Ляминой в Елатьму.

Переписываю целиком письмо-телеграмму, присланную мне в Вольск М. А. 16 июня.

«Полтора ста рублей перевел телеграфом, намучившись на телеграфе вследствие чудовищного адреса двойственная нумерация поразительна—это двойной номер дома или первый номер дома второй квартиры прелестнее всего загадочное слово румянцева мужчина или женщина дом румянцева или квартира румянцевой или не дом и не квартира а просто лицо которое должно фигурировать денежном адресе выбрасываю это слово безжалостно все целуем подтверди получение денег и пришли скольконибудь осмысленный адрес Мака».

Вторая телеграмма, посланная из Москвы двумя днями позже, более милостива: «Домашние тоже соскучились рады что поиски успешны целуют пенаты».

«Пенаты»—это весь комплекс домашней жизни. В первой телеграмме, видно, принимал участие Рогаш, о котором я писала и чей портрет приложила.

Самые ответственные моменты зачастую отражаются в шуточных записках М. А. Когда гражданская смерть, т. е. полное изничтожение писателя Булгакова стало невыносимым, он решил обратиться к правительству, вернее, к Сталину. Передо мной две записки:

«Не уны... Я бу боро...»—стояло в одной. И в другой: «Папа придумал! И решился»...

По Москве сейчас ходит якобы копия письма М. А. к правительству. Спешу оговориться, что это «эссе» на шести страницах не имеет ничего общего с подлинником. Я никак не могу сообразить, кому выгодно пустить в обращение этот опус. Начать с того, что подлинное письмо, во-первых, было коротким. Во-вторых,—за границу он не просился. В-третьих,—в письме не было никаких выпреженных выражений, никаких философских обобщений. Основная мысль булгаковского письма была очень проста.

«Дайте писателю возможность писать. Объявив ему гражданскую смерть, вы толкаете его на самую крайнюю меру».

Вспомним хронику событий:

в 1925 году кончил самоубийством поэт Сергей Есенин;

в 1926 году—писатель Андрей Соболев;

в апреле 1930 года, когда обращение Булгакова, посланное в конце марта, было уже в руках Сталина,

застрелился Владимир Маяковский. Ведь нехорошо получилось бы, если бы в том же году наложил на себя руки Михаил Булгаков?

Вообще восстановлению истины и прекращению появления подобных «эссе» очень помог бы архив Сталина, который, я уверена, сохранился в полном порядке.

«Письмо», ныне ходящее по рукам,— это довольно развязная компиляция истины и вымысла, наглядный пример недопустимого смещения исторической правды. Можно ли представить себе, что умный человек, долго обдумывающий свой шаг, обращаясь к «грозному духу», говорит следующее:

«Обо мне писали как о «литературном уборщике», подбирающем объедки после того, как «наблевала дюжина гостей».

Нужно быть ненормальным, чтобы процитировать такое в обращении к правительству, а М. А. был вполне нормален, умен и хорошо воспитан... Однажды, совершенно неожиданно, раздался телефонный звонок. Звонил из Центрального Комитета партии секретарь Сталина Товстуха. К телефону подошла я и позвала М. А., а сама занялась домашними делами. М. А. взял трубку и вскоре так громко и нервно крикнул «Любаша!», что я опрометью бросилась к телефону (у нас были отводные от аппарата наушники).

На проводе был Сталин. Он говорил глуховатым голосом, с явным грузинским акцентом и себя называл в третьем лице. «Сталин получил, Сталин прочел...»¹ Он предложил Булгакову:

— Может быть, вы хотите уехать за границу?

(Незадолго перед этим по просьбе Горького был выпущен за границу писатель Евгений Замятин с женой.) Но М. А. предпочел остаться в Союзе.

Прямым результатом беседы со Сталиным было назначение М. А. Булгакова на работу в Театр рабочей молодежи, сокращенно ТРАМ.

Вскоре после этого у нас на Пироговской появились двое молодых людей. Один высокомерный— Федор Кнорре, другой держался лучше— Николай Крючков. ТРАМ— не Художественный театр, куда жаждал попасть М. А., но капризничать не приходилось. Трамвайцы уезжали в Крым и пригласили Булгакова с собой. Он поехал.

¹ «Уже и сам себя нередко Он в третьем называл лице»

(Твардовский А. Т. Так это было.— Правда, 1960, 29 апреля.).

15 июля 1930 г. Под Курском.

Ну, Любаня, можешь радоваться. Я уехал! Ты скучаешь без меня, конечно? Кстати: из Ленинграда должна быть телеграмма из театра. Телеграфируй мне коротко, что предлагает мне театр. Адрес свой я буду знать, по-видимому, в Севастополе. Душка, зайди к портному. Вскрывавай всю корреспонденцию. Твой.

Бурная энергия трамвцев гоняла их по поезду, и они принесли известие, что в мягком вагоне есть место. В Серпухове я доплатил и перешел.

В Серпухове в буфете не было ни одной капли никакой жидкости. Представляете себе трамвцев с гитарой, без подушек, без чайников, без воды, на деревянных лавках? К утру трупики, надо полагать. Я устроил свое хозяйство на верхней полке. С отвращением люблю пейзажами. Солнце. Гуси.

16 июля 1930 г. Под Симферополем. Утро.

Дорогая Любаня! Здесь яркое солнце. Крым такой же противенький, как и был. Трамвцы бодры как огурчики. На станциях в буфетах кое-что попадает, но большею частью пустовато. Бабы к поездам на юге выносят огурцы, вишни, яйца, булки, лук, молоко. Поезд опаздывает. В Харькове видел Оленьку (очень мила, принесла мне папирос), Федю, Комиссарова и Лесли. Вышли к поезду. Целую! Как Бутон?

Пожалуйста, ангел, сходи к Бычкову-портному, чтобы поберег костюм мой. Буду мерить по приезде. Если будет телеграмма из театра в Ленинграде—телеграфируй. М.

17 июля 1930 г. Крым. Мисхор. Пансионат «Магнолия».

Дорогая Любинька, устроился хорошо. Погода неописуемо хороша. Я очень жалею, что нет никого из приятелей, все чужие личики¹. Питание: частным образом, по-видимому, ни черта нет. По путевкам в пансионате—сносное вполне. Жаль, что не было возможности мне взять тебя (совесть грызет, что я один под солнцем). Сейчас еду в Ялту на катере, хочу посмотреть, что там. Привет всем. Целую.

Мак.

Делаю пояснения к письму от 16 июля. Оленька—Ольга Сергеевна Бокшанская, секретарь В. И. Немировича-Данченко; Федя—Федор Николаевич Михальский,

¹ Но трамвцы—симпатичны.

администратор Художественного театра. Комиссаров и Лесли — актеры этого же театра.

В скором времени после приезда в Крым М. А. получил вызов в ЦК партии, но бумага показалась Булгакову подозрительной. Это оказалось «милой шуткой» Юрия Олеши. Вообще Москва широко комментировала звонок Сталина. Каждый вносил свою лепту выдумки, что продолжается и по сей день. Роман с Театром рабочей молодежи так и не состоялся: М. А. направили на работу в Художественный театр, чего он в то время пламенно добивался.

По вечерам нередко к нам приезжала писательница Наталия Алексеевна Венкстерн. Она уже написала пьесу «В 1825 году», шедшую с большим успехом во МХАТе 2-м. В ней особенно хороши были Гиацинтова и Берсенов. Московский Художественный театр заказал писательнице инсценировку «Пиквикского клуба» Диккенса. По Москве тогда пошли слухи, что пьесу написал Булгаков. Это неправда: Москва любит сплетничать. Наташа приносила готовые куски, в которых она добросовестно старалась сохранить длинные диккенсовские периоды, а М. А. молниеносно переделывал их в короткие сценические диалоги. Было очень интересно наблюдать за этим колдовским превращением. Но Наталия Венкстерн, женщина умная и способная, очень скоро уловила, чего добивался Булгаков.

«Пиквикский клуб» был поставлен в МХАТе в 1934 году В. Станицыным. Декорации в стиле старинной английской раскрашенной гравюры написал П. Вильямс, музыку — Н. Сизов. Некоторые песенки до сих пор еще звучат в моей памяти:

«Здравствуй, дом,
Прощай, дорога», —

много раз напевали москвичи. В роли судьи в этой пьесе в 1935 году выступил М. А. Это была единственная роль, сыгранная им в МХАТе.

Публика любила этот молодой, жизнерадостный спектакль. Мне кажется, он и сейчас был бы интересен и даже нужен для молодежи как образец английской классики.

В это кризисное время я постаралась устроиться на работу. Еще на шоферских курсах инженер Борис Эдуардович Шпринк, читавший у нас моторостроение и работавший заместителем главного редактора «Технической энциклопедии», предложил мне поступить к ним в редакцию. Я поступила. Мне нравилось. Все было очень культурно, и там легко дышалось.

— Эх, Любашка, ничего из этого дела не выйдет,— сказал Михаил Афанасьевич. У него, видно, было обостренное ощущение существовавшей недоброжелательности по отношению к себе, писателю Булгакову, а рикошетом и ко мне, его жене.

Он как в воду смотрел. Истекал положенный месячный срок перед проведением меня в штат: не хватало нескольких дней. Борис Эдуардович позвал к себе в кабинет и как-то смущенно сказал, что кадры меня не пропускают.

— Сам Людвиг Карлович (это главный редактор, Мартенс) беседовал с кадрами, настойчиво просил за вас, пытался убедить их, но все напрасно.

Я поблагодарила и отбыла на свою Пироговскую. Тогда я не знала, что представляет собой Людвиг Карлович Мартенс. Знала, что это культурный, воспитанный и доброжелательный человек. Прошло 35 лет. И вот передо мной «Известия» за 19 января 1965 г. Рубрика: *Борцы за великое дело. Портрет. Заголовок: Дипломат, ученый, изобретатель.* В краткой биографии говорится, что Людвиг Карлович Мартенс был стойким большевиком-ленинцем, соратником Владимира Ильича, выполнявшим в Германии и Англии революционные поручения самого Ленина. По его же указанию и решению ЦК партии Мартенс в 1919 году был назначен представителем Советского правительства в Соединенных Штатах, где провел два бурных и трудных года. Ему все же удалось организовать в Нью-Йорке советскую миссию и основать два общества: «Друзья Советской России» и «Техническая помощь Советской России».

Когда он вернулся в Москву, в кремлевской квартире состоялась его дружественная встреча с В. И. Лениным, Людвиг Карлович Мартенс играл большую роль в становлении хозяйства и техники молодой Советской республики, был членом президиума Госплана СССР, был ректором и профессором в Московском техническом институте. На его счету научные работы и изобретения... Мне приятно, что такой человек заступился за меня.

Но кадры оказались все же сильнее видного соратника Ленина!

В 1931 году Всеволод Мейерхольд пригласил Михаила Афанасьевича приехать к нему в театр побеседовать. Прошло шесть лет, и Мейерхольд, видно, успел забыть, что было написано в повести Булгакова «Роковые яйца» (сборник «Дьяволиада», альманах «Недра», 1925 г.).

«Театр имени покойного Всеволода Мейерхольда, погибшего, как известно, в 1927 году при постановке пушкинского «Бориса Годунова», когда обрушились трапеции с голыми боярами, выбросил движущуюся разных цветов электрическую вывеску, возвещавшую пьесу писателя Эренборга «Курий дох»... Мейерхольд забыл, а вот писатель Эренбург не забыл и не простил этот «Курий дох»...

Не только в «Дьяволяде» М. А. Булгаков полемизировал с режиссерским направлением Мейерхольда. Передо мной фельетон писателя «Столица в блокноте», напечатанный в газете «Накануне» 9 февраля 1923 года. В нем имеется раздел VI «Биомеханическая глава» (привожу отрывки из нее).

Зови меня вандалом.
Я это имя заслужил.

Признаюсь: прежде, чем написать эти строки, я долго колебался. Боялся. Потом решил рискнуть.

После того, как я убедился, что «Гугеноты» и «Риголетто» перестали меня развлекать, я резко кинулся на левый фронт. Причиной этого был И. Эренбург, написавший книгу «А все-таки она вертится», и двое длинноволосых московских футуристов, которые появлялись ко мне ежедневно в течение недели, за вечерним чаем ругали меня «мещанином».

Неприятно, когда это слово тычут в глаза, и я понял, будь они прокляты! Пошел в театр ГИТИС на «Великодушного рогоносца» в постановке Мейерхольда.

Дело вот в чем: я—человек рабочий. Каждый миллион дается мне путем ночных бессонниц и дневной зверской беготни. Мои денежки,—как раз те самые, что носят название кровных. Театр для меня—наслаждение, покой, развлечение, словом, все, что угодно, кроме средства нажать новую хорошую неврастению, тем более, что в Москве есть десятки возможностей нажать ее без затраты на театральные билеты.

Я не И. Эренбург и не театральный мудрый критик, но судите сами: В общипанном, ободранном, сквозняковом театре вместо сцены—дыра (занавеса, конечно, нету и следа). В глубине—голая кирпичная стена с двумя гробовыми окнами.

А перед стеной сооружение. По сравнению с ним проект Татлина может считаться образцом ясности и простоты. Какие-то клетки, наклонные плоскости, палки, дверки и колеса. И на колесах буквы кверху ногами «сч» и «те». Театральные плотники, как дома, ходят взад и вперед, и долго нельзя понять: началось ли уже действие или еще нет.

Когда же начинается (узнаешь об этом по тому, что все-таки вспыхивает откуда-то сбоку свет на сцене), появляются синие люди (актеры и актрисы, все в синем...).

Действие: женщина, подобрав синюю юбку, съезжает с наклонной плоскости на том, на чем и женщины и мужчины сидят. Женщина мужчине чистит зад платяной щеткой. Женщина на плечах у мужчин ездит, прикрывая стыдливо ноги прозодеждной юбкой.

— Это биомеханика,— пояснил мне приятель.

Биомеханика!! Беспомощность этих синих биомехаников, в свое время учившихся произносить слащавые монологи, вне конкуренции. И это, заметьте, в двух шагах от Никитинского цирка, где клоун Лазаренко ошеломляет чудовищными salto!

Кого-то вертящейся дверью колотят уныло и настойчиво опять по тому же самому месту. В зале настроение как на кладбище, у могилы любимой жены. Колеса вертятся и скрипят.

После первого акта капельдинер:

— Не понравилось у нас, господин?

Улыбка настолько нагла, что мучительно захотелось биоманхнуть его по уху...

— Мейерхольд—гений!!!—завывал футурист.

Не спорю. Очень возможно. Пускай—гений. Мне все равно. Но не следует забывать, что гений одинок, а я—масса. Я—зритель. Театр для меня. Желая ходить в понятный театр».

Когда мы приехали в театре Мейерхольда, шла пьеса Юрия Олеши «Список благодетелей». Он был на спектакле. Я помню, что пьеса хорошо смотрелась, но в последнем акте не совсем понятно было, почему вдруг умирает героиня (играла Зинаида Райх).

— От шальной пули парижского ажана,—объяснил нам Олеша.

Мы пошли за кулисы к Мейерхольду. В жизни не видела более неуютного театра, да еще неприятного мне по воспоминаниям. В 1927 году здесь происходил диспут по поводу постановок «Дни Турбиных» и «Любовь Яровая» Тренева. Из двух «воспоминателей»—Ермолинского и Миндлина—последний все же ближе к истине хотя бы потому, что отметил, как с достоинством держался М. А.; не задыхался, руками не размахивал, ничего не выкрикивал, как сообщает об этом Ермолинский (журнал «Театр», 1966, № 9).

Журнал «Огонек» частично опубликовал стенограмму этого диспута (№ 11, март 1969 г.).

М. А. выступил экспромтом и поэтому не очень

гладко, но основная мысль его выступления ясна, и настойчивый преследователь Булгакова Орлинский получил по носу.

Я живо представила себе, как в далекие времена происходило судилище над еретиком под председательством Великого Инквизитора... Нужно отдать должное бедному моему «еретику» — он был на высоте.

Мне хочется попутно сказать несколько слов о Юрии Олеше. Когда в 1965 году вышла его книга «Ни дня без строчки», я с жадностью принялась ее читать в тайной надежде увидеть хоть несколько строк о Булгакове. Ведь они долго работали вместе, их пьесы игрались в одном театре, Олеша бывал у нас, М. А. называл его «Малыш» и отнесся так снисходительно к «шутке», когда Олеша мистифицировал Булгакова, послав ему «вызов» в ЦК. Кому-кому, а уж Олеше логикой взаимного расположения было положено вспомнить М. А. Но нет, не тут-то было — ни строчки. Что это? Умысел ретивого редактора? Как-то мне не верится, что в рукописи не было даже ни разу упомянуто имя писателя Булгакова.

В предисловии отмечена скромность автора книги. Привожу цитату:

«Когда репетируют эту пьесу, я вижу, как хорошо в общем был написан «Список благодетелей». Тут даже побольше можно применить слова: какое был он замечательное произведение!..»

И еще: «У меня есть убеждение, что я написал книгу «Зависть», которая будет жить века. У меня сохранился ее черновик, написанный мною от руки. От этих листков исходит эманация изящества. Вот как я говорю о себе!»

И последняя цитата, после конфликта с газетчиком у киоска: «Думал ли я, мальчик, игравший в футбол, думал ли я, знаменитый писатель, на которого, кстати, оглядывался весь театр, что в жаркий день, летом, отойду от киоска, прогнанный, и поделом».

Чехов так бы никогда писать не стал. Булгаков о себе тоже никогда бы так не написал.

Разве это называется скромность?

1931 год ознаменован главным образом работой над «Мертвыми душами», инсценировкой М. А. для Художественного театра. Конечно, будь воля драматурга, он подошел бы к произведению своего обожаемого писателя не так академично, как этого требовал театр. Да он и представил другой, свой любимый вариант или, вернее, план варианта: Гоголь в Риме. А затем Гоголь исполняет роль Первого — ведет спектакль. Писал

М. А. с увлечением и мечтал, представляя себе, как это будет звучать и смотреться со сцены. Текст почти целиком взят из Гоголя: скомпанован он был виртуозно. Но Станиславский не согласился с Булгаковым и остановился на академическом варианте.

Мака очень огорчился и все приговаривал: «Как жаль Рима!», «Где мой Рим?»

Булгаков не только инсценировал «Мертвые души», но и принимал участие в выпуске спектакля в качестве режиссера-ассистента.

В 1932 году «Мертвые души» увидели свет рампы (спешу оговориться: в книге М. Кнебель «Вся жизнь» ошибочно указан год выпуска пьесы — 1933). Основные роли разошлись так:

И. М. Москвин — Ноздрев
М. М. Тарханов — Собакевич
Л. М. Леонидов — Плюшкин
В. О. Топорков — Чичиков
М. П. Лилина — Коробочка
М. Н. Кедров — Манилов
В. Я. Станицын — Губернатор

Вскоре после премьеры как-то днем раздался телефонный звонок. К аппарату подошел М. А., сказал несколько слов, отложил трубку и обратился ко мне:

— С тобой хочет поговорить Константин Сергеевич

Я замахала руками, затрясла отрицательно головой, но, ничего не поделаешь, пришлось подойти.

— Интересный ли получился спектакль? — спросил К. С.

Я ответила утвердительно, слегка покривив душой. Видно, необыкновенный старик почувствовал неладное. Он сказал:

— Да вы не стесняйтесь сказать правду. Вам бы очень не хотелось, чтобы спектакль напоминал школьные иллюстрации.

Я уж не сказала К. С., что именно школьные годы напомнил мне этот спектакль и Александринку в Петрограде, куда нас водили смотреть произведения классиков...

Вспоминая сейчас прошедшие годы нашей пестрой жизни, хочется полнее сказать о некоторых чертах характера Михаила Афанасьевича. Он был как-то застенчиво добр: не любил афишировать, когда делал что-то хорошее.

Был такой случай: нам сообщили, что у нашей приятельницы Елены Павловны Лансберг наступили роды и проходят они очень тяжело: она страшно мучается. Мака мгновенно, не говоря ни слова, напра-

вился в родильный дом. Дальше вспоминает сама Елена Павловна спустя много лет, уже тогда, когда М. А. не было на свете.

— Он появился совершенно неожиданно, был особенно ласков и так старался меня успокоить, что я должна была успокоиться хотя бы из чувства простой благодарности. Но без всяких шуток: он вытащил меня из полосы черного мрака и дал мне силы переносить дальнейшие страдания. Было что-то гипнотизирующее в его успокоительных словах, и потому всю жизнь я помню, как он помог мне в такие тяжелые дни...

В более поздние годы к нам повадилась ходить дальняя родственница первой жены М. А.¹, некая девушка Маня, существо во многих отношениях странное, с которым надо было держать ухо востро. Работая на заводе, она однажды не поладила с начальством и в пику ему закатила такую истерику (воображаю!), что ее отправили в психиатрическую больницу. Правда, через несколько дней врач разобрался, что это притворщица, и выписал ее домой. М. А. спросил ее, на что же она рассчитывала, устраивая такие фокусы. «На вас,— не моргнув глазом, ответила она.— Я знала, что вы меня все равно во что бы то ни стало выручите!»

Вообще-то она была девка бросовая, но вот в доброту Михаила Афанасьевича ни минуты не сомневалась...

Михаил Афанасьевич любил животных, но это я его «заразила». Я рада, что привнесла совершенно новую тему в творчество писателя. Я имею в виду, как в его произведениях преломилось мое тяготение, вернее, моя постоянная, неизменная любовь к животным.

Вот передо мной весь его литературный путь. Нигде, никогда (если не считать фельетона «Говорящая собака», напечатанного в «Гудке», да и собака-то там— объект жульничества) не останавливается он на изображении домашней кошки, любимой собаки: их у него просто не было, как вообще не водились они в киевском доме Булгаковых.

Обратимся к роману «Белая гвардия». Обжитой дом, уютная обстановка, дружная семья. Казалось бы, где как не там приютиться и свернуться калачиком на старом кресле домашнему коту. Нет. Не может здесь этого быть. И вот появилась я, а вокруг меня всегда ютятся и кормятся разное зверье.

В 1925 году в нашем первом совместном доме (в

¹ Первая жена Михаила Афанасьевича Булгакова—Татьяна Николаевна Лаща, на которой он женился еще будучи студентом.

Чистом переулке) написана повесть «Собачье сердце», посвященная мне. Герой повести, бродячий пес Шарик, написан с проникновенной симпатией.

Следующее наше жилье в М. Левшинском переулке «оснащено» кошкой Мукой. Она воспета в рукописной книжке «Муки-Маки» (стихи Вэдэ, иллюстрации Н. Ушаковой и С. Топленинова).

В последнем, неоконченном произведении М. А., «Театральном романе», в главе «Приступ неврастении» Максудов, от лица которого ведется повествование, подвержен страху смерти. В своем одиночестве он ищет «помощи и защиты от смерти». «И эту помощь я нашел. Тихо мякнула кошка, которую я некогда подобрал в воротах. Зверь встревожился. Через секунду зверь уже сидел на газетах, смотрел на меня круглыми глазами, спрашивал — что случилось?

Дымчатый тощий зверь был заинтересован в том, чтобы ничего не случилось. В самом деле, кто же будет кормить эту старую кошку?

— Это приступ неврастении,— объяснил я кошке.— Она уже завелась во мне, будет развиваться и сгложет меня. Но пока еще можно жить...»

Следующий этап — пес Бутон (назван в честь слуги Мольера).

Мы переезжаем в отдельную трехкомнатную квартиру на Б. Пироговскую, где будет царить Бутон.

В романе «Мастер и Маргарита» в свите Воланда изображен волшебный кот-озорник Бегемот, по определению самого писателя, «лучший кот, какой существовал когда-либо в мире». Прототипом послужил наш озорной и обаятельный котенок Флюшка.

В том же романе (в главах, написанных с непревзойденным мастерством) у прокуратора Иудеи, всадника и патриция Понтия Пилата, существует любимая собака Банга. На допросе Иешуа, когда наступает переломный момент и головная боль у прокуратора проходит, Иешуа говорит Пилату: «Ты не можешь даже и думать о чем-нибудь и мечтаешь только о том, чтобы пришла твоя собака, единственное, по-видимому, существо, к которому ты привязан...»

В пьесе «Адам и Ева» (1931 г.) даже на фоне катастрофы мирового масштаба академик Ефросимов, химик, изобретатель аппарата, нейтрализующего самые страшные газы, тоскует, что не успел облучить своего единственного друга, собаку Жака, и этим предотвратить ее гибель.

Ефросимов. Ах, если бы не Жак, я был бы совершенно одинок на этом свете, потому что нельзя

же считать мою тетку, которая гладит сорочки... Жак освещает мою жизнь... Жак — это моя собака. Вижу, идут четверо, несут щенка и смеются. Оказывается — вешать! И я им заплатил 12 рублей, чтобы они не вешали его. Теперь он взрослый, и я никогда не расстанусь с ним. В неядовитые дни он сидит у меня в лаборатории и смотрит, как я работаю. За что вешать собаку?

* * *

Мы часто опаздывали и всегда торопились. Иногда бежали за транспортом. Но Михаил Афанасьевич неизменно приговаривал: «Главное — не терять достоинства».

Перебирая в памяти прожитые с ним годы, можно сказать, что эта фраза, произносимая иногда по шутливому поводу, и было кредо всей жизни писателя Булгакова.

НЕМНОГО О ТЕАТРЕ ТЕХ ЛЕТ

Закончу я свои воспоминания небольшой главой об искусстве, связанной с творчеством М. А. Булгакова и с театром тех лет, не претендуя, конечно, на исчерпывающий анализ. Поворот в отношении к творчеству писателя не может не радовать, но память — «злой властелин» — невольно отбрасывает к тем годам.

Вспоминаю, как постепенно распухал альбом вырезок с разносными отзывами и как постепенно истощалось стойческое к ним отношение со стороны М. А., а попутно истощалась и нервная система писателя: он становился раздражительней, подозрительней, стал плохо спать, начал дергать плечом и головой (нервный тик).

Надо только удивляться, что творческий запал (видно, были большие его запасы у писателя Булгакова!) не иссяк от этих непрерывных груборугательных статей. Я бы рада сказать критических статей, но не могу — язык не поворачивается...

«Не верю в светильник под спудом, — одно из высказываний М. А. Булгакова. — Рано или поздно, писатель все равно скажет то, что хочет сказать». Эти его слова находятся в прямой связи с евангельским изречением: «И, зажегши свечу, не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме» (Матвей, 5, 15).

И действительно, творческая мысль живет и светит. И рукописи не горят...

На большом подъеме в эти годы была написана пьеса «Бег» (1928 г.), которую совершенно произвольно наши литературоведы называют продолжением «Дней Турбиных». Сам Михаил Афанасьевич никогда не рассматривал ее как продолжение «Дней Турбиных». Хотя пьеса была посвящена основным исполнителям «Турбиных» и ему мечталось увидеть их на сцене в «Беге», все же драматургическое звучание этой вещи совершенно иное, камертон дан на иной отправной ноте. Хватка драматурга окрепла, вкус установился, диапазон писателя расширился, и его изобразительная палитра расцвела новыми красками. В «Днях Турбиных» показано начало белого движения, в «Беге» — конец. Таким образом, вторая пьеса продолжает первую только по времени. Впрочем, в мою задачу не входит полемика с теми, кто думает иначе. «Бег» — моя любимая пьеса, и я считаю ее пьесой необыкновенной силы, самой значительной и интересной из всех драматургических произведений писателя Булгакова.

К сожалению, я сейчас не вспомню, какими военными источниками, кроме воспоминаний генерала Слащова¹, пользовался М. А., работая над «Бегом». Помню, что на одной из карт были изображены все военные передвижения красных и белых войск и показаны, как это и полагается на военных картах, мельчайшие населенные пункты.

Карту мы раскладывали и, сверяя ее с текстом книги, прочерчивали путь наступления красных и отступления белых, поэтому в пьесе так много подлинных названий, связанных с историческими боями и передвижениями войск: Перекоп, Сиваш, Чонгар, Курчулан, Алманайка, Бабий Гай, Арабатская стрелка, Таганаш, Юшуть, Керман-Кемальчи...

Чтобы «надышаться» атмосферой Константинополя, в котором я прожила несколько месяцев, М. А. просил меня рассказывать о городе. Я рассказывала, а он как художник брал только самые яркие пятна, нужные ему для сценического изображения.

Крики, суета, интернациональная толпа большого восточного города показаны им выразительно и правдиво (напомню, что Константинополь в то время был в ведении представителей Франции, Англии, Италии. Внутренний порядок охраняла международная полиция.

¹ Слащов Я. Крым в 1920 году. Отрывки из воспоминаний. С предисловием Д. Фурманова. М.—Л., ГИЗ, 1923.

Султан номинально еще существовал, но по ту сторону Босфора, на азиатском берегу, уже постреливал Кемаль.)

Что касается «тараканьих бегов», то они с необыкновенным булгаковским блеском и фантазией родились из рассказа Аркадия Аверченко «Константинопольский зверинец», где автор делится своими константинопольскими впечатлениями тех лет. На самом деле, конечно, никаких тараканьих бегов не существовало. Это лишь горькая гипербола и символ — вот, мол, ничего иного эмигрантам и не остается, кроме тараканьих бегов.

Не раз рассказывала я М. А. о самых различных встречах, происшествий и переживаниях предшествующих нашему браку лет. Он находил их интересными и собственноручно (по моим рассказам) набросал для меня план предполагаемой книги, которая мной так и не была написана, но пишется сейчас. С грустью думаю, что в его бумагах план этот не сохранился.

С особым вниманием отнесся М. А. к моему устному портрету Владимира Пименовича Крымова, петербургского литератора. Он чем-то заинтересовал творческую лабораторию писателя и вылился позже в окариатуренный образ Парамона Ильича Корзухина.

В. П. Крымов был редактором и соиздателем петербургского журнала «Столица и усадьба» и автором неплохой книги «Богомолы в коробочке», где рассказывал свои впечатления о кругосветном путешествии. Происходил он из сибирских старообрядцев. Из России уехал как только запахло революцией, «когда рябчик в ресторане стал стоять вместо сорока копеек — шестьдесят, что свидетельствовало о том, что в стране неблагополучно», — его собственные слова. Будучи богатым человеком, почти в каждом европейском государстве приобретал недвижимую собственность, вплоть до Гонолулу...

Сцена в Париже у Корзухина написана под влиянием моего рассказа о том, как я села играть в девятку с Владимиром Пименовичем и его компанией (в первый раз в жизни!) и всех обыграла. Он не признавал женской прислуги. Дом обслуживал б. военный — Клименко. В пьесе — лакей Антуан Грищенко.

В ремарке, характеризующей Хлудова, автор пишет: «Хлудов курнос, как Павел». Это скорее относится к Хмелеву, который действительно был курнос, чем к прототипу Хлудова — Слашову. Видевшие генерала говорили, что он был статен и очень интересен.

Мы с М. А. заранее предвкушали радость, представляя себе, что сделает из этой роли Хмелев со своими

неограниченными возможностями. Пьесу Московский Художественный театр принял и уже начал репетировать.

Основные роли разошлись так:

Хлудов—Н. П. Хмелев

Чарнота—Б. Г. Добронравов

Серафима—В. С. Соколова

Люська—О. Н. Андровская

Голубков—М. М. Яншин

Врангель—Малолетков

Ужасен был удар, когда ее запретили. Как будто в доме объявился покойник...

В 1959 году я попала в Ленинградский академический театр драмы им. А. С. Пушкина на представление моей любимой пьесы. Ни постановка, ни игра меня не удовлетворили. Н. Черкасов, игравший Хлудова, стараясь изобразить гвардейского офицера, присвоил себе какой-то странный «одесский» акцент. Чарнота походил на Тараса Бульбу, а Константинополь не походил на Константинополь (постановка народного артиста Л. С. Вивьена, художник—засл. деятель искусств РСФСР А. Ф. Босулаев). Никакого «анафемского» успеха, предсказанного Горьким, пьеса не имела.

1929 год. Пишется пьеса «Мольер». Действует все тот же не убитый или еще не добытый творческий инстинкт. Перевожу с французского биографии Мольера. Помню длинное торжественное стихотворение, где творчество его отождествляется с силами и красотой природы...

М. А. ходит по кабинету, диктует текст, играя попутно то или иное действующее лицо. Это очень увлекательное действо.

Мне нравится, как французы пишут биографии: у них много ярких деталей, дающих драматургу сценическую краску. Вспоминаю, с каким вкусом и знанием дела автор, истый француз, описывал туалет Арманды: желтое шелковое платье, отделанное белыми кружевами...

Как сейчас вижу некрасивое талантливое лицо Михаила Афанасьевича, когда он немного в нос декламирует:

Муза, муза моя, о, лукавая Талия...

Но вот пьеса закончена. Первое чтение состоялось у Ляминых. На втором, у нас на Пироговской, присутствовали О. Л. Книшпер-Чехова, И. М. Москвин, В. Я. Станицын, М. М. Яншин, П. А. Марков и Лями-

ны. На столе М. А. в канделябрах горели свечи. Читал он, как всегда, блистательно.

Премьера в МХАТе состоялась 15 февраля 1936 года.

Постановка Н. М. Горчакова. Режиссеры-ассистенты: М. А. Булгаков, Б. Н. Ливанов, Б. В. Протасевич. Музыка Р. М. Глиэра. Художник—П. В. Вильямс.

Основные роли разошлись так:

Жан-Батист Мольер, великий драматург и актер—В. Я. Станицын.

Мадлена Бежар, первая жена Мольера, актриса—Л. М. Коренева.

Арманда Бежар, ее сестра, впоследствии вторая жена Мольера, актриса—А. О. Степанова.

Лагранж, актер и секретарь театра Мольера—Г. А. Герасимов.

Муаррон, приемный сын Мольера, актер его театра—Б. Н. Ливанов.

Бутон, тушительщик свечей в театре и личный слуга Мольера—М. Яншин.

Людовик XIV, король Франции—М. П. Болдуман.

Герцог д'Орсиньи, капитан черных мушкетеров—Н. А. Подгорный.

Архиепископ Парижский, маркиз де Шаррон—Н. Н. Соснин.

Не повезло этому произведению М. А.! После нескольких представлений пьеса была снята. Я не видела этого спектакля, но совершенно уверена, что того глумления, которое претерпела уже в наши дни пьеса в Театре Ленинского комсомола, во МХАТе быть не могло.

Я долго крепилась, не шла смотреть «Мольера», в постановке А. В. Эфроса: с меня было вполне достаточно одной «Чайки» в его «обработке». Но вот мне подарили билет ко дню именин, и мне уж никак нельзя было отказаться и не пойти.

Пьеса в свое время была посвящена мне. Но я не представляла себе, что меня ожидает.

Начать с того, что не каждый драматургический текст поддается чисто условной трактовке, когда сам зритель неустанно должен ломать себе голову, стараясь угадать, кто—кто, кто—где и почему именно так...

Почему зритель, например, должен понять, что среди бестолково набросанного театрального реквизита пробирается «Солнце Франции», Людовик XIV? Вряд ли сам актер верил, что изображает это «Солнце». Не верили и мы, зрители.

Почему ведущая актриса Парижского (Парижско-го!) театра Мадлена Бежар похожа в последнем акте на подмосковную огородницу в кофте навъпуск? Почему другая актриса, Арманда Бежар, впоследствии жена Мольера, вела себя так вульгарно? Условная трактовка— прием тонкий и, если зритель воспринимает веками установившуюся условность японского театра «Кабуки», то «шиворот-навъворот» А. В. Эфроса— явление не очень хорошего вкуса. Признаюсь откровенно: я прострадала весь спектакль и ушла с горьким чувством обиды за Михаила Афанасьевича Булгакова, талант которого нет-нет да и прорывался сквозь режиссерскую шелуху. Тогда сразу становилось интересно и легко на душе.

Композитор Андрей Волконский, вообще-то человек со вкусом, к тому же всю юность проведенный во Франции, в данном случае внес свою лепту в общую неразбериху.

И вот какая мысль принципиального порядка пришла мне в голову. Представим себе, что широкую улицу переходит там, где положено и когда положено, писатель Булгаков, а на мотоцикле мчится Эфрос, не обращая внимания на световые сигналы, сшибает Булгакова и наносит ему телесные увечья. Он ответит со всей строгостью советского закона— так мне сказали юристы и подсказала логика. Так почему же при нанесении моральных увечий произведению писателя никто не несет никакой ответственности? Почему?

В 1962 году в серии «Жизнь замечательных людей» вышла биография Мольера М. А. Булгакова. Тридцать лет прошло после ее написания!

В свое время основатель серии Горький, прочитав рукопись Булгакова, сказал главному редактору Александру Николаевичу Тихонову (Сереброву):

— Что и говорить, конечно, талантливо. Но если мы будем печатать такие книги, нам, пожалуй, попадет...

Я тогда как раз работала в «ЖЗЛ», и А. Н. Тихонов, неизменно дружески относившийся ко мне, тут же, по горячим следам, передал мне отзыв Горького.

В примечании к биографии Мольера профессор Г. Бояджиев упрекал Булгакова в том, что он уделяет внимание версии о предполагаемом отцовстве Мольера: будто бы Арманда Бежар, ставшая впоследствии его женой, была его собственной дочерью от Мадлены Бежар. «Враги великого писателя,— писал проф. Бояджиев,— обвиняли его в кровосмесительном браке. Невзайшая научная мольеристика опровергла эту клевету».

Но вот передо мной газета «Юманите» от 11 июня 1963 года, которую уж никак нельзя заподозрить во враждебном отношении к Мольеру. Читаю заголовок: «Нуждается ли Арманда Бижар в оправдании?» «В 1663 году в церкви Сен-Жермен Оксоруа состоялось бракосочетание Жана-Батиста Поклена, так называемого Мольера, с Армандой Бижар. Она была создательницей главных женских ролей в произведениях великого писателя. Роли эти, как утверждают, писались специально для нее и отражали многие черты ее характера: Элиза в «Критике жизни женщин», Эльмира в «Тартюфе», Селимена в «Мизантропе», Элиза в «Скупом».

Имя Арманды Бижар связано со многими загадками: была ли она сестрой или дочерью Мадлены Бижар, возлюбленной совладелицы театра Мольера? Или собственной дочерью Поклена? Сделала ли она несчастным Мольера или наоборот: пожилой, больной, ревнивый муж сделал ее жизнь невыносимой? Жан Берже и мадам Шёвалле постараются ответить на все эти вопросы в своем докладе, названном ими «Славные имена прошлого», который состоится в Медоне, в доме, где Арманда Бижар жила после смерти своего мужа.

Мы увидим также сцену из «Мещанина во дворянстве», сыгранную Жаном-Полем Русийоном, и сцену из «Мизантропа», исполненную Франсуазой Кристоф и Рено Марн».

(Четверг, в 19 часов, 10 м.)

М. А. Булгаков писал своего Мольера в 1932—33 годах, а французы через тридцать лет публично еще обсуждают вопрос—не была ли Арманда Бижар дочерью прославленного драматурга. Вот и выходит, что точка зрения официальной мольеристики не обязательна даже и для самих французов.

На том же широком писательском дыхании, что и «Бег», была написана фантастическая пьеса «Адам и Ева» (1931 г.).

Пьесе своей автор предпослал цитату из произведения «Боевые годы»: «Участь смельчаков, считавших, что газа бояться нечего, всегда была одинакова—смерть!» И тут же, чтобы смягчить тяжелое впечатление, привел и другую, мирную цитату из Библии: «... И не буду больше поражать всего живущего, как я сделал. Впредь во все дни Земли сеяние и жатва не прекратятся...»

Профессор химии академик Ефросимов сконструировал аппарат, нейтрализующий действие самых страшных, самых разрушительных газов. Его изобре-

ние должно спасти человечество от гибели. Глубокий пацифизм характеризует академика Ефросимова. Об этом свидетельствует следующий диалог. Летчик Дараган спрашивает Ефросимова:

— Профессор, вот вы говорили, что возможно такое изобретение, которое исключит химическую войну?

Ефросимов. Да.

Дараган. Поразительно! Вы даже спрашивали, куда его сдать?

Ефросимов (*морщась*). Ах, да. Это мучительнейший вопрос. Я полагаю, что, чтобы спасти человечество от беды, нужно сдать такое изобретение всем странам сразу.

Но пацифизм академика не только не встречает сочувствия среди окружающих, наоборот, вызывает подозрительность и рождает мысль о его предательстве.

Катастрофа все же неизбежна. Мастер, делавший футляр для аппарата, принес его слишком поздно.

На фоне мировой катастрофы сталкиваются различные судьбы и характеры.

М. А. читал пьесу в Театре имени Вахтангова в том же году. Вахтанговцы, большие дипломаты, пригласили на чтение Я. И. Алксниса, начальника Военно-Воздушных Сил Союза... Он сказал, что ставить эту пьесу нельзя, так как по ходу действия погибает Ленинград.

Конечно, при желании можно было подойти к этому произведению с другими критериями. Во-первых, изменить название города, а во-вторых, не забывать, что это фантастика, которая создает и губит—на то она и фантастика—целые миры, малые планеты...

Здесь же, на Большой Пироговской, был написан «Консультант с копытом» (первый вариант в 1928 году), легший в основу романа «Мастер и Маргарита». Насколько помню, вещь была стройней, подобранней: в ней меньше было «чертовщины», хотя событиями в Москве распоряжался все тот же Воланд с верным своим спутником волшебным котом. Начал Воланд также с Патриарших прудов, где не Аннушка, а Пелагеюшка пролила на трамвайные рельсы роковое постное масло. Сцена казни Иешуа была так же прекрасно-отточенно написана, как и в дальнейших вариантах романа.

Из бытовых сцен очень запомнился аукцион в бывшей церкви.

Аукцион ведет бывший диакон, который продает шубу бывшего царя...

Несколько строк в «Мастере» пронзили меня навсегда в самое сердце. «Боги, боги мои! Как грустна вечерняя земля! Как таинственны туманы над болотами. Кто блуждал в этих туманах, кто много страдал перед смертью, кто летел над этой землей, неся на себе непосильный груз, тот это знает. Это знает уставший. И он без сожаления покидает туманы земли, ее болотца и реки, он отдается с легким сердцем в руки смерти, зная, что только она одна <успокоит его>».

Строки эти — скорбный вздох — всегда со мной. Они и сейчас трогают меня до слез...

В описании архива Михаила Булгакова (выпуск 37 «Записки отдела рукописей», Ленинская библиотека) подробно рассматриваются все варианты романа «Мастер и Маргарита», т. е. история его написания, однако отмечается: «Нам ничего не известно о зарождении замысла второго романа».

Вот что по этому поводу могу рассказать я. Когда мы познакомились с Н. Н. Лямым и его женой художницей Н. А. Ушаковой, она подарила М. А. книжку, в которой делала обложку, фронтисписную иллюстрацию «Черную карету» и концовку. Это «Венедиктов, или Достопамятные события жизни моей». Романтическая повесть, написанная ботаником Х, иллюстрированная фитопатологом У». Москва, V год Республики». Автор, нигде не открывшийся, — профессор Александр Васильевич Чайнов.

Н. Ушакова, иллюстрируя книгу, была поражена, что герой, от имени которого ведется рассказ, носит фамилию Булгаков. Не меньше был поражен этим совпадением и Михаил Афанасьевич.

Все повествование связано с пребыванием Сатаны в Москве, с борьбой Булгакова за душу любимой женщины, попавшей в подчинение к Дьяволу. Повесть Чайнова сложна: она изобилует необыкновенными происшествиями. Рассказчик, Булгаков, внезапно ощущает гнет, необычайный над своей душой..., «казалось... чья-то тяжелая рука опустилась на мой мозг, раздробляя костные покровы черепа...» Так почувствовал повествователь присутствие Дьявола.

Сатана в Москве. Происходит встреча его с Булгаковым в театре Медокса...

На сцене прелестная артистка, неотступно всматривающаяся в темноту зрительного зала «с выражением покорности и страдания душевного». Булгакова поражает эта женщина: она становится его мечтой и смыслом жизни.

Перед кем же трепещет артистка?

...«Это был он!.. Он роста скорее высокого, чем низкого, в сером, немного старомодном сюртуке, с седеющими волосами и потухшим взором, все еще устремленным на сцену... Кругом него не было языков пламени, не пахло серой, все было в нем обыденно и обычно, но эта дьявольская обыденность была насыщена *значительным и властвующим...*»

По ночной Москве преследует герой повести зловещую черную карету, уносящую Настеньку (так зовут героиню) в неведомую даль. Любуется попутно спящим городом и особенно «уносящейся ввысь громадой Пашкова дома».

Судьба сталкивает Булгакова с Венедиктовым, и тот рассказывает о своей дьявольской способности безраздельно овладевать человеческими душами.

«Беспредельна власть моя, Булгаков,—говорит он,—и беспредельна тоска моя, чем больше власти, тем больше тоски...» Он повествует о своей бурной жизни, о черной мессе, оргиях, преступлениях и неожиданно. «Ничего ты не понимаешь, Булгаков!» — резко остановился передо мной мой страшный собеседник. «Знаешь ли ты, что лежит вот в этой железной шкатулке?.. Твоя душа в ней, Булгаков!» Но душу свою у Венедиктова Булгаков отыгрывает в карты.

После многих бурных событий и смерти Венедиктова душа Настеньки обретает свободу и любившие друг друга Настенька и Булгаков соединяют свои жизни.

С полной уверенностью я говорю, что небольшая повесть эта послужила зарождением замысла, творческим толчком для написания романа «Мастер и Маргарита».

Это легко проследить, сравнив вступление первого варианта романа со вступлением повести Чайнова. Невольно обращает на себя внимание общий их речевой строй.

Автор описания архива М. А. пишет: «Роман начался вступлением от повествователя—человека непрофессионального, взявшегося за перо с единственной целью—запечатлеть поразившие его события».

Читаем у М. А. Булгакова: «Клянусь честью (...) пронизывает меня, лишь только берусь я за перо, чтобы (описать чудовищные) происшествия (беспокоит меня лишь) то, что не бу(дучи... писателем) я не сумею (...эти происшествия) сколько-нибудь... передать...

«Бог с ними (впрочем, со словесными тонкостями... за эфемерной славой писателя я не гонюсь, а меня мучает...»)

Сравним вступление у Чайнова.

«...Размышляя так многие годы в сельском своем уединении, пришел я к мысли описать по примеру херонейского философа жизнь человека обыденного, российского, и, не зная в подробности чьей-либо чужой жизни и не располагая библиотеками, решил я, может быть, без достаточной скромности, приступить к описанию достопамятностей собственной жизни, полагая, что многие из них не безлюбопытны будут читателям».

Не только одинаков речевой строй, но и содержание вступления: то же опасение, что не справиться автору, непрофессиональному писателю, с описанием «достопамятностей» своей жизни.

Хочется высказать несколько соображений по поводу прототипа Феси, героя первого варианта одиннадцатой главы романа «Мастер и Маргарита»

Автор обзора довольно смело указывает на старого знакомого (еще с юных лет) Н. Н. Лямина — на Бориса Исааковича Ярхо как на прототип Феси. Мне кажется это совершенно не выдерживающим никакой критики. Начать с того, что М. А. никогда Ярхо не интересовался, никогда никаких литературных бесед — и никаких других — персонально с Ярхо не вел. Интересы и вкусы их никогда не встречались и не пересекались. Кроме того, они встречались очень редко, т. к. Ярхо не посещал всех чтений М. А. Булгакова у Ляминных, а у нас он не бывал так же, как и М. А. не бывал у Ярхо. К этому разговору я привлекла Наталью Абрамовну Ушакову. Она совершенно согласилась со мной, напомнив, что Ярхо выглядел комично-шарообразно и говорил с каким-то смешным особым придыханием. Эрудиции во многих областях, включая знание чуть ли не 20 языков, никто у него не отнимает, но к Фесе он никакого отношения не имеет. Я уже объясняла выше, как попало имя Феся к М. А. Булгакову.

Хочется хотя бы бегло вспомнить спектакли тех лет, которые мы почти всегда смотрели вместе с М. А. или же по тем или иным причинам оставшиеся в памяти.

Ранним летом 1926 года нам пришлось вместе с Михаилом Афанасьевичем пережить значительное театральное событие — постановку в Большом театре оперы Римского-Корсакова «Сказание о невидимом граде Китеже и о девице Февронии».

Когда М. А. слушал волиовавшую его серьезную музыку, у него делалось особенное лицо, он как-то хорошел даже. Я очень любила это его выражение лица. Февронию пела Держинская, Гришку-Кутерьму —

Озеров, дирижировал Сук, декорации писал Коровин (которые, кстати, и не запомнились вовсе). Что началось после этой постановки! На твердой позиции неоспоримой ценности оперы стоял музыкальный критик Сергей Чемоданов («Программы академических театров», № 37, 1 июня 1926 г.). Его поддержал Сергей Богуславский, но Садко (опять все тот же Садко!) с цепи рвался, чтобы опорочить творчество Римского-Корсакова: «... академической охране из всего оперного наследства Р.-К. подлежат лишь три «этапных» оперы («Снегурочка», «Садко», «Золотой петушок»). Остальные далеко не «бессмертны»... Надо только не впадать в охранительный восторг и сохранять трезвую свою голову! Словом, никакой беды и ущерба искусству не будет, если государство откажется от богослужебного «Китежа» в пользу частных обществ верующих» («Жизнь искусства», № 22, 1 июня 1926 г.).

И дальше тот же Садко выступает еще грубее:

«Радиопередача» во вторник передавала по радио из Большого театра религиозную оперу «Китеж», являющуюся и по тексту и по музыке сплошным богослужением. Передача, как обычно, сопровождалась музыкальными пояснениями. Чрезвычайно подробно и елейным тоном излагалось содержание оперы.

— Колокола звонят, а город становится невидимым,— проникновенно благовестительствует в эфире хорошо знакомый голос «радиоапостольного» пояснителя С. Чемоданова. Наворотив с три короба поповской лжи, умиленный музыкальный пояснитель мимоходом делает беглую оговорку... и т. д. И в заключение опера названа «поповско-интеллигентский «Китеж» («Рабочая газета», № 1).

Такой знакомый Булгакову злобный, ругательский стиль!

В 1925 году вахтанговцы поставили «Виринею» Лидии Сейфуллиной, пьесу проблемную, рассказывающую о становлении под влиянием революции нового типа женщины-крестьянки.

Первая пьеса Леонида Леонова «Унтиловск» была поставлена в 1928 году во МХАТе. Действие происходило в заброшенном таежном местечке, где судьба столкнула обездоленных людей. Было много психологических рассуждений, мало действия и сильный актерский состав. Пьеса продержалась недолго.

В том же году и в этом же театре были поставлены «Растратчики» В. П. Катаева. Главную роль растратчика играл Тарханов, роль его фактотума Ванечки исполнил Топорков. Что за прекрасная пара! Был в пьесе

пьяный надрыв и русское «пропади все пропадом». Мы с Татой Ушаковой смотрели не отрываясь. Пьеса быстро сошла с репертуара.

В этом же 1928 году мы с М. А. смотрели пьесу Бабеля «Закат» во 2-м МХАТе. Старого Крика играл Чабан, его жену Нехаму — Бирман, сына Беню — Берсенев. Помню, как вознегодовал М. А., когда Нехам говорит своему мужу: «А кацапы что тебе дали, что кацапы тебе дали?.. Водку кацапы тебе дали, матерщины полный рот, бешеный рот, как у собаки...»

В 1929 году появился «Дядюшкин сон» Достоевского во МХАТе, с Н. П. Хмелевым в заглавной роли (о нем я говорю отдельно).

Запомнилось представление «Отелло» Шекспира в том же театре. Отелло играл Л. М. Леонидов, Яго — В. Сеницын (впоследствии покончивший с собой), Дездемону — А. К. Тарасова, Кассио — Б. Н. Ливанов. Декорации писал знаменитый художник Головин.

Мы с М. А. очень ждали премьеры. Конечно, Леонидов опоздал с этой ролью лет на десять по крайней мере. Он уже не мог изображать воина-вождя и мужчину с пламенными страстями. К тому же он как-то беспомощно хватался за декорации, все норовил опереться или прислониться. Кто-то из актеров объяснил мне, что он страдает боязнью пространства.

Незаметно Яго стал центральной фигурой, переключив внимание зрителей на себя. Владимир Сеницын не подавал Яго как классического злодея, а просто изображал тихого и очень вкрадчивого человека.

А. К. Тарасова была внешне привлекательна и трогательно спела «Ивушку». А вот Кассио (Б. Н. Ливанов) был необыкновенно, картинно красив на фоне пышных головинских декораций Италии эпохи Возрождения.

Нередко встречались мы на генеральных репетициях или премьерях с Василием Васильевичем Шкваркиным. Он как-то был у нас в гостях со своей красивой женой. Это был один из самых воспитанных писателей. Он вообще держался прекрасно. Шли его вещи, сначала «Вредный элемент» (1927 г.), затем «Шулер» (1929 г.). Наибольший успех выпал на долю комедии «Чужой ребенок». Публика с удовольствием ходила на его пьесы. Трудно было представить, что этот корректнейший и не очень смешливый человек способен был вызывать столько веселья своими комедиями.

Урожайным был 1930 год во МХАТе в смысле новых постановок: «Отелло», «Три толстяка» (Ю. Олеши), «Воскресение» (по Л. Толстому), «Реклама» — в

этой переводной бойкой и игривой пьесе блеснула О. Н. Андровская. В этом же году МХАТ 2-й поставил «Двор» по одноименной повести Анны Каравановой. Я не видела этого спектакля. М. А. был один. Вернувшись, он очень забавно показывал в лицах, как парень-герой говорил: «Вот возьму-ка я зубную щетку, да как поеду я на периферию...» Конечно, это выдумка. Вряд ли такое могло произноситься со сцены. Рассказывал, как на заднем плане доили корову, а на переднем колыхались гипертрофированные подсолнухи. Сочинял, но занимательно.

Наряду с пьесами проблемными в те годы зачастую газеты врывались в театр. В этом смысле особенно характерна постановка у вахтанговцев пьесы Юрия Слезкина «Путина» (1931 г.). Уж не помню, по какому поводу, но год был карточный.

Когда открылся основной занавес и на темной сети в разных позах застыли судаки (а в этот день как раз по карточкам выдавали судаков), в театре раздался тихий стон (оформление Н. П. Акимова).

На сцене бригада чистила рыбу. И так все три — или сколько их там было — действия.

Летом 1930 года мы с М. А. ходили в Экспериментальный театр (б. Зимины) слушать оперу А. А. Спендиарова «Алмаст».

Заглавную роль исполняла Мария Максакова, Надир-шаха — Александр Пирогов. Это фундаментальное и красивое музыкальное произведение заканчивается трагическим моментом: Алмаст, во имя честолюбия предавшую свой армянский народ, открыв ворота крепости персидским завоевателям, ведут на казнь.

Когда в декаду армянского искусства Ереванский театр оперы и балета имени А. Спендиарова в октябре 1969 года в Москве показал «Алмаст», я не узнала финала. Под веселую музыку сцену заполнили молодые девы в старинных доспехах — это олицетворение воинственных победивших армянских женщин-патриоток, введенных в спектакль в противовес предательнице Алмаст.

Александр Спендиаров такого никогда не писал.

Что же творится с театрами?

Помнится, у меня как-то был грипп с высокой температурой. Когда я встала с постели, М. А. предложил мне пойти с ним к вахтанговцам на спектакль «Пятый горизонт» (1932 г., пьеса Маркина). Я не знала, что разработка угольных пластов называется горизонтом. Я вообразила, что «пятый горизонт» — это психологически-философская тема. На сцене было жутко

темно. Стоял, блестя кожаным костюмом,— мне показалось, что с него стекает вода,— артист Глазунов в каком-то шлеме. Голова моя мутилась после жара, и я, приваливаясь к плечу М. А., спросила:

— Мака, это водолаз?

— Поезжай-ка ты лучше домой,— сказал он и повел меня к вешалке одеваться. За нами шел симпатичный писатель «малых форм», связанный с Вахтанговским театром, который шепнул:

— Это не я написал...

Не помню, к сожалению, названия пьесы, шедшей в Камерном театре. По сцене кралась лохматые и страшные мужики (кулаки!—сказали мы), причем кралась особенно, по-таировски, все время профилем к публике—как изображались египетские фрески. Потом появился мужчина интеллигентного вида в хорошо сшитом костюме, в галстук, в крагах, гладко причесанный (артист Фенин), и мы оба воскликнули: «Вредитель!» И не ошиблись. Такие стандартные типажи нередко переходили в те годы из пьесы в пьесу.

Конечно, бывали и интересные спектакли: «Дело», «Эрик XIV», «Сверчок на печи» с таким асом от театрального искусства, каким был Михаил Чехов (МХАТ 2-й).

По изяществу и сыгранности на долгие годы запомнилось «У врат царства» Гамсуна в МХАТе с Качаловым—Карено, К. Еланской—Элина, Б. Н. Ливановым—Бондezen.

У нас существовала своя терминология. О спектаклях парадных, когда все стараются сделать их занимательными, красочными, много шумят и суетятся, но зрелище остается где-то в основе своей скучноватым, мы говорили «скучно—весело» (Лопе де Вега, иногда Шекспир).

Когда наталкивались на что-нибудь безнадежно устаревшее, старомодное да и комичное к тому же, М. А. называл это «вальс с фигурами». И вот почему. Однажды один начинающий драматург попросил Булгакова прочесть свою пьесу у тех же Ляминах. Было удивительно, что в современной пьесе, когда по всей Европе гремела джазовая музыка, все отплясывали уан- и тустеп, герои начинающего драматурга танцевали «вальс с фигурами»...

Но вот к чему М. А. никогда не испытывал тяготения, так это к кино, хотя и написал несколько сценариев за свою жизнь. Иногда озорства ради он притворялся, что на сеансах ничего не понимает. Помню, мы были как-то в кино. Программы тогда были

длинные, насыщенные: видовая, художественная, хроника. И в небольшой перерыв он с ангельским видом меня допытывал: кто кому дал по морде? Положительный отрицательному или отрицательный положительному?

Я сказала:

— Ну тебя, Мака!

И тут две добрые тети напали на меня:

— Если вы его, гражданка, привели в кинематограф (они так старомодно и выразились), то надо все же объяснить человеку, раз он не понимает.

Не могла же я рассказать им, что он знаменитый «притворяшка».

Две оперы как бы сопровождают творчество Михаила Афанасьевича Булгакова — «Фауст» и «Аида». Он остается им верен на протяжении всех своих зрелых лет. В первой части романа «Белая гвардия» несколько раз упоминается «Фауст». И «разноцветный рыжебородый Валентин поет: «Я за сестру тебя молю...»

Писатель называет эту оперу «вечный «Фауст» и далее говорит, что «Фауст» совершенно бессмертен».

А вот как начинается пьеса «Адам и Ева». Май в Ленинграде. Комната в первом этаже, и окно открыто во двор... Из гринкоговорителя «течет звучно и мягко «Фауст» из Мариинского театра».

Адам (*целует Еву*). А чудная опера этот «Фауст». А ты меня любишь?

Музыка вкраплена там и тут в произведения Булгакова, но «Аида» упоминается, пожалуй, чаще всего. Вот фельетон «Сорок сороков». «Панорама четвертая: Сейчас... На сукне волны света, и волной катится в грохоте меди и раскатах хора триумф Радамеса. В антрактах, в свете, золотым и красным сияет театр и кажется таким же нарядным, как раньше».

«Боги мои, молю я вас...» Сколько раз слышала я, как М. А. напевал эту арию из «Аиды». В фантастической повести «Собачье сердце» главное действующее лицо, хирург Преображенский, в минуты раздумья, сосредоточенности напеваает «К берегам святым Нила», арию из той же оперы, и в редкие дни отдыха спешит в Большой театр, если ее дают, послушать «Аиду». М. А. говорил: «Совершенно неважно, заказная ли работа или возникшая по собственному желанию». «Аида» — заказная опера, а получилось замечательно (Верди написал ее по заказу Каирского оперного театра). «Аиду» слушали мы вместе в Большом театре.

Почти во всех произведениях М. А. 1924—32 годов

присутствует музыка. В сборнике «Дьяволиада» (альманах «Недра», 1924 г.) в рассказе «№ 13 — Дом Эльшит-Рабкоммуна» автор, описывая пожар, совершенно неожиданно применяет сравнение разрастающегося пламени с музыкальным нарастанием в оркестре: «...А там совсем уже грозно заиграл, да не маленький принц, а огненный король, рапсодию. Да не саргиссио, а страшно — *brioso*».

В «Зойкиной квартире» звучит грустный и томный рахманинский напев «Не пой, красавица, при мне ты песен Грузии печальной...». Эту мелодию М. А. тоже любил напевать.

Ездили мы на концерты: слушали пианистов-виртуозов — немца Эгона Петри и итальянца Карло Цекки. Невольно на память приходят слова М. А.: «Для меня особенно ценна та музыка, которая помогает мне думать».

Несколько раз были в Персимфансе (поясню для тех, кто не знает, что это такое: симфонический оркестр без дирижера).

Как-то, будучи в артистическом «Кружке» в Пименовском переулке — там мы бывали довольно часто, — нам пришлось сидеть за одним столиком с каким-то бледным, учтивым, интеллигентного вида человеком. М. А. с ним раскланялся. Нас познакомили. Это оказался скрипач Лев Моисеевич Цетлин — первая скрипка Персимфанса.

— Вот моя жена всегда волнуется, когда слушает Персимфанс, — сказал М. А.

Музыкант улыбнулся:

— А разве так страшно?

— Мне все кажется, что в оркестре не заметят ваших знаков и вовремя не вступят, — сказала я.

— А очень заметны мои «знаки», как вы говорите?

— Нет, не очень. Потому-то я и волнуюсь...

М. А. нравилась игра молодого пианиста Петунина. Я помню, как мы здесь же, в «Кружке», ходили в комнату, где стоял рояль, и симпатичный юноша в сером костюме играл какие-то джазовые мелодии, и играл прекрасно.

Были у нас знакомые, где любили помузицировать: художник Михаил Михайлович Черемных и его жена Нина Александровна. Пара примечательная: дружная, уютная, хлебосольная. Отношение Булгакова к Черемныху было двойственное: он совершенно не разделял увлечения художника антирелигиозной пропагандой (считал это примитивом) и очень симпатизировал ему лично.

К инструменту садилась Нина Александровна. Тут наступало торжество «Севильского цирюльника».

Скоро восток золотую,
Румяною вспыхнет зарею,—

пели мужчины дуэтом, умильно поглядывая друг на друга. Им обоим пение доставляло удовольствие, нравилось оно и нам: Нине Александровне, сестре ее Наталии Александровне (красавице из красавиц) и мне.

Тут уместно упомянуть о том, что в юности М. А. мечтал стать певцом. На письменном столе его в молодые годы стояла карточка артиста-баса Сибирякова с надписью: «Иногда мечты сбываются»...

К периоду 1929—30 годов относится знакомство М. А. с композитором Сергеем Никифоровичем Василенко и его семейством. Здесь были люди на все вкусы: сам композитор, жена его Татьяна Алексеевна, прекрасная рассказчица, женщина с большим чувством юмора, профессор Сергей Константинович Шамбинаго (ее бывший муж), знаток русской классической литературы, и их дочь Елена Сергеевна Каптерова, за которой приятно было поухаживать. Семейный комплект дополняла малолетняя Таня Каптерева и пес Тузик.

В доме у них бывали певцы и музыканты.

В заключение мне хочется отметить еще одну особенность в творчестве Булгакова: его тяготение к именам прославленных музыкантов. В повести «Роковые яйца» — Рубинштейн — представитель «одного иностранного государства», пытавшийся купить у профессора Персикова чертежи изобретенной им камеры.

Тальберг в романе «Белая гвардия» и пьесе «Дни Турбиных». В прошлом веке гремело имя австрийского пианиста Зигмунда Тальберга, который в 1837 году в Париже состязался с самим Листом.

В «Мастере и Маргарите» литератор носит фамилию Берлиоз. Фамилия врача-психиатра, на излечении у которого находится Мастер,— Стравинский.

* * *

Вот понемногу я и дошла до последних страниц воспоминаний и до последних дней нашей совместной жизни — ноябрь 1932 года.

Не буду рассказывать о тяжелом для нас обоих времени расставания. В знак этого события ставлю черный крест, как написано в заключительных строках пьесы Булгакова «Мольер».

1968 г. — осень 1969 г.

За несколько месяцев до смерти Евгения Викторовича мы гуляли с ним в саду около дома в Мозжинке (загородная дача академика), и он внезапно спросил меня, буду ли я вспоминать его, когда его не станет? Внутренне я дрогнула, но ответила: конечно, буду.

И вот я вспоминаю...

* * *

В 1935 году, когда я работала литературным редактором в редакции «Жизнь замечательных людей» (журнально-газетное объединение, так называемый «Жургаз», под эгидой Михаила Кольцова), однажды в нашей комнате появился пожилой человек с умным лицом, резким профилем и, познакомившись, положил на мой стол увесистую рукопись в двух экземплярах. Это был Евгений Викторович Тарле, а рукопись — знаменитый «Наполеон», который и теперь, спустя сорок лет, читается с неослабным интересом. Исторические концепции меняются, библиография устаревает, но что хорошо, то хорошо, и это исследование занимает прочное место в ряду исторических работ.

Сразу меня увлекло и покорило изложение, постепенно развертывающее жизнь Наполеона — с детства, от «угрюмого волчонка» до большого хищного волка — первого императора Франции, все перипетии необыкновенной карьеры этого феноменально одаренного человека.

Обычно ученые пишут скучновато (в основе этого, возможно, лежит заблуждение: чем скучнее, тем выглядит серьезней). И вдруг такой блеск — тонкую иронию сменяет юмор, юмор — психологические меткие характеристики и т. д. За примерами ходить недалеко.

Пишет ли он о стратегическом вмешательстве духа святого, который помогает Наполеону одерживать по-

¹ Харьковская ГНБ имени В. Г. Короленко, арх. ф. Л. Е. Белоцерской-Булгаковой (ф. 22, ед. хр. 1).

беду над всеми врагами, по утверждению католической церкви, или рассказывает о престарелом папе Римском Пие VII, которому Наполеон приказал явиться лично в Париж для своего коронования, а он негодует и раздражен, но послушаться не смеет. Окружающие же утешают его историческими примерами, вплоть до Аттилы.

«От слова не станется,—Вильям Питт младший, не зная русского языка, всю свою жизнь руководствовался этой наиболее дипломатической из всех возможных русских поговорок».

«Стратегический талант Наполеона делал маршалов точнейшими исполнителями его воли и в то же время не убивал в них самостоятельности на поле сражения. И безграмотный рубака добродушный Лефевр, и холодный, жестокий по натуре аристократ Даву, и лихой кавалерист Мюрат, и картограф-оператор Бертье — все они были недюжинными тактиками, обладавшими большой инициативой. Храбрецы Ней или Ланн в этом отношении ничуть не уступали хитрому, рассудительному Бернадотту, или методическому Массена, или сухому, сдержанному Мармону».

Блестки остроумия рассыпаны буквально по всей книге...

Наши беседы у моего стола в редакции носили все более дружеский характер. К ним присоединялась иногда Наталья Алексеевна Озерская, ответственный секретарь редакции ЖЗЛ, человек воспитанный, умный и доброжелательный. Семья Евгения Викторовича — жена Ольга Григорьевна и сестра Мария Викторовна еще жили в Ленинграде. Евгений Викторович приезжал в Москву, останавливался в гостинице «Метрополь», и все же как-то летом я получила приглашение прийти познакомиться с обеими — сестрой и женой Евгения Викторовича. Они остановились у Маргариты Николаевны Зелениной, дочери М. Н. Ермоловой в квартире этой знаменитой актрисы.

В 1936 году вышел «Наполеон» и имел шумный успех: о нем много говорили. Конечно, жаль, что полиграфические возможности того времени были ограничены. Бумага была среднего качества, но все же книжка вышла с фронтисписным портретом (гравировала художница А. Критская). От каких бы то ни было иллюстраций Евгений Викторович категорически отказался.

Понемногу мы ближе познакомились с Ольгой Григорьевной Тарле. Была она молчалива, сдержанна, но наблюдательна. Ее замечания и характеристики зача-

стю попадали «не в бровь, а в глаз». Говорила она очень тихо, «мяукала», по выражению Евгения Викторовича. Зная, что я владею французским языком, она просила меня читать ей вслух—у нее было плохое зрение. Приходили к ней и другие лектрисы, с курсов иностранных языков, но они все подражали французскому акценту, чего Ольга Григорьевна терпеть не могла, называла это кривляньем. Я читала честно, как меня учили, без подражания.

Иногда я сопровождала ее в театр или в цирк (мы обе любили изредка доставить себе это развлечение). Евгений Викторович считал, по-моему, посещение цирка проявлением некоторого авантюризма. Не представляю себе, как можно было бы заманить его в цирк, разве только доставить под наркозом.

Мария Викторовна была полной противоположностью Ольги Григорьевны: любила поговорить, умела вызвать собеседника на психологический разговор и на откровенность, но вместе с тем умела и слушать—качество редкое в людях. Про нее можно сказать—«ловец человеческих душ». Евгений Викторович всегда находился между двух огней—между женой и сестрой, но никогда не обсуждал ни ту, ни другую. Он никогда не говорил о своих многочисленных званиях, не перечислял названий иностранных институтов, членом которых был избран, никогда не говорил о количестве своих трудов.

Никогда не рассказывал и никогда не упоминал о годах ссылки.

Также никогда не упоминал он о сыне, умершем в самом раннем детстве. Но хорошо умел разговаривать с мальчиками, называл их «мальчишечками» и увлекательно рассказывал им о звездах и планетах. Я сама слышала, как в Казани хозяйский мальчик спрашивал: «А Альдебаран большой?»

Евгений Викторович увлекался астрономией и астронавтикой.

До создания первого в истории человечества искусственного спутника Земли (1957) не дожил он всего каких-нибудь двух лет и не приобщился ко всем дальнейшим ошеломительным успехам завоевания космоса. Воображаю, как бы его взволновало то, что люди добрались до Луны, до недостижимой, недоступной, тысячи тысяч раз воспетой Селены.

Была еще одна запретная тема в доме Тарле—болезни. Здесь Евгений Викторович высказывался совершенно определенно: «Допустим, человек пришел ко мне доверчиво в гости, скажем, побеседовать о литера-

туре, а я ему вываляю все свои немочи. Это же типичное «abus de confiance» — злоупотребление доверием». Даже последние месяцы жизни, когда он страдал сердечной аритмией, он не говорил о болезни. Джентльменская деликатная закуска: не загружать другого человека своими невзгодами, не отягощать психику собеседника.

В доме Тарле я встречала Надежду Андреевну Обухову. Вспоминаю вечер, когда Дмитрий Николаевич Журавлев читал главу из «Евгения Онегина» и рассказ Достоевского «Бобок». Довольно частым посетителем был у них литератор Е. Л. Ланн, человек странной внешности, странной сущности — любитель парадоксов, странной судьбы. Вспоминаю женственную и милую Татьяну Львовну Щепкину-Куперник, всегда бывшую у Тарле в сопровождении Маргариты Николаевны Зелениной, являвшей всем своим видом полную противоположность Татьяне Львовне. Часто встречала я помощницу Евгения Викторовича, симпатичную Анастасию Владимировну Паевскую. Познакомилась я в этом доме с приятной и красивой полькой Вандой Львовной Воиновой, восторженной почитательницей Евгения Викторовича.

Она всю жизнь прожила в России, была замужем за русским, но с русским языком не очень-то ладила, испытывая пристрастие к поговоркам, она обращалась с ними вольно. Вот так рассказывала она семейную историю какого-то знакомого, плохого мужа: «Жили они плохо: сначала он стал на каждом шагу вставлять ей спицы в колеса, затем, истратив все ее деньги, фактически пустил ее по морю. А разорив, долго отнюхивался и скрипел сердцем, не давая развода, но в конце концов все-таки дал».

В небольшой «новелле» Ванда умудрялась распотешить слушателей, но, спаси Бог, посмеяться над ней вслух. Была она «пани гонорова» и могла обидеться. Евгений Викторович особенно ценил ее заявление, что фашистам придется «смаковать удочки». Он очень любил, когда я передавала ее лингвистические перлы.

Вообще удивительно, как всякое речевое своеобразие останавливало его внимание. Помню, во время нашей поездки по Уралу он где-то разговорился с девчушкой лет восемнадцати, и та рассказала ему, что скучает по подруге, с которой поссорилась. Евгений Викторович спросил, почему поссорилась?

— Да потому, что она оказалась бездушной кокеткой.

Евгений Викторович удивлялся, как в речь очень

современной простенькой девушки умудрилось прижиться выражение из романа XIX века.

Часто встречала я у Тарле их кузину Евгению Осиповну Мараховскую и приятельницу Марии Викторовны художницу Веру Михайловну Вечеслову.

Вспоминаю женщину-врача А. в связи с забавным случаем: однажды Ольга Григорьевна, Мария Викторовна и эта «докторесса» рассматривали альбом исторических гравюр. Евгений Викторович их комментировал. Перевернули страницу — «Вот покушение Орсини на Наполеона III». И вдруг раздался обеспокоенный басовитый возглас докторши: «И убил?!»

Такая темнота потрясла Евгения Викторовича. Он все никак не мог успокоиться и в течение дня нет-нет да и спрашивал — «И убил?!». «Подумать только, — говорил он. — Значит, ход истории для нее темен и скрыт, значит, ничего не было: ни трона, ни пленения, ни Седана, мозг ее — «*tabula rasa*».

И еще несколько раз он, сокрушаясь, восклицал — «И убил?!».

Тут я высказала мысль, что, если эта врачиха такая темная, она, должно быть, не врач, а знахарка. Но меня быстро «прекратили», сказав, что это одно с другим не связано.

* * *

Я никогда не чувствовала разницы лет между собой и Евгением Викторовичем. Это потому, что он не был отягощен грузом своей учености и не выставлял ее напоказ. С ним легко дышалось. Юмор он схватывал на лету. Вот он что-то напеваает, а я говорю: «Вы как Наполеон», а он возражает: «Разве я тоже пою фальшиво? Разве у меня тоже нет слуха?»

Смеялся он хорошо, открыто и заразительно. Иногда над каким-нибудь незамысловатым анекдотом. Порой сам рассказывал нечто подобное и никогда не обижался, если я ему говорила — «У этого анекдота вот такая бородача» — при этом даже делала вид, что наматываю бороду на ножку стола. Он смеялся и говорил — «Ах, лукавый народ! Лукавый народ!».

Вспоминаю, как однажды у меня встретились он и еще один мой любимец, человек такого же широкого плана, как и Евгений Викторович. Я имею в виду писателя Василия Григорьевича Яна (Янчевецкий) — автора «Чингисхана», «Батыя» и других литературных произведений на историческую тему.

Сидят они на изогнутом старинном диване, освещенные светом высокого торшера, и мирно беседуют (не для мемуаров, как это часто изображают слишком шустрые «воспоминатели», забывая, что хитрый читатель все равно разберется, что предназначено под будущие мемуары, а что «взаправдашнее»). Недавно одна журналистка поучала меня, что «домысел» в мемуарной литературе не только вполне допустим, но даже поощряется...

Под верхним светом ярко вырисовывается четкий профиль, как в римской скульптуре — Евгения Викторовича и тонкое лицо типа кардинала Ришелье (в крайнем случае Арамиса из «Трех мушкетеров») писателя Яна.

Бывшая у меня в гостях моя приятельница художница Н. А. Ушакова нарисовала армянский ребус, очень смешной, и Евгений Викторович веселился, как ребенок: «А эта клякса означает — тьма? А нота фа? Прелестно! Ах, лукавый народ, лукавый народ!» — и попросил художницу нарисовать ребус в его записной книжке.

Уже год как идет война. Все при нас: и холод, и голод, и страх, и надежды. Будто только вчера простилась я с Евгением Викторовичем. Было мне грустно думать, что вижу я его в последний раз, а дальше — кто знает? Но он был оптимистически настроен и все повторял: «Дай срок, и от фашистов только перья полетят».

Полетят-то полетят, но когда?

Зима сорок первого года стояла лютая: морозы доходили до 40°, улицы сами на себя не похожи, изуродованные надолбами. У нас на Пироговской Штаб Военно-Воздушных сил, и «мессершмитты» нами не брезгают. В первую же ночь бомбежки у нас во дворе убило соседку: пуля, рикошетом от стены, попала ей в голову. Под огнем отнесли ее в клинику напротив, но спасти ее все же не удалось.

В эту же ночь бомба попала в Вахтанговский театр и убило дежурившего актера — В. В. Кузу...

...Адски хочется есть. Недавно проезжал грузовик и уронил вилок капусты. Я бежала за ним, как серна, и схватила его первая, за что была изругана черным словом другой претенденткой на добычу.

Стало немного легче, когда поступила в цех по раскрашиванию открыток (оказывается, они тоже кому-то нужны). Получаю рабочую карточку.

Евгений Викторович с семьей эвакуировался в Казань. От него пришло письмо и немного денег, что повторялось им время от времени. По дому продолжаю

дежурить в бомбоубежище. Иногда сижу на крыше, жду зажигалок.

На фронте дела лучше. Все от этого повеселели, как-то посвежели. Мне кажется, даже прохорошели.

Картинки, которые я малюю, ужасны. Например, баба-яга в ступе. Ну кому нужна баба-яга во время войны, когда вокруг дела пострашнее бабы-яги?!

Неожиданно появился Евгений Викторович с женой. Он сказал мне, что предпринимает поездку с лекциями по ряду городов, через Казань в Златоуст, Уфу, в Свердловск на сессию Академии Наук, а потом обратно в Казань.

Он пригласил меня сопровождать его в поездке. Мне очень хотелось, но я засомневалась, удастся ли это устроить: надо иметь пропуск на выезд и на обратный въезд в Москву. Но он сказал, что это он берет на себя. И действительно, Петр Иванович Чагин, тогдашний директор Государственного издательства художественной литературы, пошел навстречу Евгению Викторовичу, и этот вопрос уладился.

Ехали мы в таком составе: двое Тарле, я и Михаил Ильич Цин, на обязанности которого лежала вся деловая сторона поездки: договоренность с железной дорогой об отдельном вагоне, согласование лекций, сколько и где надо выступать.

Обе: жена и сестра академика — находили, что Цин незаменим и может достать и организовать все на свете.

Вагон наш состоял из салона, снабженного столом, диваном, стульями, этажеркой. Была комнатка-спальня и обыкновенное железнодорожное купе (мое обиталище). Такое же купе для проводника. Он, проводник, ничего не понимал, смотрел круглыми глазами. Сначала мы решили, что он глухой, потом решили, что он слепой, а потом — что глупый. Вот тут-то мы и не ошиблись. В вагоне было уютно, но грязно, что при таком проводнике можно считать вполне закономерным. Вечером каждый занимался своим делом, а мы с Ольгой Григорьевной сели играть в шашки, но я все время «зевала», так как не люблю эту игру, а она, думая, что я поддаюсь, говорила: «Заяц поддается» (к этому времени из Любви Евгеньевны я незаметно превратилась в Зайку, Заиньку, Зайца).

Ехали мы без приключений. Но вот однажды (в каком городе, не помню) Евгений Викторович в сопровождении Цина отстал от поезда. Что тут началось! Ольга Григорьевна схватилась за голову и, сидя на

диване, стала раскачиваться из стороны в сторону, стена и причитая:

— Что же теперь будет? Что теперь будет? Что делать? Что делать?!

Я спокойно старалась объяснить ей, что Цин заявит железнодорожной администрации, а те дадут телефонограмму, и нас отцепят на первой же станции, а Евгений Викторович догонит нас со следующим поездом, тогда нас прицепят, и мы поедем дальше.

Не тут-то было! На мою беду на первой остановке нас никто не отцепил, а когда наконец отцепили, то долго не было следующего поезда, и Евгений Викторович не появлялся, Ольга Григорьевна продолжала плакать и стенать. Все мои аргументы были исчерпаны, а валерьяновки под рукой не было. Ночь прошла бурно. Под утро явились «герои».

Воспользоваться остановками и посмотреть города нам не удавалось, так как наш вагон отводили на запасные пути, откуда добираться было очень сложно.

Вот мы и в Свердловске — нарядный центр и близлежащие улицы, а дальше не очень-то привлекательно. Мы остановились в лучшей гостинице, куда съехались на сессию академики. Я заметила два знакомых лица: Петра Леонидовича Капицы и Алексея Николаевича Толстого.

Зал, где выступали академики, был красивый, сиденья расположены амфитеатром, что всегда выглядит парадно.

Евгений Викторович, которого я много раз видела на трибуне, всегда выступал белестяще. Выходил он со сложным портфелем, затем, не раскрывая, клал его на стол или на кафедру и больше к нему до конца выступления не прикасался. Никаких бумажек. Кроме ораторского таланта, его всегда отличала высокая культура речи, когда и мыслям и словам просторно... Он почему-то не любил, чтобы близкие ходили его слушать. Ольге Григорьевне просто запрещалось посещать его выступления. Мне он сказал сухо: «Напрасно, напрасно пришла».

Из Свердловска мы поехали в Верхнюю Салду. В Нижней Салде, куда нас довез на санях извозчик, в крошечном домике среди снегов умирала Татьяна Александровна Богданович, друг всей жизни Евгения Викторовича. Я видела ее задолго до войны: это была красивая женщина, тип русской сероглазой красавицы, а теперь на постели лежало ее подобие. И было тяжело смотреть на нее... Мы едва добрались до Казани и там получили извещение, что Т. А. Богданович умерла. Но

от Евгения Викторовича это скрыли, опасались, что он поедет обратно.

В Казани остались оба Тарле, соединившись с Марией Викторовной, а мы с Цином двинулись в Москву. У нас в вагоне появился академик Иоффе, наш спутник до Москвы, не сказавший, кстати, ни одного слова — ни «здравствуйте» и ни «прощайте»...

* * *

Вещие слова Евгения Викторовича, что от «фашистов только перья полетят» оправдываются: от Москвы их отогнали, но настоящий разгром их и перелом в войне начался битвой под Сталинградом в 1942 году и продолжался и далее: тут Курская дуга и конец блокады Ленинграда и многие другие славные боевые страницы.

Понемногу возвращаются в Москву эвакуированные учреждения и театры.

Если бы только не мысль о бесчисленных могилах! Одно Пискаревское кладбище под Ленинградом чего стоит...

Евгений Викторович с семьей вернулся и утвердился в Москве¹. Он поселился в Доме правительства, но, к сожалению, не в отдельной квартире, а в соседстве со вдовой прокурора Красикова² (прозванной «фугаской»), что вряд ли можно было считать удачным. Я уж его не расспрашивала о ленинградской любимой квартире с изумительным видом из его кабинета на Неву и Петропавловскую крепость.

Во время войны Евгений Викторович интенсивно работал³ в Советском Комитете защиты мира⁴, выступал с лекциями, писал. В 1941 году вышел первый том «Крымской войны», в 1943 — второй том. В этом же 1943 году «Нашествие Наполеона на Россию» вторым изданием, в 1944 году повторно — «Крымская война». Им еще выпущен в двух издательствах «Нахимов» и брошюра «Гитлеризм и Наполеоновская эпоха».

В это же время по распоряжению правительства немецкие военнопленные приступили к постройке дач для академиков в местечке Мозжинка, в нескольких километрах от Звенигорода. Строили они быстро и неплохо, по одному образцу: три комнаты с террасой внизу и две с балконом наверху.

Ольга Григорьевна пригласила меня ранней весной поехать посмотреть дачу. Нас вез «придворный» шофер Василий Васильевич сначала по хорошему шоссе, а

затем сквозь тающий снег, пеньки, колдобины, по бездорожью к дачам. Мы все время проваливались в воду, припадали то на один бок, то на другой, но в общем как-то выкарабкались. Ольга Григорьевна вела себя молодцом, не так, как в вагоне. Коменданта не застали, ключей не получили, и внутренность дачи не видели. Посидели на крылечке и уехали.

Потом больше десяти лет, до самой смерти Евгения Викторовича, Тарле жили в Мозжинке и с удовольствием туда ездили⁵.

Евгений Викторович, хотя и считал себя стойким урбанистом, в Мозжинке по-настоящему отдыхал и не прочь был посидеть в саду под деревьями.

Весной 1944 года «всемогущий» Цин устроил поездку академика с лекциями по Грузии. В отдельном вагоне, с большим комфортом, надо думать, чем была наша в Свердловск.

Поехало все семейство и осталось в восторге — так было удобно, красиво, удачно, гостеприимно.

Без них в Москву приехал из Китая брат Евгения Викторовича — Михаил Викторович с женой Еленой Федоровной и дочерью Викторией. Но приехали они, как говорится, не под «счастливой звездой». Через год Елена Федоровна, всего сорока шести лет от роду, умерла. В 1948 году умер и Михаил Викторович. Викторина, она же Викуся, она же «Зизишенька», за короткий срок лишилась обоих родителей, правда, приобретя мужа в 1946 году. Была она в те годы очень мила, и один иностранный дипломат сравнил ее с фиалкой.

* * *

Я с благодарностью и теплом вспоминаю Мозжинку. Я люблю природу. Было там привольно — лес, поля, овражки. Как только я приезжала, я сейчас же убежала на прогулку, что очень нравилось Евгению Викторовичу. Он говорил: «Вот человек, который умеет пользоваться природой». Ольга Григорьевна присоединялась: «На то он и Заяц. Зайцу так и положено».

Евгений Викторович любил детективы. За этим чтением отдыхал его мозг. Он однажды остроумно объяснил мне, как строится подобный жанр. В преступлениях обязательно будут обвинять беспутного родственника, который после какого-то прегрешения отправился или в Китай, или в Индию. Но не верь. Автор пускает тебя по ложному следу: этот «чайнамен» чист как голубь, зато тихая дальняя родственница с внешне-

стью ангела, живущая в семье в роли лектрисы, и есть главная преступница, хладнокровно отравляющая свою больную благодетельницу.

Прочла я там в Мозжинке и книги о «преступлениях века». В частности, историю Тропмана, молодого эльзасца, убившего семь человек, чтобы завладеть страховым полисом (что, кстати, ему не удалось). У Тургенева есть небольшой очерк о гильотинировании Тропмана. Со слов Золя известно, что Тургенев, присутствовавший на казни, потерял сознание.

Если я не успевала дочитать книгу, то просила оставить ее до следующего моего приезда и, входя, громко спрашивала: «Целы ли мои преступнички?» — что веселило Евгения Викторовича...

В самой большой комнате на стене, над диваном, где я спала, висели два рисунка Лермонтова (пейзажи)⁶ и авторгаф Пушкина⁷, подаренный Ольге Григорьевне известным юристом-писателем и общественным деятелем А. Ф. Кони (судьба этих драгоценных реликвий не известна).

Хорошо помню один вечер. Начался он с замечания Евгения Викторовича: «Вот бывает же и такая поэзия на свете: «Ты пришла в шоколадной шаплетке, каблучком молоточа паркет...»

Я сразу узнала Игоря Северянина, но решила не отдавать его без боя.

— Да, это озорство,—сказала я,—но он все же настоящий поэт. Знаете ли вы его стихи: «Весенний день горяч и золот. Весь город солнцем ослеплен. Я—снова—я. Я снова молод, я снова молод и влюблен...»

Евгений Викторович этого стихотворения не знал. Тогда я стала читать дальше: «Скорей бы в бричке по ухабам, скорей бы в юные луга, смотреть в лицо румяным бабам. Как друга целовать врага...»

Мне пришлось прочесть это стихотворение все до конца, что я и сделала с отменным удовольствием, потому что видела—оно понравилось Евгению Викторовичу. Я почувствовала победу на своей стороне и сказала: «А вот эти строки, разве не строки поэта?»

Когда, в воде отражены,
Ногами вверх проходят козы
И изумрудные стрекозы
В полдневный сон погружены...

Дальше я не помнила, но нам уже не хотелось расставаться со стихами.

Потом Евгений Викторович перешел к особо любимому и ценимому им поэту—к Лермонтову.

— Подумать только — разве это не чудо? В нарушение всех законов возрастного развития появляется этот поэт. Как объяснить: из каких тайных глубин берутся такие слова у этого двадцатитрехлетнего офицера, дерзкого забияки, бретера, какие он нашел в «Молитве», обращенной к богородице?

...Не за свою молю душу пустынную,
За душу странника в свете безродного;
Но я вручить хочу деву невинную
Теплой заступнице мира холодного.

Окружи счастьем душу достойную,
Дай ей спутников, полных внимания,
Молодость светлую, старость покойную,
Сердцу незлобному мир упования...

— Какой неизъяснимой любовью дышат эти строки, — сказал Евгений Викторович.

Потом мы посидели тихо и лишь спустя несколько минут он начал читать наизусть свою любимую «Песнь про купца Калашникова», которую считал шедевром.

Не раз сживали мы в этой комнате и беседовали на разные темы. Из писателей он любил больше всего Достоевского. Тут наш язык был абсолютно общим. Я не переставала удивляться его необыкновенной памяти. Целые страницы из творений Федора Михайловича знал он наизусть. Вспоминаются выдержки из «Вечного мужа» и душераздирающий разговор Раскольникова со следователем Порфирием Петровичем (из «Преступления и наказания»), когда тот убеждает Раскольникова признаться в убийстве, чтобы облегчить свою участь и получить сставку, как выражается Порфирий.

Необыкновенно читал Евгений Викторович и другого гиганта — Льва Николаевича Толстого, хорошо знал его произведения (многие страницы «Войны и мира» — наизусть) и бережно хранил его автограф.

Не раз читал он вслух стихи Некрасова, баллады Жуковского (говорил, что этот поэт недостаточно у нас популярен и оценен).

Что касается театра, я только один-единственный раз за все двадцать лет слышала, как он отзывался об игре Михаила Чехова: «Неужели ты не видела «Ревизора» в его исполнении?! Это же необыкновенно и незабываемо. Это событие! Как же ты могла пропустить это? Зайка, Зайка». И долго сокрушался, обращаясь то к Ольге Григорьевне, то к Марии Викторовне: «Маня, ты подумай только. Не видела Михаила Чехова в роли «Ревизора!» (Они обе тоже не видели, потому и помалкивали.)

Хочется представить постоянное окружение семьи Тарле в Мозжинке. О шофере Василии Васильевиче я уже упоминала. Существовали еще две помощницы по хозяйству: одна — Ольга, уже давно живущая у них, и Феня, пришедшая намного позже (Феничку я знала по работе в гравюрном кабинете в Музее изобразительных искусств имени Пушкина. Она так внимательно и бережно подносила работающим в кабинете альбомы с гравюрами).

Ольга, грубоголосолая баптистка, больше всего на свете любящая наряды (кстати, очень хорошая работница).

В сторожке жила молодая женщина с сыном — Тоня. Про сына Евгений Викторович говорил: «Я смело могу сказать, что этот мальчишечка вырос на моих коленях».

Были две собаки: Мерик и Каштанка. Мерик — той-терьер, крошечный, пучеглазый, зябкий. Любил забираться к Евгению Викторовичу под мышку, когда он сидел в кресле с пледом на плечах.

— Странное имя Мерик, — сказала я.

— Вы плохо знаете литературу, Зайка, — возразила Ольга Григорьевна: так зовут конокрада, героя рассказа Чехова «Воры».

Каштанка была симпатичная дворняжка, погибшая под колесами автомобиля на шоссе, прямо перед домом. Она лежала мертвая в саду (ее еще не успели зарыть), и Ольга Григорьевна волновалась — «Только не показывайте ее Мерику, не надо, чтобы он видел ее мертвой» (собаки очень дружили).

Из соседей академиков я помню чету Майских. Он всегда меня удивлял отсутствием светскости, которую не мешало бы ему позаимствовать у Евгения Викторовича, хотя, казалось бы, долго занимаемый им пост советского посла в Лондоне обязывал его в этом смысле быть на высоте. Хорошо помню очень симпатичную Ольгу Михайловну Вавилову, жену президента Академии С. И. Вавилова. Дача их красиво стояла на высоком берегу Москвы-реки.

Частой посетительницей Мозжинки была приятельница Марии Викторовны — Татьяна Владимировна Семевская, женщина начитанная, ученая, которая запросто «на равных» рассуждала с Евгением Викторовичем об Эйнштейне и теории относительности. Она подолгу жила на даче...

...Можно кричать ура! Берлин взят. Немцы капитулировали. Победа! Конец войны! Гремит радио. Все целуются на улицах, даже незнакомые. Многие плачут, поздравляя друг друга.

Что и говорить — тяжело достались нам все годы войны. Но впереди нас ждало вот это самое счастье. Счастье встречи с вернувшимися, радость чистого неба, светлых городов, появления вволю хлеба. Счастье всего того, что вмещается в слово Мир!..

Евгений Викторович много работает в Советском комитете защиты мира. Подготавливаются документы к Нюрнбергскому процессу, они поступают в несметных количествах со всех концов Советского Союза.

И пишет: в 1945 году в издательстве Академия Наук вышла книга «Чесменский бой и первая русская экспедиция в Архипелаг». В 1954 году — «Город русской славы» (Севастополь в 1854—1855 гг.)⁸.

Очень хотелось бы знать, где все материалы из подготовляемого к печати исследования Е. В. Тарле «Внешняя политика России при Екатерине II»?⁹

Я сама работала для этого исследования в Архиве древних актов (распоряжения Потемкина). И до сих пор не могу забыть случайно увиденного, закапанного слезами письма Марии-Антуанетты, обращенного к «Сестре и Государыне» Екатерине за помощью из Тюильри....

Время идет, и я замечаю, как постепенно слабеет Евгений Викторович. В Мозжинке он часто сидит закутанный в плед. Все чаще к нему приходит местный врач. Он бледен, но ни на что не жалуется: выдержка.

Наконец он слег окончательно. Я пришла навестить больного Евгения Викторовича. Он лежал как будто бы в частной квартире, но это был академический стационар. Было это где-то у метро «Кировская» в доме бывшего страхового общества «Россия». Ольга Григорьевна неотлучно при нем. Он лежал уже без сознания. И как она ни старалась привести его в себя, все повторяя: «Посмотри: кто пришел, Заяц пришел тебя навестить», — все было тщетно: он уже находился «по ту сторону добра и зла».

5 января 1955 года его не стало. Хоронили его в Новодевичьем монастыре. Стоял лютый мороз. Монастырский вход на старое кладбище закрыли. Открытый гроб поставили на постамент. Начались надгробные речи.

Ольга Григорьевна сидела вся сжавшись, похожая на птенца, выпавшего из гнезда. Она заоченела. Я предлагала ей пойти ко мне погреться, благо я живу рядом, но она наотрез отказалась. Больше я никого не помню. Ночевала я у нее. Она с постели не вставала, и я была свидетельницей такой сцены.

Утром пришел их постоянный шофер—Василий Васильевич спросить, не надо ли чего. Он стоял в коридоре.

Ольга Гр. Сегодня холодно, Василий Васильевич? Вас. Вас. Да, морозно, Ольга Григорьевна.

Ольга Гр. Так отвезите же теплую шубу Евгению Викторовичу. Он простудится в легкой.

(Молчание)

Ольга Гр. Отчего вы молчите, Василий Васильевич? Вы меня слышите?

Вас. Вас. (*странным голосом*). Слышу, Ольга Григорьевна. Хорошо... Отвезу...

Я не уверена, что он не плакал. У меня слезы лились градом.

Спустя очень короткое время Ольга Григорьевна умерла.

Могила Евгения Викторовича Тарле находится на старом кладбище Новодевичьего монастыря. Обидно, что такой некрасивый барельеф водружен на его памятнике.

Больше двадцати лет прошло со дня смерти Евгения Викторовича, и я спрашиваю себя: в чем же все-таки секрет притяжения к нему людей, самых разных по профессии и по возрасту: женщин, любивших его одного всю жизнь, мужчин, считавших за счастье общение с ним, детей, сидевших у него на коленях и жадно слушавших рассказы о звездах?

Ответ есть: одно свойство его природы, то самое, о котором, например, мечтают все актеры, как о высшем благе—это обаяние. Как человека, как ученого. Обаяние во всех возможных проявлениях и гранях человеческого существа.

**ПРИМЕЧАНИЯ,
СОСТАВЛЕННЫЕ ВНУЧАТЫМ ПЛЕМЯННИКОМ
Е. В. ТАРЛЕ Я. Л. КРАНЦФЕЛЬДОМ**

¹ После возвращения из эвакуации и снятия блокады Ленинграда основным местом жительства Е. В. Тарле оставалась ленинградская квартира на Дворцовой набережной, дом 30 (бывшая квартира гр. Витте). Однако в связи с большим

объемом работ, связанных с Москвой, ему выделили часть квартиры покойного П. А. Красикова в Доме Правительства («Доме на набережной»).

² Последние годы жизни П. А. Красиков был не прокурором, а зам. председателя Верховного Суда.

³ Перечень книг Тарле, созданных и изданных во время войны, состоит из нескольких десятков названий.

⁴ Советский комитет защиты мира был учрежден в 1949 г. Во время войны Тарле работал в Комитете или Комиссии по расследованию зверств и преступлений фашистских захватчиков.

⁵ Дачный поселок в Можжинке был закончен строительством в 1949 г., за 6 лет до смерти Е. В. Тарле.

⁶ У Е. В. Тарле был один рисунок М. Ю. Лермонтова—акварель, которая после его смерти была продана М. В. Тарле Литературному музею. Хотел ее приобрести известный коллекционер и актер Н. П. Смирнов-Сокольский, но предпочтение было отдано музею.

⁷ В собрании Е. В. Тарле был автограф стихотворения А. С. Пушкина «От меня вечер Леила...», который был ему подарен писателем Л. Ф. Пантелеевым в начале века. Еще при жизни Е. В. Тарле этот автограф был передан в Пушкинский дом, где и находится по сей день.

⁸ В 1945—1955 гг., помимо названных Л. Е. Белозерской, Е. В. Тарле написал книги об экспедициях адм. Ушакова и Сенявина, о русском флоте при Петре I, «Северную войну».

⁹ Законченной рукописи книги «Внешняя политика России при Екатерине II» не существовало. Завершенные разделы этого исследования были опубликованы в 1945 г. Это—упомянутый Л. Е. Белозерской «Чесменский бой...» и две стенограммы лекций «Екатерина II и ее дипломатия» объемом 98 с. Дальнейшую работу над этой темой Тарле был вынужден прекратить из-за личного поручения И. В. Сталина написать историю войны 1941—1945 гг.

ЗАПИСКИ О ЛЮБОВИ ЕВГЕНЬЕВНЕ

С Любовью Евгеньевной Белозерской (1895—1987), моей теткой, я подружился после демобилизации из действующей армии в 1944 году, и продолжалась наша дружба более сорока лет, вплоть до ее смерти. Со мной она была максимально откровенна, насколько это было возможно для такого сдержанного человека.

Отец Любови Евгеньевны — Евгений Михайлович Белозерский (1853—1897) — получил блестящее образование. Он окончил Московский университет и Лазаревский институт восточных языков и владел четырнадцатью языками. Часто бывал во многих европейских государствах, выполняя различные дипломатические поручения. Евгений Михайлович отдал дань и литературной деятельности. Сохранились два его произведения: пьеса «Две матери», по современным понятиям вещь очень слабая и малоинтересная, и «Письма из Персии», которые и по сей день не потеряли своего познавательного значения.

Судя по этим путевым очеркам, можно достаточно отчетливо представить себе духовный облик Евгения Михайловича — это был наблюдательный и умный человек, прекрасно разбиравшийся в экономике, культуре и военном положении Персии и при этом неустанно заботившийся о своей родине.

Дипломатическая деятельность Евгения Михайловича в Персии вызвала большое недовольство во влиятельных кругах. Он был смещен, перешел в акцизное ведомство. По своему характеру это был замкнутый, довольно жестокий и волевой человек. Он был сердечником и в 1897 году скоропостижно скончался в Польше под Ломжей.

Мать Любови Евгеньевны — Софья Васильевна Белозерская (1860—1921), урожденная Саблина, училась в Москве в институте благородных девиц, где получила хорошее музыкальное образование.

Со своей будущей женой Евгений Михайлович встретился в Москве на балу в 1883 году. Можно предполагать, что они поженились в 1887 году.

У четы Белозерских было четверо детей: старшая — Вера (род. в 1888), Надежда (род. в 1891), Юрий (род. в 1893) и младшая — Любовь (род. в 1895). Их детство протекало в различных губерниях страны, так как семья должна была переезжать из города в город по служебному назначению отца.

Софья Васильевна была очень беспечна, добра и старалась помочь людям, что в конечном счете привело семью к разорению.

После смерти мужа Софья Васильевна с детьми переехала в Пензу, где жили ее дальние родственники. Старшую дочь Веру отправили в Петербург учиться в Демидовскую гимназию, которая по своему статусу была похожа на институт благородных девиц, но отличалась более демократичными порядками. Она ее окончила с золотой медалью. Вера Евгеньевна обладала хорошими лингвистическими способностями и знала семь языков. По своему характеру была очень азартна и легко увлекалась. Вера Евгеньевна вышла замуж за немецкого инженера, по вероисповеданию католика, и по настоянию мужа должна была перейти из православия в католицизм; в 1920 году семья выехала за границу и мы потеряли ее из вида.

Дочь Надежда и сын Юрий по состоянию здоровья не могли находиться в закрытых учебных заведениях и учились в гимназии в Пензе.

Средняя сестра Надежда Евгеньевна—моя мать, в 1913 году переехала в Петербург к своему мужу Владимиру Михайловичу Широкоговору, где часто принимала у себя в доме талантливых художников, актеров. В доме часто бывал знаменитый грузинский режиссер Константин Марджаншвили.

Надежда Евгеньевна была очень музыкальна. У нее был красивый, небольшой голос, который ей поставила Андроникова, жена друга моего отца, окончившая в свое время Петербургскую консерваторию по классу вокала.

Я помню, как моя мать красиво пела салонные романсы, например «Хризантемы», очень просто и выразительно, без ложно-нарочитого цыганского налета.

Надежда Евгеньевна была близка с семьей Бундиковых. Старший сын Бундиковых—Александр Васильевич был художник, а его друг Аристарх Викентьевич Лентулов, был одним из организаторов объединения московских художников «Бубновый валет». В те годы он увлекался фотографией и у меня сохранился снимок моей матери, выполненный Лентуловым.

В 1923 году уже в Красноярске мои родители разошлись. После отъезда отца нас переселили из отдельной двухкомнатной квартиры в одну комнату в общей квартире без всяких удобств. Мать с трудом устроилась на работу секретарем в милицию, как раз в то время между городскими властями и представителями православной церкви возникли серьезные разногласия, и Надежда Евгеньевна становится на защиту интересов церкви, в результате чего ее увольняют. Живем мы очень трудно, в основном на продажу вещей. В дальнейшем ей удастся все-таки устроиться на работу. В 1927 году она выходит замуж за инженера, который был намного старше ее. Отчим был необыкновенно добрым и хорошим человеком,

трогательно любил свою жену. В 1938 году он умер в Москве, а через три года скончалась и моя мать.

Брат сестер Белозерских Юрий был больным человеком, у него был костный туберкулез. Учился он в академии художеств, где его педагогом был известный художник Евгений Евгеньевич Лансере (1875—1946). Говорят, что у Юрия Евгеньевича были большие способности и он хотел стать художником-декоратором. Умер он молодым человеком в 1921 году от тифа. Вскоре от этой же болезни умерла их мать.

Самая яркая судьба выпала на долю Любви Евгеньевны Белозерской. Она обладала незаурядными способностями и хорошо училась, закончив Демидовскую гимназию с серебряной медалью. У нее был небольшой голос, поставленный гимназическим церковным регентом. Она неплохо рисовала, обладала хорошими литературными способностями (как и ее сестры). Всю жизнь была окружена интересными и яркими людьми. К каждому человеку умела найти свой подход и, если нужно, оказать помощь. Интересно, что, разговаривая с разными людьми, она, как бы независимо от себя, поддавалась интонациям разговаривающего. Любила, очень хорошо понимала и чувствовала стихи.

После окончания гимназии и частной балетной школы в Петрограде она оказалась в самом центре литературно-театральной жизни того времени. Любовь Евгеньевна помнила и знала бесконечно много и никогда в своих рассказах не повторялась. Ее рассказы всегда были навеяны личными переживаниями с присущей ей индивидуальной окраской. В Петрограде она с успехом окончила частную балетную школу.

В четырнадцатом году разразилась империалистическая война. Любовь Евгеньевна, как истинная патриотка, оканчивает курсы сестер милосердия и принимает самое активное участие в организации благотворительных госпиталей, самоотверженно ухаживая за ранеными.

Свой первый рассказ Любовь Евгеньевна написала еще в Париже. Темой рассказа послужило подлинное событие. Вскоре после революции она поехала к своей подруге, которая учительствовала в деревне, расположенной в Центральной России. С ней вместе жили старики-родители. Подруга была милая, добрая, молодая девушка, ее любили ребяташки и их родители. Хозяева и гостя жили тихо и мирно. Однажды раздался звон бубенцов. Это на тройке приехал молодой, статный, красивый мужчина и привез четверть самогонки. Он был в красной рубахе, подпоясан кушаком, в сапогах в гармошку, а на голове картуз, из-под которого выбивалась копна волос. Прямо персонаж с народной лубочной картинки. Был он под хмельком и приехал посмотреть учительницу. Незнакомец был вооружен и сильно возбужден. Во всем его облике была заметна нарочитая

театральность. При виде его обитатели дома были сильно напуганы.

Войдя в дом, он потребовал закуску и стал настойчиво угощать самогонкой. Конечно, все отказались. Это привело его в бешенство, и он стал угрожать им. Но выпив еще, обмяк и, к счастью, скоро уснул. Впоследствии выяснилось, что это был студент-эсер, приехавший агитировать крестьян. Любовь Евгеньевна сказала мне, что они продрожали всю ночь—так им страшно было.

Рассказ, написанный на эту тему, понравился читателям, и она вспоминала об этом с удовольствием.

Любовь Евгеньевна рассказывала, как, будучи еще очень молодой девушкой, спасла крестьянку, которая полоскала белье и упала в реку, стала тонуть. Услышав крик о помощи, Любовь Евгеньевна бросилась в воду и спасла утопающую. Интересно, что за несколько лет до этого ее родная тетка, которой в то время было далеко за шестьдесят, спасла там же тонущего молодого парня. Все женщины в семье Белозерских были решительны и смелы.

В своих бесконечных странствиях по югу Любовь Евгеньевна встретила с журналистом Ильей Марковичем Василевским (1883—1938). Она знала его еще по Петербургу. Это был известный литератор, сотрудничавший во многих журналах под псевдонимом Не-Буква. Вскоре после встречи она вышла за него замуж. Но быстро поняла, что у ее мужа очень тяжелый характер, он страшно ревнив и болезненно самолюбив. Она дала ему прозвище «Пума» и уже тогда начала расканваться в своем браке.

В период бесконечных смен властей Любовь Евгеньевна попадает в Киев, где в это же самое время находился и Михаил Афанасьевич Булгаков. Но по воле судеб они там не встретились.

И. М. Василевский был намного старше своей жены и очень любил ее. Согласно какому-то старинному поверью, чтобы удержать жену, он носил три тонких обручальных кольца на одном пальце.

В первые годы революции судьба забрасывает их сначала в Константинополь, затем в Париж и, наконец, в Берлин, где у Любви Евгеньевны созрело решение расстаться с мужем. И. М. Василевский не допускает мысли о расторжении брака. Чтобы заставить жену не бросать его, он, уезжая в Москву, захватил все ее документы и уже в Москве добивается, чтобы она выехала из Берлина. Вопрос о расторжении брака временно отпадает. Все это вызывает у Любви Евгеньевны раздражение, и, приехав в Москву, она расстается с мужем, сохранив к нему недоброе чувство на всю жизнь. Случайно познакомившись в Москве с Михаилом Афанасьевичем Булгаковым, она вскоре выходит за него замуж.

Любовь Евгеньевна очень ценила посвящение ей романа «Белая гвардия» как знак любви и уважения к ней автора. Необходимо помнить, что в то страшное и кровавое время для Киева они, волей судьбы, находились в самой гуще событий и одновременно их переживали. Михаил Афанасьевич был счастлив, найдя в лице Любви Евгеньевны единомышленника в оценке описанных в романе событий. Совместная жизнь в первые годы женитьбы ничем не омрачалась. Они были дружны, вместе бывали в гостях у родственников Михаила Афанасьевича, супругов Ляминых, Анны Ильиничны Толстой и ее мужа Павла Сергеевича Попова. Надо сказать, что по отзыву современников Михаил Афанасьевич любил и умел ухаживать за женщинами, при знакомстве с ними быстро загорался и также быстро остывал, что создавало дополнительные трудности для семейной жизни. После брака с Любовью Евгеньевной как-то постепенно уменьшился круг его старых знакомых, перестали бывать его прежние друзья В. Катаев, Олеша и другие. Жизнь Михаила Афанасьевича стала более размеренной, организованной. Он был внимателен к жене, старался доставить ей удовольствие. Это видно из его писем к друзьям и знакомым. На его столе всегда находился портрет жены. Любовь Евгеньевна с удовольствием вспоминала совместные поездки на юг и лыжные походы.

В своей квартире она старалась создать красивую уютную обстановку и обставила дом мебелью красного дерева. Небезынтересно отметить, что к мебели Михаил Афанасьевич относился очень своеобразно, он старался одним словом охарактеризовать данный предмет: буфет русской работы красного дерева очень строгих и сухих форм — «монашенка»; кушетку (вероятно, «Рекамье») изогнутой формы называл «закорючкой»; верх неуклюжего шифоньера назывался «Соловки», и туда отправляли спать кошку, когда она надоедала своей игрой.

Любовь Евгеньевна также склонна была давать прозвища не только животным, но и людям.

К родственникам Михаила Афанасьевича она относилась очень душевно и с его сестрой Надеждой Афанасьевной поддерживала самые добрые отношения в течение долгого времени, вплоть до ее смерти. У Любви Евгеньевны все время бережно хранились фотографии дяди и двух сестер Булгакова.

Михаил Афанасьевич очень много работал, и ему часто помогала жена. При написании пьесы «Мольер» она очень много переводила с французского языка. На первом машинописном экземпляре этого произведения, подготовленного для печати, стояло посвящение Любви Евгеньевне с благодарственностью за помощь. Этот экземпляр все время был у нее и, вероятно, незадолго до смерти был украден. Булгаковы

всегда много работали, в течение целого года они упорно занимались английским языком. Причем Любовь Евгеньевна очень хорошо им овладела и этим тоже облегчала работу Михаила Афанасьевича, переводя для него необходимый материал. Она свободно читала по-английски, что нельзя было сказать о Михаиле Афанасьевиче.

Из воспоминаний Любви Евгеньевны видно, как хорошо и тепло складывались ее взаимоотношения с мужем. Но необходимо учесть, что они оба были талантливы и отличались яркими индивидуальными характерами. Любовь Евгеньевна очень любила спорт, самозабвенно любила лошадей, водила машину, с увлечением занималась в школе верховой езды и успешно закончила ее. Она любила и хорошо чувствовала природу Подмосковья.

Напрасно обвиняют Любовь Евгеньевну, что она старалась отдалить и отдалила многих прежних друзей своего мужа. Сам Михаил Афанасьевич был не из тех людей, которые склонны подчиняться кому-либо из близких, а скорее наоборот. У него был очень нелегкий характер, и важные решения он принимал всегда сам.

Михаил Афанасьевич был подчеркнута вежлив, очень элегантен. Представьте себе человека, в 1925 году носившего монокль. Он как бы нарочито стремился провести грань между собой и окружающими. Даже чисто внешне он трудно монтировался с друзьями молодости, а его новые знакомые были люди несколько иного плана, с которыми ему было и легко и проще.

Когда Михаил Афанасьевич начал писать пьесу «Зойкина квартира», ему нужно было познакомиться с тем, как дамы-заказчицы разговаривают с портнихами, какими выражениями они при этом пользуются. У друга его, Сергея Сергеевича Топленинова, был свой небольшой дом в Мансуровском переулке, где принимала своих заказчиц известная в то время портниха Александра Сергеевна Лямина. Михаил Афанасьевич и его друг спрятались в соседней комнате, чтобы самим услышать их подлинную речь. Об этом недавно сообщила мне Наталья Абрамовна Ушакова и ее племянница Наталья Арсеньевна Обухова. Они вспомнили также и другие эпизоды, относящиеся к жизни и творчеству Булгакова.

Стронские, родители будущего мужа Обуховой Н. А., принадлежали к потомственной семье моряков и держали «столовников». У них обедали супруги Булгаковы, Лямины, Шапошниковы. Сын Стронских Игорь вспоминал, что Михаил Афанасьевич любил слушать специфические выражения, новые словообразования, которые молодой студент приносил из института. Эти выражения он тотчас же записывал. Любил Булгаков поговорить и с их старой нянькой, которая жила в этой семье еще до революции, слушал ее очень образную

речь и записывал понравившиеся ему обороты речи. В основе многих персонажей Булгакова всегда были конкретные живые люди, которых он хорошо знал и наблюдал, творчески преображая их внутренний и внешний облик.

Как известно, большим другом Михаила Афанасьевича был филолог, специалист по французской литературе Николай Николаевич Лямин. Первой женой его была Александра Сергеевна, с которой он разошелся в 1921 году, а через год женился на Наталии Абрамовне Ушаковой, художнике-оформителе детской литературы. Его первая жена вышла замуж за режиссера Морица Владимира Эмшльевича. Обе эти семьи в дальнейшем были дружны и между собой, и одновременно дружны с четой Булгаковых. Александра Сергеевна оставила за собой фамилию своего бывшего мужа — Лямина. Она обладала большим художественным вкусом, была очень образованным человеком и хорошо шила. Уже после революции она добилась разрешения на поездку в Париж для совершенствования своего мастерства, где поступила учиться в известный дом моделей, за обучение она отдала его директору великолепное кольцо с изумрудом. Впоследствии она была какое-то время художником по костюмам во МХАТе.

Любовь Евгеньевна была дружна с семьей художника Нестерова. Он начал рисовать ее портрет, но, к сожалению, не закончил его.

В числе друзей семьи Булгаковых был высокообразованный, интересный человек, писатель В. Н. Владимиров. Он подарил Булгаковым очень красивые бронзовые подсвечники итальянской работы XVII века, которые у меня и сейчас.

Любовь Евгеньевна мне говорила: «Ты знаешь, что Михаил Афанасьевич очень интересовался судьбой генерала Я. А. Слащова, как литературного прототипа Хлудова, и я ему рассказала все, что слышала о нем, живя в Крыму. Я вспомнила, что видела мать и брата генерала в Петрограде. А это произошло так: моя родственница однажды говорит: «Мне нужно по делам благотворительности побывать у Слащовой, поехали со мной. Посмотришь, семья интересная». И мы поехали. Брат Слащова был правоведа и не произвел на меня большого впечатления. Какой-то застенчивый, не очень складный человек. Зато мать производила впечатление смелой и очень решительной женщины. Наверно, генерал в нее».

Замечено, что выдающиеся люди часто в своих поступках бывают весьма противоречивы. Это утверждение в какой-то степени относится и к взаимоотношениям М. А. Булгакова и В. В. Маяковского. Так, например, при весьма скептическом отношении В. В. Маяковского к творчеству М. А. Булгакова они были партнерами по биллиарду. Сама эта игра как бы символизировала их творческую борьбу. Равные противники

по биллиарду, они лично вражды друг к другу не питали. Любовь Евгеньевна рассказывала, что они часто могли заиграться до поздней ночи. После игры Михаил Афанасьевич звонил жене и спрашивал, можно ли ему приехать вместе с Владимиром Владимировичем к нам домой. Он очень хочет побывать у нас. Любовь Евгеньевна, которая не понимала их взаимоотношений и не любила Маяковского еще с Берлина, отвечала: если хочешь, приводи его, дома все есть, домработница вам приготовит, а я поеду ночевать к Ануше (А. И. Толстой).

Однажды В. В. Маяковский был в доме Булгаковых. Вместе с ним приехала знаменитая киноактриса Ната Вачнадзе, которой хотелось побывать в доме Булгаковых. Любовь Евгеньевна много слышала о Нате Вачнадзе со слов ее сестры Киры Андрониковой, которая бывала очень часто в их доме. На взгляд Любви Евгеньевны, сестры были решительны, смелы и обаятельны, хорошо образованы, но внешне совершенно непохожие: Ната Вачнадзе была очень женственной, ее сестра, жена писателя Б. Пильняка, чем-то напоминала грузинского озорного мальчишку.

Елена Сергеевна Шиловская, как говорила она сама, с семьей Булгаковых познакомилась в гостях и вскоре сделалась приятельницей Любви Евгеньевны, а потом стала женой Михаила Афанасьевича. Она часто запросто бывала в доме Булгаковых и даже предложила Михаилу Афанасьевичу свою помощь, так как хорошо печатала на машинке. Любовь Евгеньевна рассказывала мне, что ее приятельницы советовали ей на все это обратить внимание, но она говорила, что предотвратить все невозможно, и продолжала относиться к этому, как к очередному увлечению своего мужа.

После развода никто особенно не интересовался отношением Любви Евгеньевны и Михаила Афанасьевича. Сам Булгаков оставил свою рукопись «Мольера» с посвящением своей бывшей жене, и этот поступок еще раз подтверждает, что он сохранил и хотел сохранить с ней по возможности и дальше дружественные отношения. После переезда Михаила Афанасьевича на другую квартиру он часто звонил Любви Евгеньевне, бывал у нее, а когда не заставал дома, оставлял записки.

По своей натуре Любовь Евгеньевна была борец. Она старалась всегда отстаивать правду, хотя это стоило ей порой очень дорого.

В 1932 году, как известно, Булгаковы разошлись. Любовь Евгеньевна как всякая оставленная женщина была оскорблена, и это чувство она сохранила надолго. К великому сожалению, она уничтожила письма к ней Михаила Афанасьевича.

Особенностью ее характера было умение привязывать к себе людей и устанавливать с ними теплые и сердечные

отношения, и всегда в трудные минуты жизни друзья приходят к ней на помощь. После развода таким верным и бескорыстным другом для нее оказалась «тетя», как Любовь Евгеньевна ласково называла жену арендатора дома, где проживали Булгаковы, Валентину Григорьевну Стуй. Если бы не решительность ее «тети», то Любовь Евгеньевна не получила бы квартиры, оказалась бы на улице, так как жить совместно с новой семьей Булгакова было практически невозможно. Любовь Евгеньевна стараниями той же «тети» получила мебель, которую она берегла всю оставшуюся жизнь.

Когда я в 1944 году увидел Валентину Григорьевну, это была маленькая, очень подвижная, сгорбленная старушка, которая работала сестрой-хозяйкой в клинике. Я помню, как «тетя» принесла показать Любви Евгеньевне и мне гравюры из коллекции покойного мужа. Любовь Евгеньевна любила ее и была к ней очень внимательна до конца ее дней.

После развода многие общие знакомые Булгаковых оставались одновременно друзьями Любви Евгеньевны и Михаила Афанасьевича. В это время она еще больше привязалась к Анне Ильиничне Толстой, которая внешне удивительно походила на своего деда Льва Николаевича Толстого. Я вспоминаю, как была безмерно счастлива Любовь Евгеньевна, получив в дар драгоценную коробочку, в которой находилась прядь волос Льва Николаевича Толстого, которая, к великому сожалению, пропала. Трудно подобрать слова для описания впечатления, которое производила Анна Ильинична. Ее лицо было олицетворением мощи и значительности. Оно притягивало, вызывало уважение и одновременно поклонение. В моем представлении муж Анны Ильиничны Павел Сергеевич Попов (Патечка, как звала его Любовь Евгеньевна) был интересным, очень молодежавшим человеком с хорошей фигурой, но в присутствии Анны Ильиничны становился внешне как бы менее заметным. Как-то все внимание невольно привлекала к себе его жена. По своей значительности, пожалуй, чем-то была похожа на Анну Ильиничну дочь Шалапина Ирина Федоровна. Это мы с Любовью Евгеньевной заметили, когда были на ее выступлении, посвященном памяти Шалапина. По словам моей тетки, у Ануши (Толстой) был очень красивый голос и она превосходно пела цыганские и старинные романсы. Некоторые романсы с голоса Анны Ильиничны заучивала Надежда Андреевна Обухова, так как в то время многие ноты были утеряны. Однажды Н. А. Обухова позвонила после полуночи к Ануше и сказала, что сейчас приедет к ним и будет петь под гитару до утра. Любовь Евгеньевна обиделась — нужно было мне позвонить, — рассказывала она, — и я охотно пришла бы к вам пешком. Тут рядом от Новодевичьего до Арбата.

В это же время я часто видел у Любви Евгеньевны ее

большого друга художницу Наталью Абрамовну Ушакову. Она была очень добра, умна, остроумна, любила рисовать дружеские шаржи и умела искренне веселиться.

В гостях у Любови Евгеньевны часто бывала ее соседка с мужем, чета Баклановых — Татьяна Петровна и Глеб Иванович. Они жили за стеной, т. е. в ее бывшей квартире. Постепенно они становятся ее близкими друзьями. Это были очень добрые и сердечные люди. У них я встречал знаменитую арфистку Ксению Эрдели, которая была теткой Татьяны Петровны. Я помню ее великолепный концерт вместе с Н. А. Обуховой в «Доме актера», на котором мы были с Любовью Евгеньевной.

В последней квартире моей тетки было очень уютно и приятно. У Любови Евгеньевны всегда было много цветов, они доставляли ей большое удовольствие. Здесь же находили приют несколько кошек. Любовь Евгеньевна хорошо их понимала и очень радовалась их проделкам, наделяя их различными забавными прозвищами. Когда она серьезно заболела и все время лежала в кровати, то тут уж кошкам было полное раздолье, они спали буквально у нее на голове. Большую радость доставляло ей, когда в дом приходили гости со своими собаками. Сколько потом было разговоров об их проделках. При этом она всегда вспоминала свою собаку — любимого Бутона.

Постепенно старые друзья начинали уходить из жизни. Последние годы Любовь Евгеньевна очень подружилась с Марией Александровной (семья которой жила в том же доме). Она знала обо всех трагических событиях, которые выпали на долю ее соседей и очень их жалела, старалась помочь им чем могла. Семья не осталась в долгу перед ней. Мария Александровна очень трогательно и заботливо относилась к Любови Евгеньевне, особенно во время ее болезни.

Прочитав «Алмазный мой венец» В. Катаева, Любовь Евгеньевна сказала мне: «Автор мог бы написать обо мне более деликатно. Он мне многим обязан. Катаев взял у редактора И. М. Василевского для рецензии произведение начинающего автора и потерял его. Зная тяжелый характер редактора, В. Катаев стал буквально меня умолять спасти его. Конфликт мне удалось ликвидировать с большим трудом. Но, видимо, не в его правилах помнить добро».

Как я уже говорил, Любовь Евгеньевна была очень музыкальна и часто бывала на концертах в Большом зале консерватории. Сохранились две программки, на которых ее рукой сделаны пометки.

На программе от 27 апреля сезон 1968—69 годов: «Цекки на костылях! Дирижирует прекрасно. Частью сидя. В наиболее трудных моментах стоя. Пленительный старик. Как надо любить искусство, чтобы калекой все же не уйти от дирижер-

ского пульта. Все без партитуры, наизусть. Сорок лет тому назад мы с Михаилом Афанасьевичем слушали его игру. Он был живой и черный. Сейчас белый, но темперамент все тот же». Следует заметить, что раньше Карло Цекки был знаменитым итальянским пианистом, руки которого были застрахованы на очень большую сумму. Он попал в автомобильную катастрофу, результатом которой явилось серьезное увечье. Он получил страховку с условием не заниматься пианистической деятельностью и стал дирижером.

Из современных композиторов Любовь Евгеньевна больше всего любила Сергея Прокофьева.

На программке от 19 октября, сезон 1969—1970 годов: «Дирижеру Рождественскому стало дурно. Не доиграли 5-ю симфонию Прокофьева. Концерт прервали, а публика не хотела расходиться».

Я вспомнил, что Любовь Евгеньевна пригласила меня послушать оперу Сергея Прокофьева «Огненный Ангел». Либретто написано по одноименному произведению Валерия Брюсова. Опера была представлена в грамзаписи. Исполнялась она на французском языке солистами французского радио в сопровождении оркестра. Оперу мы слушали в концертном зале библиотеки имени Ленина. Это было большим событием в музыкальной жизни Москвы. Это произведение прославленного мастера произвело на нас очень сильное впечатление. Хоры в опере были великолепны. Сюжетная мистическая канва оперы тесно сливается с музыкой.

Мы были вместе на премьере оперы С. Прокофьева «Война и мир». Любви Евгеньевне очень понравилось драматическое слияние сценического действия и музыки.

Любовь Евгеньевна очень любила балет и хорошо его понимала. Когда приезжали балетные труппы из-за границы, старалась посетить Большой театр и часто брала меня с собой. Кроме оперы и балета она часто бывала в драматических театрах, много читала, особенно любила стихи. На столике перед кроватью лежали книги на французском и английском языках.

Любовь Евгеньевна всегда много трудилась. Начала она работать в Москве еще будучи замужем за Михаилом Афанасьевичем. В 1928 году семье Булгаковых решил помочь писатель В. Вересаев и пригласил принять участие в литературной работе Любовь Евгеньевну. После чего он дал ей следующие характеристики: «1. Удостоверяю, что Любовь Евгеньевна Булгакова в течение трех последних лет, с 1928 по 1930 г., вела корректуру полного собрания моих сочинений в шестнадцати томах. Дело это она выполняла с полным знанием и образцовой добросовестностью, так что я вполне спокойно доверил ей проведение авторской корректуры.

Писатель В. Вересаев.

2. Знаю Любовь Евгеньевну Белозерскую как хорошего работника, культурного и образованного человека, владеющего французским, немецким и английским языками.

В. Вересаев».

После развода Любовь Евгеньевна занимается литературной и художественной деятельностью. Она много работает с академиком Тарле, который также высоко оценил ее труд: «Удостоверяю, что Любовь Евгеньевна Белозерская с 1936 года состоит у меня на работе, исполняя секретарские обязанности, работая по моим заданиям в Московских архивохранилищах. В настоящий момент она занята особенно усиленно в связи с возложенной на меня авторской работой и работой по редактированию предпринятого по заданию ЦК ВКП (б) большого коллективного труда «История дипломатии», первый том которого постановлением Совнаркома от 10 апреля 1942 г. за № 486 удостоен Сталинской премии первой степени. Белозерская состоит моей помощницей по этой работе.

Академик Евгений Тарле, лауреат Сталинской премии, Профессор высшей партийной школы при ЦК ВКП (б)».

«Любовь Евгеньевна Белозерская известна мне с давних пор как в высшей степени полезная, высококвалифицированная работница, очень много помогавшая мне в качестве необычайно осведомленного библиографа и, частично, при чтении и анализе стихотворных текстов. Она была в последнее время особенно полезна мне (1949—1952 гг.) при окончательном оформлении ныне сданной мной в печать работы «Борьба русского народа против шведской агрессии 1708—1709 гг.».

Академик Е. Тарле».

Очень хорошую характеристику дала Любови Евгеньевне заведующая редакцией журнала «Огонек» Екатерина Уразова:

«Тов. Белозерская Л. Е. в течение ряда лет работала в Издательстве Журнально-Газетного Объединения, а также была связана по работе с редакцией журнала «Огонек».

Тов. Белозерская является литературным работником высшей квалификации, прекрасно владеет языком и стилем и имеет многолетний опыт работы по подготовке к печати литературного материала.

Зав. редакцией журнала «Огонек»

(Е. Уразова)».

Несколько лет Любовь Евгеньевна работала в редакции «Исторические романы», до 1938 года входящей в состав жургазобъединения, а затем в Гослитиздат.

В дальнейшем она занимала должность научного редакто-

ра по транскрипции в издательстве Большой Советской Энциклопедии, где за участие в подготовке 2-го издания Энциклопедии получила благодарность.

По совету друзей Любовь Евгеньевна стала писать воспоминания о Михаиле Афанасьевиче Булгакове.

Как-то мы целой компанией были приглашены слушать только что написанный ею текст. На читке присутствовали Наталья Абрамовна Ушакова, двоюродная сестра Николая Николаевича Лямина, Елена Яковлевна Никитинская, которая была преподавательницей иностранных языков в балетной школе ГАБТа, ее сын и я. Читала Любовь Евгеньевна очень просто, без всякой аффектации, хорошо поставленным голосом. Эти воспоминания нам очень понравились.

Я спросил Любовь Евгеньевну: «Ведь не всегда Михаил Афанасьевич был к тебе справедлив, а ты совершенно это обошла вниманием в своих воспоминаниях». — «Он так много страдал, что я хочу, чтобы мои воспоминания были ему светлым венком».

Последние годы жизни Любовь Евгеньевна очень много сил и энергии посвятила памяти Михаила Афанасьевича. Она внимательно следила за литературой, посвященной Булгакову. Если находила ошибки, старалась указать на них автору. Знала она произведения Михаила Афанасьевича блестяще, помнила, при каких обстоятельствах и по какому поводу они написаны и очень возмущалась нелепым фантазиям некоторых авторов, хотя к ошибкам относилась достаточно доброжелательно, если они не носили заведомо нарочитого характера, считая, что люди могут ошибаться и любую ошибку можно исправить.

Перед своей последней болезнью Любовь Евгеньевна читала в различных аудиториях свои воспоминания о Михаиле Афанасьевиче. Выступления эти всегда сопровождалась неизменным успехом.

Незадолго до последней болезни Любви Евгеньевны у нее в доме появились молодые люди, большие ценители и поклонники творчества Михаила Афанасьевича Булгакова. Эти молодые люди — «булгаковцы» — привязались к Любви Евгеньевне. Помогли отремонтировать квартиру, провели прямо к кровати, где она лежала, телефон. Они старались всячески скрасить ее жизнь и быт — часто приносили магнитофон с различными записями. Я помню, как Любовь Евгеньевна с большим удовольствием слушала в записи знаменитую певицу Марию Каллас и как она была восхищена ее пением. Я привозил ей записи Б. Окуджавы, его пение доставило ей также большое удовольствие.

Любовь Евгеньевна умела принимать людей с большим радушием, но и сама любила ходить в гости.

Я помню, с каким она удовольствием говорила о посеще-

нии композитора С. Н. Василенко и его жены. Как они ее тепло принимали или о том, как она бывала в радушном доме писателя В. Яна. В последние годы она часто бывала в семье Галины Александровны Поповой. Я не раз слышал от нее, как этот дом ей мил и дорог. Поэтому я с особым интересом слушал рассказ Галины Александровны:

«Как-то зимой 1949-го или 1950-го года я пришла в редакцию «Литературной газеты» и увидела новое и непохожее на других лицо. За старинным круглым столиком с золочеными ножками сидела старинная же, нет не старая, а именно старинная дама с хорошо причесанной седоватой головой, в темно-коричневом платье с гипюровым воротником цвета экрю (по-нашему серовато-кремовым). Она отличалась не платьем и прической, не седоватой головой, а скорее всего каким-то старинным выражением лица—одновременно чопорным и любезным, как на портретах 18-го века. Меня представили ей, сказав, что ныне именно она—Любовь Евгеньевна Белозерская—будет читать и подписывать мои внутренние рецензии на «литературный самотек», присылаемый в редакцию. Она одобрила мои писания, сделав несколько дельных замечаний.

Шли годы, я уже не мыслила своей жизни без Любви Евгеньевны, да и она, думаю, полюбила наш дом, во всяком случае, на своей книжке, которую она нам подарила, была сделана такая трогательная надпись: «На память дому, где отогреваются сердца» (Бернард Шоу, простите за плагиат). Это Ваш дом—Галочка, Никола и прекрасный «Сверчок»: само радушие. Даже Шарик радушно предлагает гостям туфли своих хозяев! Ваш автор».

Чувство собственного достоинства, умение не поступиться своими убеждениями, какое-то удивительное сочетание подлинного демократизма и аристократического изящества—такой осталась в моей памяти эта замечательная женщина.

Среди писателей у Любви Евгеньевны было много друзей, но особенно близка ей была Вера Дмитриевна Шапошникова, воспоминания которой посвящены их совместной работе:

«С Любовью Евгеньевной Белозерской мы познакомились в конце сороковых годов в «Литературной газете», которая только что начала выходить в новом качестве, и острота, смелость выступлений привлекли на ее страницы лучшие литературные силы. Велись обсуждения жгучих проблем современности, возникали дискуссии, споры. В коллективе Любовь Евгеньевна умела разрешать их весело и остроумно. Она была пронизательной, умной, доброжелательной и веселой. Я никогда не спрашивала Любовь Евгеньевну о ее жизни в эмиграции. Но однажды, когда мы встречали у меня Новый год, она сама заговорила о прошлом, о том времени,

когда была женой Михаила Булгакова. Теперь этот рассказ наклонился на то, что запечатлено в ее книге «О, мед воспоминаний», рукопись которой она предлагала в свое время «Москве», «Молодой гвардии»...

Наше знакомство не прерывалось и после того, как Любовь Евгеньевна ушла из «Литературной газеты», а я стала работать в «Москве». Не помню, чтобы она жаловалась на жизнь, не очень-то к ней ласковую, или обывательски кого-то осуждала. Но возмущалась несправедливостью, неправдой, невежеством и нахальством...»

В последние годы жизни Любви Евгеньевны ее самым близким другом была Галина Георгиевна Панфилова, превосходный лектор. Ее выступления, посвященные творчеству выдающихся деятелей театра, всегда вызывают восхищение. Она выступала со своими сообщениями с большим артистизмом, насыщая их глубоким фактическим материалом, и все это освещается большой человеческой теплотой.

Я помню, как они вместе поехали в 1978 году в Орловский драматический театр им. И. С. Тургенева на премьеру спектакля «Дни Турбиных». Декабрь был лютый, Галина Георгиевна рассказала мне, что Любовь Евгеньевна, которой в ту пору было уже восемьдесят три года, храбро терпела дорожные неудобства. На вокзале их встречали актеры театра. Спектакль удался, и общей радости не было конца. Скромный банкет затянулся далеко за полночь. Мы, все, поражались, как изящно, легко танцевала Любовь Евгеньевна, шутила. Проводив в гостиницу, заслуженный артист республики П. С. Воробьев, прекрасно сыгравший роль Мьпплаевского, на прощанье сказал, обращаясь к Любви Евгеньевне: «Вы — отличный парень!» Она скромно заметила: «Вы — второй. Первым меня так назвал Булгаков». (Автограф на сборнике «Дьяволиада» таков: «Моему другу, светлому парню, Любочке...»)

К Любви Евгеньевне с неподдельной теплотой относились многие писатели, дарили ей свои книги с трогательными надписями. Все это доставляло ей большую радость. Ее посетила молодежь МХАТа. Она была очень рада им, но сказала, что у современных молодых актеров очень плохо поставлены голоса и они мало занимаются специальной физической подготовкой и часто плохо выглядят со сцены.

Постепенно силы начали покидать ее. Еще за месяц до смерти она со своими друзьями встречала Новый год, даже выпила бокал шампанского. Ее друг Галина Александровна сказала, теперь надо ждать масленицу. Но Любовь Евгеньевна ничего не ответила. Умерла она тихо 27 января 1987 года.

И. В. Белозерский
Москва
февраль 1989 г.

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Л. Е. Белозерская-Булгакова. Воспоминания</i>	
У чужого порога	4
О, мед воспоминаний	87
Так было	192
<i>И. В. Белозерский. Записки о Любове Евгеньевне</i>	208

Белозерская-Булгакова Л. Е.
Б43 Воспоминания / Сост. и послесл. И. Бело-
зерского.— М.: Худож. лит., 1990.— 223 с.
ISBN 5-280-01334-X

Книга второй жены М. А. Булгакова Любови Евгеньевны Белозерской-Булгаковой (1895—1987) включает в себя несколько очень интересных и во многом публикуемых впервые материалов: «О, мед воспоминаний», частично под названием «Страницы жизни» изданных в сборнике «Воспоминания о Булгакове», М., Сов. пис., 1988, никогда не публиковавшиеся воспоминания о годах ее вынужденной эмиграции в Константинополе, Берлине и Париже («У чужого порога»), об известном советском ученом—историке Е. В. Тарле (1875—1955) и очерк жизни Л. Е. Белозерской-Булгаковой, написанный ее племянником И. В. Белозерским, который и подготовил к изданию эту книгу. В качестве иллюстраций используются редко или вообще непубликовавшиеся фотографии Л. Е. Белозерской-Булгаковой, ее родственников, М. А. Булгакова, его друзей и знакомых.

4702010201-379
Б — без объявл.
028(01)-90

ББК 84Р7

**ЛЮБОВЬ ЕВГЕНЬЕВНА
БЕЛОЗЕРСКАЯ-БУЛГАКОВА**

ВОСПОМИНАНИЯ

Редактор Ю. РОЗЕНЬЛЮМ
Художественный редактор Г. МАСЛЯНЕНКО
Технический редактор Г. МОИСЕЕВА
Корректоры Т. КАЛИНИНА, Н. ГРИШИНА

ИБ № 6481

Сдано в набор 13.07.89. Подписано в печать 05.10.89. Формат 84×108¹/₃₂. Бумага тип. № 2. Гарнитура «Тип таймс». Печать высокая. Усл. печ. л. 11,76+альб.=12,6. Усл. кр.-отт. 13,65. Уч.-изд. л. 13,18+альб.=13,91. Тираж 250 000 экз. Изд. № II—3608. Заказ 3691. Цена 1 р. 50 к.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература». 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19

Ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного Знамени МПО «Первая Образцовая типография» Государственного комитета СССР по печати. 113054, Москва, Валовая, 28.

Чета Саблиных. Бабушка и де-
душка Л. Е. Белозерской.



Родители Л. Е. Белозерской—
Софья Васильевна и Евгений
Михайлович Белозерские.



Тетка Л. Е. Белозерской—
Екатерина Васильевна (урожден-
ная Саблина).

Старшая сестра Л. Е. Белозерской — Вера Евгеньевна.



Средняя сестра Л. Е. Белозерской — Надежда Евгеньевна (фотография выполнена художником Аристархом Лентуловым).



Брат Л. Е. Белозерской — Юрий Евгеньевич.



Родственник Л. Е. Белозерской художник Александр Евгеньевич Бундиков (фотография выполнена художником Аристархом Лентуловым).



Л. Е. Белозерская в форме Демидовской гимназии. 1908 г.

Л. Е. Белозерская. Петроград. Л. Е. Белозерская на парижской
1914 г. сцене.



Л. Е. Белозерская в форме сестры милосердия. 1916 г.



М. А. Булгаков.

Дядя М. А. Булгакова. По словам Л. Е. Белозерской, прототип проф. Преображенского в повести «Собачье сердце».



Сестра М. А. Булгакова (по мужу Земская) — Надежда Афанасьевна.



Сестра М. А. Булгакова — Варвара Афанасьевна (по мужу Карум). По словам Л. Е. Белозерской, прототип Елены в пьесе «Дни Турбиных».

Л. Е. Белозерская. 1925 г. Любимый портрет М. А. Булгакова, который всегда находился на письменном столе писателя.



С. Есенин и А. Дункан.



«Лестница». Рисунок Л. Е. Белозерской (эскиз к пьесе «Дни Турбинных») и письмо режиссера Судакова к М. А. Булгакову.

Н. А. Лямина-Ушакова.



Н. Н. Лямин, друг М. А. Булгакова.



П. С. Попов, ближайший друг М. А. Булгакова.



М. А. Булгаков с участниками спектакля «Дни Турбиных». 1926 г. 1-й ряд, сидят: М. Прудкин, И. Кудрявцев, Н. Ульянов (художник), В. Соколова, М. Булгаков, И. Судачков, М. Яшин, Е. Калужский, Н. Хмелев, Б. Добронравов. Стоят в гриме: Н. Раевский, Р. Шиллинг, В. Ершов, В. Станицын и сотрудники постановочной части МХАТа. Расшифровка фотографии произведена сотрудниками музея МХАТ.

Обед у супругов Стронских. 1-й ряд: М. Булгаков, Л. Белозерская, Н. Шапошникова, В. Стронская, Б. Шапошников, М. Чимишкиан (Ермолинская), И. Стронский (сын), Н. Лямин, Н. Стронский и неизвестный.



Рисунок М. А. Булгакова. На обороте фотографии рисунка сохранилась запись Л. Е. Белозерской: «Наш домашний «пенат» — Рогаш. Рисунок Михаила Афанасьевича. Банга — это одно из моих прозвищ».

Любимая собака семьи Булгаковых «Бутон».



Портрет Бутона. Рисунок М. А. Булгакова.

Л. Е. Белозерская. Апрель
1943 г.

Почетная грамота.



Московский ипподром. Август 1957 г. На обороте запись
Л. Е. Белозерской: «Мгновение, когда ляля (так Л. Е. называла
лошадь.—*Ред.*) не стоит ни одной ногой на земле».

Удостоверяю, что Любовь Евгеньевна Булакова в течение трех последних лет, с 1928 по 1930 г., была корректурщицей полного собрания сочинений в шестнадцатитомных томах. Было это она познакомилась с матерью писателя и с его женой в связи с работой в типографии, где она работала корректурщицей.

Писатель В. Вересаев

Мен. 2-60-28.

Москва, 9. Шубинский
пер. 2, кв. 14

Знаю Любовь Евгеньевну Белозерскую, как хорошего работника, культурного и образованного человека, владеющего французским, немецким и английскими языками.

В. Вересаев

Москва

Мен. 2. 1. 31. 98.

25/к 33. ●



Л. Е. Белозерская на сцене Орловского драматического театра им. И. С. Тургенева после премьеры «Дни Турбиных», 1978 г.



Молодые актеры МХАТа в гостях у Л. Е. Белозерской. 1982 г.



Любовь Евгеньевна Белозерская. 1983 г.

Писатель В. Ян. Автограф: «Дорогой «Зайныке» сердечный салам от Хаджи-Рахима, он же В. Ян. 30.X.1948».

Композитор С. Василенко.



Е. В. Тарле.

Племянник Л. Е. Белозерской—
И. В. Белозерский.

1 p. 50 к.

